ДЖЕК ЛОНДОН

МАЛЕНЬКАЯ ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ДОМА

*

ХРАМ ГОРДЫНИ



КЛУБ

Маленькая хозяйка Большого дома. Храм гордыни

Джек Лондон

Аннотация
Джек Лондон
МАЛЕНЬКАЯ ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ДОМА
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Глава XII
Глава XIII
Глава XIV
Глава XV
Глава XVI
Глава XVII
Глава XVIII

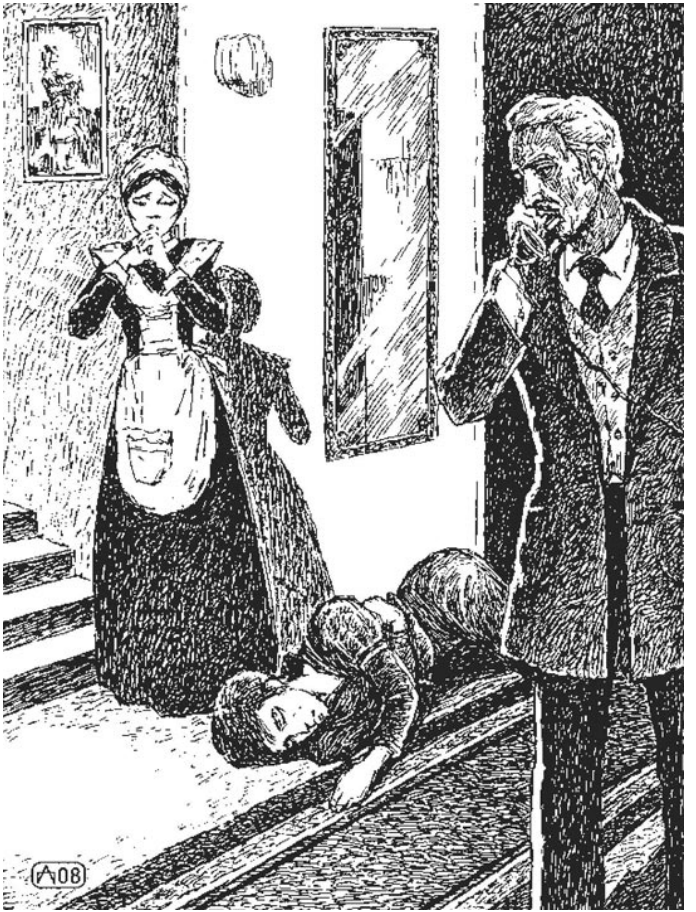
Глава XIX
Глава XX
Глава XXI
Глава XXII
Глава XXIII
Глава XXIV
Глава XXV
Глава XXVI
Глава XXVII
Глава XXVIII
Глава XXIX
Глава XXX
Глава XXXI
ХРАМ ГОРДЫНИ
Храм гордыни
Кулау-прокаженный
Прощай, Джек
«Алоха Оэ»
Чун А-чун
Шериф Коны
КОММЕНТАРИИ

Аннотация

Общее для произведений этого тома — их жесткая реалистичность. Роман о любви и семейной жизни «Маленькая хозяйка Большого дома» с классическим любовным треугольником сменяется циклом гавайских рассказов. В них высмеяна спесь белых людей и их снисходительное отношение к людям иной расы («Храм гордыни», «Алоха Оэ»), показан яркий характер китайского крестьянина, ставшего мультимиллионером («Чун А-чун»), описаны трагические судьбы людей, пораженных неизлечимым недугом — проказой.

Джек Лондон

МАЛЕНЬКАЯ ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ДОМА


08

Глава I

Он проснулся, когда было еще темно, проснулся легко и сразу, не двинувшись даже, — открыл глаза и понял, что день еще не начался. Большинство людей, просыпаясь от сна, прислушивается, ворочается и как бы ориентируется в окружающем их мире; он же, проснувшись, сразу ощутил себя в определенном времени и пространстве. После долгого сна он без всякого усилия продолжал прерванную сном повесть своей жизни. Он знал, что он Дик Форрест, хозяин обширных имений, заснувший накануне поздней ночью; помнил, что, погружаясь в дремоту, предварительно вложил спичку между страниц «Придорожного Города» и нажал кнопку электрической лампочки.

Вблизи раздавался неясный шум тихого фонтана. Издалека доносились звуки, которым он радостно улыбнулся, но звуки столь глухие и далекие, что только очень острый слух мог разобрать их. Он слышал глухой горластый рев Короля Поло — лучшего из его шортхорнских быков, трижды признанного чемпионом всех быков Сакраменто и премированного на выставках штата Калифорния. Улыбка медленно сходила

с лица Дика Форреста: невольно он мысленно остановился на новых победах, подготовленных им к этому году для Короля Поло на восточных рынках рогатого скота. Он им всем покажет, что бык, рожденный и вскормленный в Калифорнии, вполне может соперничать с самыми первосортными быками, выкормленными кукурузой Айовы или привезенными из-за океана — старой родины шортхорнов.

Через несколько секунд улыбка исчезла с его лица, он протянул руку и нажал в целом ряду кнопок первую. Таких рядов было три. Под тусклыми лучами света, пролившимися с огромного плафона, выявился спальный портик, с трех сторон окаймленный тонкой сетью медной проволоки. С четвертой стороны шла наружная стена дома из прессованного бетона с венецианскими окнами, служившими для прохода.

Он надавил вторую кнопку того же ряда, и яркий свет упал на один только угол бетонной стены, залив светом часы, барометр и два термометра — Цельсия и Фаренгейта. Беглым взглядом он охватил очередной бюллетень: время 4.30; давление 29,80; все в порядке вещей для этого времени года и на данной высоте; температура по Фаренгейту — 36°. Он опять надавил кнопку, и

приборы снова погрузились во мрак.

Третья кнопка зажгла ему лампу для чтения, прикрепленную так, что свет падал сверху и сзади, а не прямо в глаза; первая же погасила матовый плафон. Он достал со столика пачку корректуры, зажег сигарету и, взяв в руку карандаш, принялся работать.

Комната представляла собой типичную спальню делового человека. Она была скромна и комфортабельна. Серая эмалированная кровать — под цвет бетонной стене. В ногах кровати лежал на покрывале его серый халат из волчьих шкурок с болтающимися хвостиками. На полу, на мохнатой шкуре горной козы, стояли туфли.

На большой конторке для чтения, рядом со сложенными в образцовом порядке книгами, журналами, записными книжками и блокнотами, оставалось еще место для спичек, сигарет, пепельницы и термоса. Тут же, на подставке, стоял подвешенный на петлях диктофон. На стене, под барометром и термометрами, из круглой деревянной рамки смело смотрело смеющееся женское лицо, а дальше, между кнопками и доской со штепселями, из открытой кобуры высовывалась рукоятка 44-миллиметрового автоматического кольта.

Ровно в шесть часов, когда серый свет уже проникал через проволочную сетку, Дик Форрест, не отрывая глаз от листов корректуры, протянул правую руку и надавил кнопку второго ряда. Пять минут спустя в спальный портик неслышно вошел китаец, неся небольшой медный полированный поднос с чашкой и блюдечком, крошечным серебряным кофейником и таким же крошечным серебряным сливочником.

— Доброе утро, О-Дай, — приветствовал его Дик Форрест, улыбнувшись.

— Доброе утро, хозяин, — ответил О-Дай, очищая на столе место для подноса и наливая кофе и сливки.

О-Дай заметил, что хозяин уже держит чашку кофе в одной руке, продолжая правку другой, и, не дожидаясь дальнейших приказаний, поднял с пола светло-розовый легкий кружевной чепчик и вышел так же бесшумно, как вошел. Он исчез, как тень, в раскрытой венецианской двери.

Ровно в половине седьмого он вернулся с другим подносом, побольше. Дик Форрест отложил корректуру, достал книгу с названием «Коммерческое разведение лягушек» и принялся есть. Завтрак был прост, но сытен: опять кофе, фрукты, два яйца всмятку в стакане с кусочком масла

— очень горячие, и ломтик непережаренной свиной грудинки от собственных свиней и собственного копчения.

Солнце сквозь сетку уже обливало кровать. С наружной стороны к проволочной сетке прилипло множество мух, в этом году слишком рано появившихся и оцепеневших от ночного холода. Форрест за едой обратил внимание на охоту за ними плотоядных ос. Выносливее пчел, они не боялись мороза и проносились в воздухе над ошалевшими мухами. Шумное жужжание не пугало ос; желтые хищники почти всегда попадали прямо на намеченных ими беспомощных жертв и улетали, унося их с собою. Последняя муха исчезла прежде, чем Форрест допил кофе и заложил спичку в «Коммерческое разведение лягушек», чтобы взяться за корректуру.

Время шло, и нежное пение жаворонка, первого запевалы утреннего хора, остановило его; он посмотрел на часы. Стрелка показывала семь. Отложив листы, он стал вызывать к телефону одного за другим ряд служащих, опытной рукой нажимая штепселя на доске.

— Алло, О-Пой, — начал он. — Что, мистер Тэйер поднялся?.. Прекрасно, не беспокой его. Не думаю, чтобы он завтракал в постели, но узнай…

Правильно, и покажи ему, как идет горячая вода, может быть, он не знает… Да, отлично, вызови еще одного боя и поскорее, если можно. С началом хорошей погоды, как всегда, столько народу нахлынет… Конечно, я на тебя полагаюсь…

— Мистер Хэнли?.. Да! — заговорил он затем, включив другой штепсель. — Я все обдумываю план этой Бьюкэйской плотины. Дайте мне, пожалуйста, смету, сколько будет стоить доставка гравия и ломка скал. Да, да, мне кажется, что доставка гравия обойдется приблизительно на шесть-десять центов дороже за ярд, чем дробление скал. Последний спуск скалы всегда мешает подвозу гравия. Вы разработайте все цифровые данные. Нет, раньше чем через две недели мы начать не сможем… Да, да, если только придут новые тракторы, они избавят лошадей от пахоты, но в случае задержки их придется вернуть… Нет, по этому поводу вам придется поговорить с мистером Эверэном. До свиданья.

И наконец, третий звонок:

— Мистер Досон… что? У меня здесь сейчас тридцать шесть градусов. В равнинах, должно быть, все покрыто инеем, но, вероятно, это уже в последний раз в этом году… Да, они клялись, что тракторы доставлены еще два дня тому назад…

Вызовите начальника станции; кстати, поймайте мне Хэнли. Я забыл отдать распоряжение пустить в ход крысоловки со второй партией мухоловок… Да, поскорее… у меня сегодня утром их было несколько дюжин на сетке… Да… Всего хорошего.

Форрест выпрыгнул из кровати в пижаме, всунул ноги в туфли и быстрыми большими шагами прошел через венецианскую дверь в ванную, где О-Дай уже приготовил воду. Не прошло и пятнадцати минут, как он, успев побриться, уже лежал в кровати и читал книгу о своих лягушках, а О-Дай, безупречно точный, уже массировал ему ноги. Это были сильные красивые ноги хорошо сложенного человека, ростом в пять футов и десять дюймов, весом в сто восемьдесят фунтов. По ним можно было угадать многое. Левое бедро было изуродовано шрамом дюймов в десять длиной. Поперек левой же лодыжки, от подъема до ступни, виднелись штук шесть шрамов, величиной с серебряный доллар каждый. Когда О-Дай чуть сильнее мял и вытягивал левое колено, Форрест невольно вздрагивал. На правой голени также темнело несколько шрамов, а прямо под коленом до самой кости виднелся один большой шрам. От колена до паха шли следы старого ранения

в три дюйма длины, усеянные еле заметными проколами снятых швов.

Снаружи вдруг раздалось веселое ржание, и, пока О-Дай одевал своего хозяина, натягивая на него носки и ботинки, Форрест вложил спичку в страницу книги о лягушках и выглянул в окно.

Было видно, как по дороге сквозь колыхавшиеся пышные ветви сирени на поводу у ехавшего впереди него живописно одетого всадника-ковбоя шагал огромный конь, сверкая красноватым отливом в золотистых лучах утреннего солнца, роняя клочья белоснежной пены, надменно вскидывая чудесную гриву, ища кругом глазами, между тем как трубные звуки его любовного призыва разносились по весенней земле.

Дика Форреста сразу охватили радость и тревога: радость при виде чудесного животного, шагающего вдоль живой изгороди сирени, тревога по поводу того, что жеребец мог разбудить женщину, смеявшуюся из круглой деревянной рамки на стене. Он быстро перевел взгляд через большой двор на длинный тенистый выступ ее флигеля. Ставни ее спального портика были закрыты, они не шевельнулись. Жеребец снова зафыркал, и золотисто-зеленым пучком света, брошенным солнцем, с цветов и кустарника, за-

стилавших двор, поднялась стая диких канареек.

Он следил за жеребцом, пока тот не скрылся из виду в чаще сирени, и начал мечтать о новых ширских жеребцах, прекрасных, крупных и чистокровных, и тут же, как и всегда, перешел на самое существенное и заговорил со своим слугой:

— Как новый мальчик, О-Дай, что он — хорош?

— Недурен, мне кажется, — отвечал О-Дай на ломаном английском языке, — он очень молодой, ему все ново. Медленно работает. Но, мне кажется, он понемножку привыкнет.

— Почему? Почему ты так думаешь?

— Я будил его три или четыре раза по утрам, он спит, как младенец; просыпаясь, улыбается точно так же, как вы. Это очень хорошо.

— Разве я, когда просыпаюсь, улыбаюсь? — спросил Форрест.

О-Дай с жаром закивал головой.

— Вот уже много лет, как я бужу вас. Ваши глаза всегда улыбаются, ваш рот улыбается, ваше лицо улыбается, вы весь улыбаетесь, вот так, очень быстро. Это очень хорошо. Человек, так просыпающийся, очень неглуп. Я знаю. Этот новый мальчик такой же. Поэтому очень скоро из него будет отличный мальчик, вы увидите. Его зовут

Чжоу Гэн. Как мы его здесь будем звать?

Дик Форрест задумался.

— А какие у нас уже есть имена? — спросил он.

— О-Рай, Ой-Ли, Ой-Ой, а я — я О-Дай, — быстро перечислял китаец. — О-Рай говорит, что надо назвать нового боя…

Он остановился, колеблясь, и поглядел на хозяина, вызывающе подмигивая глазом. Форрест кивнул головой.

— О-Рай говорит, что надо назвать нового мальчика О-Черт.

— Охо! — засмеялся Форрест, вполне оценив шутку. — О-Рай молодец. Имя придумано отлично, но оно не подойдет. Надо думать о хозяйке, придется подобрать другое имя, при хозяйке ругаться нельзя.

— О-Хо! — вот хорошее имя.

Восклицание Форреста еще звенело у него в голове, и он понял источник вдохновения китайца.

— Отлично, пусть мальчик зовется О-Хо.

О-Дай кивнул головой, быстро вышел через дверь и так же быстро вернулся с остальной одеждой своего господина; он помог ему надеть тонкую фуфайку и рубашку, накинул ему на шею галстук, предоставляя ему самому завязать его, и,

став на колени, надел на него длинные ботинки со шпорами. Широкополая фетровая шляпа и плетка, свисающая с локтя на кожаной петле, — и он был готов.

Но выйти он еще не мог. О-Дай подал ему несколько писем, пояснив, что их получили с вокзала поздно вечером, когда Форрест уже лег. Он разорвал конверты и быстро просмотрел их, кроме одного. На этом он остановился подольше, раздраженно нахмурив брови, затем выдвинул диктофон, нажал кнопку, пустившую цилиндр, и стал быстро диктовать, ни разу не остановившись, чтобы подыскать слово или мысль:

«В ответ на ваше письмо от 14 марта 1914 г. сообщаю, что мне было весьма прискорбно узнать об эпидемии у вас свиной холеры. Мне также очень неприятно, что вы нашли возможным возложить на меня ответственность за нее. И еще более неприятно, что боров, мною вам посланный, пал.

Считаю нужным заверить вас, что у нас никакой холеры нет и не было за последние восемь лет, за исключением двух случаев, принесенных к нам с Востока; из них последний был два года тому назад. В обоих случаях, согласно общим нашим правилам, скот был изолирован тотчас же

по приезде и заколот прежде, чем зараза могла передаться нашему скоту.

Считаю также нужным сообщить вам, что ни в одном из этих случаев я не обвинил торговцев в присылке мне зараженного скота. Наоборот, памятуя (это следовало бы знать), что инкубационный период свиной холеры длится девять дней, я заглянул в документы, свидетельствующие о дне отправки скота, и убедился, что в момент погрузки они были вполне здоровы.

Неужели вам не известно, что за распространение холеры в большей мере ответственны железные дороги? Слышали ли вы когда-либо, чтобы железная дорога дезинфицировала или окуривала вагоны, зараженные холерой? Вглядитесь в числа: проверьте, во-первых, когда я погрузил животных на пароход, во-вторых, когда вы получили свиней, в-третьих, установите время появления у борова холерных симптомов. Вы сами пишете, что из-за дурной погоды на море боров находился в пути пять дней. Первые симптомы появились на седьмой день после доставки, что вместе составляет двенадцать дней с момента отправки.

Я не согласен с вами и не могу взять на себя ответственность за несчастье, постигшее ваше

стадо. В заключение предлагаю вам полностью убедиться в моей правоте, написать государственному ветеринару и узнать у него, есть ли холера у моих животных.

Преданный вам…»

Глава II

Форрест, выйдя из своего спального портика, прошел сначала мимо комфортабельно обставленной туалетной комнаты, с диванами у окон, со шкафчиками, с большим камином и с отдельным ходом в ванную, а затем направился в большую контору, обставленную письменными столами, с диктофонами, регистраторами, книжными шкафами, вырезками из журналов и разделенными на клетки полками, возвышающимися до низкого сводчатого потолка.

Дойдя до середины комнаты, он нажал кнопку, и несколько нагруженных книгами полок повернулись на своей оси, раскрыв узенькую винтовую стальную лесенку, по которой он спустился очень осторожно, чтобы не задеть шпорами книжных полок, становившихся обратно на место. Внизу, нажав на другую кнопку и соответственно повернув полки, он вошел в длинную узкую комнату, с пола до потолка уставленную книжными полками и шкафами. Подойдя прямо к одному из них, он протянул руку к определенной полке и сразу достал нужную книгу. С минуту он ее перелистывал, нашел нужную справку, кивнул головой, как

бы найдя подтверждение, и положил книгу на место. Из этой комнаты другая дверь выходила на веранду из четырехугольных бетонных колонн; на них опиралась сквозная сетка брусьев из мамонтового дерева, покрытая более тонкими стволами того же дерева с золотисто-багряной корой, похожей на толстый, словно узорный, бархат.

Ему пришлось идти мимо длинных бетонных стен расположенного на большом пространстве дома, но он не искал кратчайшего пути. Под старинными дубами с обгрызанными стволами, где вбитая глубоко колея и разрытый копытами гравий свидетельствовали о местонахождении коновязи, он увидел светло-золотистую кобылу. Хорошо вычищенная шерсть ее искрилась под косыми лучами утреннего солнца, проникавшими через лиственный свод. Она трепетала и сверкала. Сложением она была похожа на жеребца, а проходившая вдоль ее позвоночника узкая темная полоса шерсти указывала на ее несомненное происхождение от древнего рода мустангов.

— Как сегодня Людоедка? — спросил Форрест, снимая с нее недоуздок. Она заложила назад свои крошечные уши, явно свидетельствующие о романе одного из ее породистых предков с

дикой горной кобылицей, и заблестела оскаленными зубами и злыми глазами, а потом, когда он вспрыгнул в седло, отскочила в сторону, забрыкалась и, все еще пытаясь встать на дыбы, понеслась по усеянной гравием дороге. Она и встала бы на дыбы, если бы не мартингал, мешавший ей закидывать голову и оберегавший всадника от последствий ее злости.

К этой кобыле он так привык, что почти не обращал внимания на ее выходки. Он управлялся с ней, как хотел, почти машинально, чуть касаясь поводом ее выгнутой дугой шеи или тихонько щекоча ее шпорой или давая шенкеля. И вдруг Людоедка так закрутилась и затанцевала, что он стал лицом к Большому дому. Дом, раскинувшийся на большом пространстве, все же был меньше, чем казался. С лицевого фасада он простирался на восемьсот футов. Большая часть пространства была занята коридорами с бетонными стенами и черепичными крышами, связывавшими и объединявшими различные части здания. Тут были внутренние дворики и веранды; стены с многочисленными прямоугольными выступами и углублениями вырастали из зелени и цветов. Архитектура Большого дома была близка к испанской, но не мексиканско-испанского типа,

занесенного из Мексики лет сто назад, а модернизированного современными архитекторами, придавшими ему специфический калифорнийско-испанский характер. Большой дом при всей своей сложности был близок к стилю испано-мавританскому, хотя некоторые эксперты горячо спорили против этого определения. Он поражал просторностью без всякой казарменности и сдержанностью форм. Очертания его прерывались линиями выступов и углублений, прямоугольными и строгими. При этом неправильное очертание крыши снимало с него всякое однообразие. Четырехугольные вышки башен и башенок, высившихся друг над другом, придавали дому высоту; эту низкую и расползшуюся постройку нельзя было назвать приземистой. Большой дом был прочен. Рассчитанный на тысячу лет, он не боялся землетрясений. Бетон был покрыт пластом цемента кремового цвета. Однообразие тонов могло бы казаться утомительным для глаз, если бы не светлая краска ярко-красных испанских черепиц плоских крыш.

Кобыла танцевала, и взгляд Дика Форреста разом обнимал весь Большой дом; он на одну секунду с нежностью остановился на большом флигеле, стоявшем в глубине двухсотфутового

двора, где под громоздящимися башенками, огненно-красными от утреннего солнца, закрытые ставни спального портика показывали, что хозяйка все еще спит.

Вокруг расстилались волнистые, тщательно скошенные холмы, разделенные на пастбища, уходящие в более высокие холмы, крутые лесные склоны, переходившие все выше и все круче в высокие горы. С другой стороны равнина таяла в мягких склонах, спускавшихся к далеким низким долинам, охватить которые взглядом было трудно, несмотря на ясный бодрый морозный воздух. Кобыла зафыркала. Дик подтянул ее шенкелями, и, слушаясь его, она сошла с середины дороги и пошла по краю. Он уже слышал около себя топот ног по гравию и увидел живую ленту белого блестящего шелка, сразу поняв, что это его лучшее стадо ангорских коз, каждая из которых имела свою родословную. Их было около двухсот, и он знал, что благодаря строгому подбору, неуклонно проводимому им, и тому, что их осенью не стригли, блестящая ангорская шерсть, покрывающая самую молодую, тонкая, как волос новорожденного или еще тоньше, и белая, как альбинос, или еще белее, была длиннее, чем классические двенадцать дюймов. Шерсть лучших из них может

быть выкрашена в любой цвет на длинные косы, которые будут носить женщины, хотя бы их продавали по самым сумасшедшим ценам. Красота их поразила его. Вся дорога превратилась в поток живой шелковистой ленты, испещренной желтыми кошачьими глазами, плывущей мимо и с осторожностью и любопытством разглядывавшей его и чуткую лошадь. Два пастуха-баска шли сзади. Оба были невысокие, плечистые, смуглые, черноглазые, с живыми лицами, но с выражением созерцательным и вдумчивым. Они сняли шапки и низко ему поклонились. Форрест поднял правую руку с висящей на кисти плеткой, а правым указательным пальцем ответил по-военному, касаясь края своей широкополой шляпы.

Кобыла снова заплясала и завертелась. Он подтянул повод, погрозил шпорой, не сводя глаз с четвероногого живого шелка, устилавшего дорогу блестящим белым покровом. Он знал, куда их вели. Наступало время прироста, и их спускали с пастбищ в горное подлесье, под загоны, где в течение всех этих критических дней за ними требовался тщательный уход и полагалось лучшее питание. Он смотрел и вспоминал, как выглядят все виденные им лучшие турецкие и южноафриканские ангорские породы; его стадо вполне

выдерживало сравнение. Оно действительно имело хороший вид. Оно имело вид превосходный!

Он поехал дальше. Кругом слышалось торопливое щелканье автомобильных платформ-удобрителей. Вдали, на низких отлогих холмах, он смутно разглядел вереницы упряжек. Он знал, что это его ширские кобылы, впряженные по три, пашут землю, вспахивая целину, выворачивая зеленый дерн горных склонов и освобождая богатую, рыхлую, темно-коричневую влажную землю, такую насыщенную, что она рассыпалась от одной своей тяжести, распыляясь, точно просеянная. Эта земля предназначалась для кукурузы и кормовых трав. Согласно его системе севооборота, другие склоны холмов уже были покрыты высоким ячменем, а на следующих зеленели всходы люцерны и канадского горошка. Всюду большие и малые поля были обработаны по системе, делающей их такими доступными для земледелия, что один взгляд на них должен был согреть сердце самого придирчивого специалиста. Все заборы были устроены так, что ни быку, ни свинье не удалось бы через них перелезть; на полях не росло ни одной сорной травинки. Многие ровные поля были покрыты американской

люцерной, на других уже дозревал урожай, посаженный прошлой осенью, или подготовлялся весенний посев. Участки, примыкающие к загонам, были отведены под пастбище шропширских и французских мериносовых овец или же для племенных свиней, при виде которых в глазах Дика вспыхнуло удовольствие.

Он проехал мимо поселка, отличавшегося от города только отсутствием лавок и гостиниц. Довольно вместительные особнячки, приятные на глаз, стояли посреди садов, где более устойчивые цветы, не исключая и роз, точно улыбались угрозе позднего мороза. Дети уже встали и возились между цветами или бежали домой завтракать. Отъехав с полмили от Большого дома, он выехал к целому ряду мастерских. У первой же из них он остановился и заглянул внутрь. Один кузнец стоял у наковальни; другой, очевидно, только что подковав переднюю ногу пожилой кобылы, весившей не меньше тысячи восьмисот фунтов, спиливал терцугом наружную сторону копыта, подгоняя его к подкове. Форрест все заметил, поклонился и двинулся дальше, но, отъехав на сто футов, остановился и записал что-то в записную книжку, тут же вытащенную из кармана.

Он проехал мимо других мастерских: маляр-

ной, тележной, водопроводной и столярной. Пока он заглядывал в последнюю, мимо него быстро пронеслась странная на вид машина, не то автомобиль, не то фургон, и, свернув на большую дорогу, покатила к станции, находившейся в восьми милях от имения. Он узнал грузовик, принимавший утреннее масло с молочной фермы и отвозивший его к товарному поезду.

Большой дом был подлинной осью этого огромного имения. Он был центром, от которого прочно исходили круги, опоясывавшие его на полумилю разными хозяйственными службами. Беспрестанно раскланиваясь со своими служащими, Дик Форрест проскакал галопом мимо молочных ферм, множества построек с целыми крепостями, приспособленными для хранения зерна. Возчики навоза подымались по мосткам, перекинутым над дорогой, а спустившись, опрокидывали свою ношу в поджидающие их грузовики-удобрители. Форреста не раз останавливали разные служащие, часто с университетским значком, верхом или в повозках, и советовались по разным вопросам. Это были управляющие отдельными отраслями, и разговоры их были лаконичны и деловиты, как и требовал хозяин. Последний из них, верхом на трехлетней лошадке, грациозной,

но дикой, как еще необъезженный арабский конь, хотел проехать мимо просто с поклоном, но Форрест остановил его.

— Доброе утро, мистер Хеннесси, а скоро ли лошадь будет готова для миссис Форрест? — спросил Дик.

— Мне нужно еще с неделю, — ответил Хеннесси. — Она теперь хорошо объезжена, именно так, как хотела миссис Форрест, но еще очень нервничает и слишком чутка, и ей бы еще с неделю надо, чтобы привыкнуть и успокоиться.

Форрест кивнул головой в знак согласия, и Хеннесси, ветеринар, продолжал:

— Я бы хотел рассчитать двух погонщиков, работающих на люцерне.

— А в чем дело?

— Один из них, Хопкинс, бывший солдат; с правительственными быками он, может быть, и умеет обращаться, но ширские ему не под силу.

Форрест кивнул.

— Другой работает у нас уже два года, но сейчас запил и все неудачи вымещает на лошадях.

— Это, верно, Смит, американец старого типа, бритый, левый глаз косит? — перебил Форрест.

Ветеринар утвердительно кивнул.

— Я за ним наблюдал, — закончил Форрест. —

Вначале он хорошо работал, но в последнее время что-то свихнулся. Конечно, отправьте его вниз, в долину. Этого другого парня, вы говорите, его фамилия Хопкинс, тоже отправьте с ним. Кстати, мистер Хеннесси, вот что, — Форрест достал записную книжку, вырвал из нее только что исписанную страницу и смял ее в руке. — У вас в кузнице новый человек лошадей подковывает, вы как его находите?

— Он недавно работает у нас, я еще к нему не присмотрелся.

— Ну, отправьте и его заодно. Он нам не годится. Я сейчас видел, как он прилаживал подкову старенькой Ольден Бесси: около дюйма с копыта соскоблил.

— Думал — сойдет, а отлично знал, что так нельзя.

— Вот и отправьте его в долину, — повторил Форрест и, чуть-чуть пощекотав шпорами гарцевавшую под ним лошадь, стрелой пустился по дороге, хотя лошадь брыкалась и пыталась встать на дыбы.

Многое, что видел, его радовало. Он даже вслух пробормотал: «Жирная земля, жирная земля». Но попадалось такое, что не нравилось ему, и он это тотчас заносил в записную книжку. Объ-

ехав вокруг Большого дома и выехав дальше, он остановился у группы бараков и загонов. Это и была, собственно, цель его поездки — больница для скота. Здесь он нашел только двух телок, с подозрением на туберкулез, и великолепного борова дюрок-джерсейской породы в отличном состоянии. Весил он шестьсот фунтов; яркие глаза, быстрые движения и блеск шерсти свидетельствовали о том, что он совершенно здоров. Однако, поскольку он был только недавно перевезен из Айовы, по раз навсегда установленному в имении обычаю, он подвергался определенному карантину. По книгам он значился под именем Бургесс Первый, двух лет, и обошелся Форресту в пятьсот долларов, занесенных в табель расходов по имению.

Проехав галопом по дороге, перпендикулярной к кругу, образуемому Большим домом, Форрест поравнялся с Креллином, управляющим свиноводством, и в течение пяти минут совместно с ним решил участь Бургесса Первого на ближайшие месяцы. Он тут же узнал, что племенная свинья Леди Айлтон, удостоенная голубой ленты на всех выставках от Сиетла до Сан-Диего, благополучно разрешилась одиннадцатью поросятами. Креллин рассказал, что он просидел с

нею полночи и теперь едет домой принять ванну и позавтракать.

— Я слышал, что ваша старшая дочь окончила среднюю школу и хочет поступить в Стэнфорд, — сказал Форрест, сдерживая кобылу, только что собравшуюся пуститься в галоп.

На лице Креллина, еще молодого человека лет тридцати пяти, сочеталась зрелость отца семейства с живостью интеллигентного человека, проводящего все время на открытом воздухе и ведущего здоровый образ жизни. Он вполне оценил интерес хозяина к его частным делам и, слегка вспыхнув, утвердительно кивнул головой.

— Обдумайте это хорошенько, — посоветовал Форрест. — Вспомните всех знакомых вам девушек, окончивших университет. Узнайте, сколько из них работает по специальности, а сколько вышли замуж через два года после получения дипломов и перешли на производство младенцев.

— Елена относится к этому серьезно, — возразил Креллин.

— Помните, когда меня оперировали по поводу аппендицита? — ответил Форрест. — Ну, лучше, чем моя сестра милосердия, я не видел, прелестная девушка! Она только что перед тем получила диплом, всего за шесть месяцев. А четыре месяца

спустя мне пришлось посылать ей свадебный подарок, она вышла замуж за представителя автомобильной фирмы. С тех пор она все живет по гостиницам. У нее даже случая не было ни за кем ухаживать, даже из собственных детей хоть бы один заболел расстройством желудка. Но… у нее есть надежды… и осуществятся они или нет… пока она бесконечно счастлива… К чему же ей было учиться?

Мимо проехала пустая удобрительная платформа, и спешившийся Креллин и Форрест на своей кобыле отошли на край дороги. Форрест заискрившимися глазами взглянул на пристяжную кобылу, огромную, очень правильно сложенную ширскую, заслужившую и себе и своим потомкам такое количество голубых лент, что для перечисления и классификации их понадобился бы опытный счетовод.

— Посмотрите на Принцессу Фозрингтонскую, — сказал Форрест, кивнув на утешившую его лошадь. — Вот вам нормальный представитель женского пола, одна только случайность помогла человеку после тысячи лет подбора домашнего скота выработать из нее ломовую лошадь. Но то, что она ломовая, это дело второстепенное, главное — она остается производитель-

ницей. Посмотрите на наших женщин: больше всего они любят нас, мужчин, и сильнее всего ими правит чувство материнства. Никакого биологического оправдания для всей этой шумихи о женских политических правах и о женском труде нет.

— А экономические причины? — возразил Креллин.

— Это правда, — согласился его патрон, но тут же выставил новые возражения. — Современная промышленная система мешает бракам и заставляет женщин искать работу. Но помните, промышленные системы родятся и умирают, а биология бессмертна.

— В наше время довольно трудно удовлетворить женщину лишь браком, — протестовал управляющий.

Дик Форрест засмеялся недоверчиво.

— Едва ли, в этом я не уверен, — сказал он. — Возьмите, например, вашу жену. Посмотрите на нее с ее дипломом, и она при этом классик, — что же она извлекла из своего классицизма? Двух мальчиков и трех девочек, если я не ошибаюсь?.. Я помню, вы мне говорили, что обручились с нею, когда она проходила последний семестр.

— Это правда, — настаивал Креллин, весело

усмехнувшись, — но ведь это было пятнадцать лет тому назад, и это был брак по любви. Иначе мы поступить не могли. В этом я с вами согласен. Она мечтала пойти необыкновенно далеко, а я не мог успокоиться на чем-либо ином, чем на деканстве в сельскохозяйственном колледже, но иначе мы поступить не могли. Однако это было пятнадцать лет тому назад, а пятнадцать лет перевернули все мечты и идеалы наших молодых девушек.

— Не верьте вы этому, мистер Креллин, статистика вам покажет, что все это преходяще: всякая женщина остается женщиной навсегда. Пока наши девочки не перестанут играть с куклами и смотреть в зеркало на свое обаятельное отражение, женщина не перестанет быть тем, чем она была всегда: сначала матерью, а потом подругой мужчины. Это, как я сказал, может быть проверено статистикой. Я следил за девушками, получающими высшее образование. Вы заметьте, кстати, что те, кто выходят замуж до окончания, вообще исключаются из института. Но даже и окончившие занимаются педагогикой в среднем не больше двух лет. А если вы примете во внимание, что многие из них заранее обречены на то, чтобы остаться старыми девами и заниматься

педагогическим трудом всю свою жизнь просто потому, что они некрасивы или им не повезло, то вы увидите, что они своей деятельностью естественно сокращают срок работы вышедших замуж.

— Имея дело с мужчинами, женщина, даже молодая девушка, всегда добьется своего, — пробормотал Креллин, чувствуя себя бессильным оспаривать цифры, на которые ссылался его патрон, но про себя твердо решивший проверить их.

— И ваша дочь поступит в Стенфорд, — засмеялся Форрест, готовясь пустить свою кобылку галопом, — и вы, и я, и все мужчины до скончания веков будут делать все, что требуется, чтобы только они могли настоять на своем?

Креллин усмехнулся про себя, провожая глазами хозяина. Мысль, вызвавшую у него улыбку, можно было бы формулировать так: «А где же ваш ребенок, мистер Форрест?» Он решил повторить этот вопрос миссис Креллин за утренним кофе.

Не доезжая до Большого дома, Дик Форрест снова остановился. Он заговорил с неким Менденхоллом, управляющим коневодством и экспертом по пастбищам и фуражу; о нем говорили, что он знает не только каждую травинку по всему

имению, но и ее длину и возраст.

Форрест его окликнул, и Менденхолл остановил двух жеребят, которыми правил, сидя в тяжелом двухместном экипаже. Форресту он понадобился потому, что ему захотелось поделиться со специалистом мыслью, мелькнувшей у него при виде северного края долины, где волнистые холмы, сейчас освещенные солнцем и поражающие яркостью своей зелени, выступом выдавались в бесконечную долину Сакраменто.

Последовавший затем разговор отличался краткостью и подбором выражений, понятных только посвящённым. Речь шла о травах. Говорилось о зимнем дожде и о вероятности новых дождей предстоящей поздней весной; упоминались разные названия вроде Малый Койот и ручейки Лос-Кватос, холмы Йоло и Миримар, Большой Бассейн, Круглая Долина, хребты Сан-Ансельмо и Лос-Банос. Обсуждалась переброска стад и табунов в прошлом, настоящем и будущем, а также виды на засеянные луга на далеких горных пастбищах и оценка сена, оставшегося с зимы в далеких амбарах и в укрытых горных долинах, где стада зимовали и кормились.

Под дубами, у коновязи, Форресту не пришлось привязывать Людоедку; выбежал конюх и при-

нял лошадь, а Форрест, лишь наскоро бросив ему несколько слов о какой-то лошади по имени Дадди, зазвенел шпорами по дороге в Большой дом.

Глава III

Форрест вошел в один из флигелей Большого дома через массивную, окованную железом дверь, выводившую на площадку, которую можно было принять за вход в подземную тюрьму.

Пол был выложен цементом, а многочисленные двери раскрыты. Через одну из них вышел китаец в белом фартуке и накрахмаленном поварском колпаке; из другой доносилось глухое жужжание динамомашины. Форрест остановился, открыл дверь настежь и заглянул в прохладную бетонированную комнату, освещенную электричеством, где стоял длинный стеклянный холодильник со стеклянными полками, а за ним — машина для изготовления искусственного льда и динамомашина. На полу в засаленном рабочем балахоне сидел на корточках маленький человечек, которому хозяин кивнул головой.

— Что, неладно, Томсон? — спросил он.

— Было, — коротко ответил тот.

Форрест запер дверь и пошел по коридору, напоминавшему туннель: узкие отверстия с железными перекладинами, похожие на бойницы средневековых замков, тускло освещали путь.

Другая дверь открылась в длинную низкую комнату со сводчатым потолком и камином таких размеров, что в нем можно было бы зажарить целого быка. На углях ярко пылал огромный чурбан; обстановку составляли два бильярдных стола, несколько карточных столов, диваны по углам и миниатюрный бар. Двое молодых людей, натирая мелком кии, ответили на приветствие Форреста.

— Доброе утро, мистер Нэйсмит, — бросил он, — что, набрали еще материал для «Вестника скотовода»?

Нэйсмит, моложавый мужчина лет тридцати, в очках, сконфуженно улыбнулся и с укором посмотрел на своего товарища.

— Меня соблазнил Уэйнрайт, — пояснил он.

— Из чего следует, что Льют и Эрнестина все еще разыгрывают спящих красавиц, — засмеялся Форрест.

Молодой Уэйнрайт не успел отшутиться, как Форрест уже был в дверях, через плечо говоря Нэйсмиту:

— Хотите поехать со мной в половине двенадцатого? Мы с Тэйером отправимся в автомобиле поглядеть на шропширов, ему нужно десять вагонов баранов. Вы наверняка найдете отличный

материал для себя. Их вывозят в Айдахо. Захватите фотоаппарат. Вы видели Тэйера утром?

— Он шел к завтраку, когда мы выходили, — заметил Берт Уэйнрайт.

— Если увидите его, скажите, чтобы он был готовым к половине двенадцатого. Вас я не приглашаю, Берт… из любезности. К тому времени наши барышни уже наверняка поднимутся.

— Риту-то вы, пожалуйста, возьмите с собою, — взмолился Берт.

— Ни в коем случае, — ответил Форрест уже за дверью. — Мы едем по делу, к тому же Риту никакими силами не оторвешь от Эрнестины.

— Вот потому-то я бы и хотел посмотреть, удастся ли это вам, — усмехнулся Берт.

— Странно, как это мужчины не ценят своих собственных сестер, — Форрест остановился. — Мне всегда казалось, что Рита прелестная сестра, а в чем дело, что вы имеете против нее?

Не ожидая ответа, он закрыл за собой дверь, и его шпоры зазвенели по коридору к винтовой лестнице с широкими бетонными ступенями. Поднимаясь по ней, он услышал звуки рояля; играли какой-то танец, слышался смех. Он заглянул в светлую комнату, залитую солнечными лучами. За роялем сидела молодая девушка в розовом

кимоно и утреннем чепчике, а две другие в таком же наряде, обнявшись, отплясывали какой-то танец, которому отнюдь не учат в танцевальных школах и который, конечно, не предназначался танцовщицами для глаз мужчин. Девушка за роялем заметила его, подмигнула ему и продолжала играть. Танцующие увидели его позже. Они вскрикнули от ужаса, упали в изнеможении друг другу в объятия, и музыка оборвалась. Все три были прелестными, здоровыми молодыми, и глаза Форреста зажглись тем же огнем, каким горели при виде Принцессы Фозрингтонской. Посыпались шутки.

— Я стою здесь уже пять минут, — заявил Дик Форрест.

Чтобы скрыть смущение, обе танцовщицы решили в этом усомниться и привели множество всем известных примеров его лживости. Сидевшая за роялем его невестка, Эрнестина, настаивала на том, что с уст Форреста льются чистые жемчужины правды и что она заметила его с того самого момента, как он вошел, и что по ее расчетам он уже находится в комнате больше пяти минут.

— Как бы то ни было, — прервал Форрест их болтовню, — невинный младенец Берт думает,

что вы еще спите.

— Да… для него мы спим, — возразила одна из танцовщиц, живая и хорошенькая девушка, — поэтому и вы, молодой человек, проходите, проходите.

— Послушайте, Льют, — строго начал Форрест. — Из того, что я дряхлый старик, а вам восемнадцать лет, всего только восемнадцать, и вы оказались сестрой моей жены, вовсе не следует, что вы должны передо мной так важничать. Не забывайте, — и я хочу это установить ради Риты, как бы вам ни было неприятно, — что за последние десять лет я вас выручал из стольких позорных ситуаций, что вам, пожалуй, станет стыдно, если я тут же их перечислю. Правда, я не так молод, как когда-то, — тут он многозначительно пощупал мышцы правой руки и сделал вид, что собирается засучить рукава, — но я еще… и за два цента…

— Что? — воинственно подзадоривала его девушка.

— За два цента, — пробормотал он с мрачным видом, — за два цента. Да, знаете, мне очень неприятно вам об этом говорить, но ваш чепец сидит очень криво. К тому же никак нельзя утверждать, что он сделан со вкусом. Уверяю вас,

что я во сне одними только пальцами ног сумею соорудить что-нибудь лучшее; уверяю вас, и даже морская болезнь мне не помешает…

Льют задорно качнула белокурой головкой, мельком оглядела подруг, ища в них участия и поддержки, и вскричала:

— Что же это такое, разве мы, три женщины, не сумеем разделаться с этим старым толстяком? Что вы на это скажете? Все разом на него, ведь ему не меньше сорока лет. Хотя я не люблю разглашать семейные тайны, но должна сознаться, что он страдает болезнью Меньера[1].

Эрнестина, маленькая, но ловкая блондинка лет восемнадцати, отскочила от рояля и подбежала к подругам. Они схватили подушки с глубоких кресел, стоящих у окна, и сомкнутым строем, держа в каждой руке по подушке и соблюдая между собой должное расстояние, стали надвигаться на врага.

Форрест приготовился к бою, но внезапно поднял руку для переговоров.

— Боится! Трус! — издевались они над ним, сначала поодиночке, а потом хором.

Он покачал головой.

---

[1] notes: 1

Меньера болезнь заключается в приступах головокружения и глухоты вследствие изменений в лабиринте уха.

— За это и вообще за дерзости все вы трое будете наказаны, как полагается. Я внезапно вспомнил все, чем из-за вас перестрадал. Еще минута — и я стану лютым. Но сначала я буду говорить, как сельский хозяин: скажите мне, ради всего святого, что такое болезнь Меньера? Что, овцы заражаются ею?

— Болезнь Меньера, — начала Льют, — это то, чем вы страдаете, вообще же на свете этой болезнью заражаются только овцы.

Тут-то и началась настоящая война. Форрест использовал футбольный маневр, известный в Калифорнии еще до того, как он был принят в регби; а девушки дали ему развивать свою линию, пропустили его в тыл, но затем повернулись и стали колотить подушками. Он пошел на них с широко раскрытыми руками, вытянутыми и скрюченными пальцами, которыми и вцепился во всех трех сразу. Вокруг вооруженного шпорами человека поднялся вихрь; его покрывали волны легкого шелка, летели туфли, чепцы и шпильки, подушки; слышалось рычание атакуемого, визги, крики и хохот девушек, и, наконец, все сражение покрылось нескончаемым хохотом и треском раздираемой шелковой ткани.

Дик Форрест очутился распластанным на полу,

голова отяжелела от ловко брошенных в него подушек, в одной руке у него волочился длинный, измятый и изорванный голубой пояс с вышитыми по нему бледными розами. У одной из дверей с разгоревшимися в сражении щеками, насторожившись, как лань, и готовая бежать, стояла Рита; другую дверь заняла Эрнестина; разгорячившаяся, в повелительной позе матери Гракхов, она стыдливо завернулась в жалкие остатки своего кимоно и одной рукой придерживала его. Льют, загнанная за рояль, пыталась бежать, но остановилась, испуганная угрозой Форреста, который, стоя на четвереньках, хлопал ладонями о пол, дико мотал головой и рычал, как разъяренный бык.

— А люди все еще верят старому доисторическому мифу, — возвестила Эрнестина из своего укромного уголка, — будто когда-то это жалкое подобие мужчины, ныне повергнутое в прах, стоя во главе футбольной команды Беркли, победило Стэнфорд.

Но она задыхалась от усталости, и Форрест с особенным восхищением отметил, как шевелится на ней прозрачный вишневый шелк, а затем перевел взгляд на других девушек, которые тоже не могли отдышаться.

Рояль был типа «миниатюр» — изящное сочетание белой эмали и золота, в тон всей веселой комнате. Он стоял вдали от стены, так что Льют вполне могла обежать его с другой стороны. Форрест вскочил на ноги и стал перед нею за широкой плоской крышкой. Он приготовился прыгнуть через нее, но Льют вскричала в ужасе:

— Но шпоры, Дик! На вас шпоры!

— Дайте мне снять их, — предложил он.

Но пока он наклонялся, чтобы расстегнуть их, Льют собралась прошмыгнуть, однако была немедленно водворена в свое убежище.

— Отлично, — пробормотал он. — Во всем этом будете виноваты вы! Если на рояле появятся царапины, я все скажу Паоле.

— У меня есть свидетели, — бросила она, призывая своими голубыми смеющимися глазами стоящих у дверей подруг.

— Прекрасно, моя милая, — Форрест отступил и одним уверенным жестом оперся ладонями о крышку рояля. — Иду на вас!

За делом не стало. Он перепрыгнул, опираясь на руки, но, прыгая, так перебросил тело в сторону, что страшные шпоры промелькнули на добрый фут выше блестящей белой поверхности. В один момент Льют нырнула под рояль, чтобы

на четвереньках проползти под ним. Но, к своему несчастью, она стукнулась головой, и, прежде чем ей удалось прийти в себя, Форрест загнал ее обратно под рояль.

— Выходите, — приказал он, — выходите получить ваше наказание!

— Перемирие, — взмолилась она. — Перемирие, славный рыцарь, во имя вашей возлюбленной и всех угнетенных дев.

— Я не рыцарь, я людоед, — провозгласил Форрест густым басом. — Я людоед, грязный, мерзкий и совершенно падший во грехе людоед. Я родился в болотах. Отец мой был людоед, а мать еще хуже. Меня убаюкивали воплями умерших и проклятых младенцев. Я вскормлен исключительно на крови юных девушек, воспитанных в благородном пансионе. Рестораном мне всегда служил деревянный пол, а обедом добрый кусок ученицы благородного пансиона и кровлей — крышка рояля. Отец мой был не только людоедом, но и калифорнийским конокрадом, а на мне еще больше преступлений, чем на отце. У меня больше зубов. Моя мать тоже людоедка, но ее позор был много хуже: она еще всегда подписывалась на дамские журналы, но я ужаснее матери.

— Неужели нельзя смягчить ваше свирепое

сердце? — взмолилась Льют нежным голосом, высматривая, как бы ей улизнуть.

— Для этого существует только одно средство, жалкая женщина. Только одно, на земле, над землей и под быстрыми волнами.

Эрнестина перебила его, сразу отметив плагиат.

— Смотри: Эрнст Досон, страница семьдесят пять, тоненькая книжка жидких стихов, смешанных с кашей, которой кормят барышень, томящихся в благородном пансионе, — продолжал Форрест. — Как я уже имел честь говорить, пока меня не перебили с такой грубостью, одно только, и только одно способно влить успокоение в это бурное сердце, это — «Молитва девы». Слушайте во все уши, пока я их вам еще не отрезал, слушайте, глупая, очень некрасивая, маленькая коротконогая женщина под роялем, сможете вы прочитать «Молитву девы»?

Радостные возгласы со стороны дверей не дали ответить, а Льют из-под рояля закричала внезапно подошедшему молодому Уэйнрайту:

— Выручите, благородный рыцарь! Спасите!

— Отпусти девицу! — приказал Берт.

— Кто ты? — вопросил Форрест.

— Король Джордж, черт побери, то есть, я хочу

сказать, святой Георгий.

— В таком случае я твой дракон, — заявил Форрест с должным смирением. — Пожалей мою древнюю, благородную и единственную шею.

— Голову долой, — поощряли девушки.

— Остановитесь, девы, прошу вас, — уговаривал их Берт. — Я мелкая сошка, но все же не боюсь. Я справлюсь с драконом. Я воткну ему в глотку копье, и, пока он задыхается, переваривая всю поеденную им человечину, вы, прекрасные девы, бегите в горы, дабы не обрушились на вас долины. Йоло, Петалума и Западное Сакраменто будут скоро наводнены сильным приливом с большими рыбами.

— Голову долой, — кричали девушки, — утопи его в крови, зажарь его целиком!

— Конечно, — простонал Форрест, — я погиб; вот и полагайся на бесконечное милосердие христианских девушек, живших в 1914 году, к тому же еще получающих политические права, когда вырастут, разве только не выйдут замуж за иностранцев. Пропала моя голова, святой Георгий, я умер, все кончено!

И с громкими рыданиями и всхлипываниями, необыкновенно натурально корчась и звеня шпорами, Форрест скончался.

Льют выползла из-под рояля. И вместе с Ритой и Эрнестиной исполнила импровизированный триумфальный танец над павшим. Но среди танца Форрест вдруг сел и, многозначительно подмигнув Льют, стал громко протестовать:

— Героя-то! — закричал он. — Вы забыли увенчать его цветами.

И Берта украсили цветами из ваз, где вода еще не сменялась со вчерашнего дня. Когда пучок размякших в воде стеблей молодых тюльпанов, воткнутый ему за ухо сильной рукой Льют, залил ему шею, он сорвался и побежал, преследуемый девушками. Шум буйной погони гулко разнесся по коридору, замирая на лестнице у бильярдной. Между тем Форрест оправился и, весело улыбаясь и звеня шпорами, пошел дальше своей дорогой к Большому дому. Пройдя через два внутренних двора, вымощенных кирпичом, крытых испанской черепицей и утопающих в роскошных весенних листьях и цветах, он вошел в свой флигель, все еще тяжело дыша после возни, и застал там поджидавшего его секретаря.

— Доброе утро, мистер Блэйк, — поздоровался он с ним. — Простите, меня задержали. — Он взглянул на часы. — Впрочем, только на четыре минуты. Раньше никак нельзя было вырваться.

Глава IV

От девяти до десяти Форрест с секретарем занимались перепиской со всевозможными корреспондентами, с целым рядом ученых обществ и самыми разнообразными сельскохозяйственными учреждениями. За это время он успевал сделать столько, сколько заурядный деловой человек, не умеющий пользоваться помощью подчиненных, не сделал бы до полуночи.

Дик Форрест стоял в центре целой системы, созданной им самим, которой он втайне очень гордился. Важные письма и документы он подписывал сам; на остальных документах печать ставил мистер Блэйк; он же в течение всего часа стенографировал лаконические решения патрона в ответ на многие письма. Мистер Блэйк был убежден, что он лично работает много больше хозяина, и думал, что патрон замечательно ловко придумывает работу, которую должны выполнять другие.

Ровно в десять часов в контору вошел Питтмен, ответственный за выставки скота, и Блэйк, нагруженный подносами с письмами, документами и фонографами, проскользнул в свою контору.

С десяти до одиннадцати в комнату приходили управляющие и инспектора. Все они были строго приучены говорить кратко и экономить время и прекрасно отдавали себе отчет в необходимости четко излагать свои мысли. Дик Форрест внушил им, что минуты, уделяемые им, не предназначены для размышления. Они должны были подготовиться, прежде чем делать доклад или выступать с предложением. Помощник секретаря Бонбрайт, в десять часов всегда сменявший Блэйка, быстро записывал все вопросы и ответы, фактические данные, предложения и планы. Эти стенографические записи, впоследствии расшифрованные и перепечатанные на машинке в двух экземплярах, были кошмаром, а иногда и Немезидой управляющих и инспекторов. У Форреста была великолепная память, кроме того, он часто подтверждал правильность своих воспоминаний, ссылаясь на записи Бонбрайта.

Часто случалось, что после пяти- или десятиминутной беседы какой-нибудь управляющий выходил из конторы весь в поту, совершенно разбитый и изнуренный. Форрест в течение всего этого часа напряженной работы обращался со всеми посетителями учтиво, но твердо, входя в детали всех отраслей хозяйства. Механику Томп-

сону он за какие-то четыре минуты ясно показал, в чем недостаток работы динамомашины, приводящей холодильник Большого дома в движение, обвинив в этом самого Томпсона. Затем заставил Бонбрайта записать номер главы и страницу книги, которую поручил Томпсону достать в библиотеке, тут же заявив Томпсону, что Паркмен, заведующий молочным хозяйством, недоволен последним ремонтом доильных машин и что холодильник на бойне неисправен. Каждый из служащих Форреста был специалистом, сам же он знал всё. Полсон, агроном, ответственный за пахоту, жаловался Досону, ответственному за сбор урожая:

— Я здесь проработал двенадцать лет и ни разу не видел, чтобы он пахал, а, между тем, черт его побери, он дело знает. Он гений, вот что! Знаете, раз как-то я видел, как он промчался мимо пахарей, весь занятый своей страшной Людоедкой, явно опасаясь худшего, а на следующее утро вдруг назвал, на сколько в том месте вспахана земля, и ошибся только на полдюйма, и знал, какими плугами мы пахали… Вы возьмите, как пахали Маков Луг, над Маленьким Лугом, на Лос-Кватос, я не знал, как подступиться, и надумал обойтись так, чтобы в одну сторону пропахать, а поперек

— нет. Когда все было кончено, он уж тут как тут. Ну и что же? На следующее утро мне не поздоровилось! Больше я его не пытался провести.

Ровно в одиннадцать часов Уордмен, заведующий овцеводством, вышел от Форреста с поручением поехать в одиннадцать часов тридцать минут в автомобиле с Тэйером, покупателем из штата Айдахо, на смотр шропширских баранов. Бонбрайт вышел вместе с Уордменом, чтобы расшифровать свои записи, и Форрест остался в конторе один. Он вынул из плоской проволочной корзины, наполненной еще не просмотренными бумагами, — таких корзинок в конторе было множество, — брошюру, изданную штатом Айова о свиной холере, и стал ее просматривать.

В свои сорок лет Дик Форрест обладал выдающейся внешностью: рост — пять футов десять дюймов, с сильными мускулами, вес 180 фунтов, серые, очень большие глаза, с густыми нависшими бровями и темными ресницами. Лоб средний, светло-каштановые волосы, высокие скулы с характерными впалыми щеками, сильные, но в меру развитые челюсти, нос с широкими ноздрями, прямой и довольно мясистый. Подбородок крутой, но не тяжелый, мягкий и нежный рот, при этом с известной твердостью губ. Кожа на

лице загорелая и ровная.

В углах рта и в глазах светился смех, а над ртом проходили морщинки, появившиеся от частого смеха. Вместе с тем черты его лица говорили о силе и уверенности. Дик Форрест действительно был в себе уверен: уверен, что когда он рукой ищет что-либо у себя на письменном столе, то рука немедленно коснется именно нужной вещи, не отступив ни на дюйм; уверен, что если он вдумывается в трудные места текста о свиной холере, то все абсолютно поймет; уверен как в своем сильном теле, так и в своем уравновешенном уме; уверен в своем сердце, в своей жизни и работе, во всем, чем обладал, и в себе самом.

Он имел все основания для такой уверенности. Физическая сила, мозг и карьера выдержали испытание. Сын богатого человека, он не промотал отцовских денег. Рожденный и воспитанный в городе, он вернулся к земле и достиг там таких успехов, что имя его теперь появилось на устах всех скотоводов, где бы они ни встретились, чтобы поговорить о делах. Он был владельцем двухсот пятидесяти тысяч акров земли, ценностью от тысячи долларов за акр до ста долларов и от ста долларов до десяти центов, а также и такой, что местами не стоила и пенни за акр. На

эксплуатацию этой четверти миллиона акров, от дренированных лугов до осушенных землечерпательными машинами болот, от проведения дорог до оросительной системы с распределением прав на воду за известную плату, от ферм до самого Большого дома, уходили совершенно чудовищные деньги.

Все в его хозяйстве, вплоть до последней часовой стрелки, было поставлено на широкую ногу и отвечало современным достижениям науки. Его управляющие жили на его земле, не платя никаких налогов, и получали оклады сообразно своим знаниям; они жили в домах, стоивших от пяти до десяти тысяч долларов, но все это были лучшие специалисты, приглашенные со всего континента, от Атлантического до Тихого океана. Если он заказывал газолиновые тракторы для обработки равнин, то заказывал их зараз целыми десятками; когда он запруживал воду у себя в горах, то сразу запруживал не менее ста миллионов галлонов; когда осушал болота, то вместо того, чтобы заключить договор на землечерпательные работы с подрядчиком, сам покупал огромные землечерпалки, а когда работа на его собственных болотах заканчивалась, брал и подряды на осушение болот у соседей, крупных фермеров,

земельных обществ на сто миль вверх и вниз по реке Сакраменто.

Голова у него работала так ясно, что он всегда отдавал себе полный отчет в необходимости покупать чужие умы и платить за лучшие из них много выше средней рыночной цены. А его ума, конечно, хватало, чтобы использовать как следует всех в своих интересах.

Ему было всего сорок лет, зрение его было остро, сердце билось ровно, пульс работал четко; он был человеком во всех отношениях сильным. И все же, пока ему не исполнилось тридцати лет, жизнь его протекала сумасбродно и беспорядочно. В тринадцать лет он убежал из родного дома. Но ему еще не было двадцати одного года, когда он окончил университет, после чего посетил гавани всех морей света и хладнокровно, от всей души, с веселым смехом шел навстречу всевозможным опасностям и рисковал жизнью во всех необыкновенных приключениях, какими изобиловала свободная жизнь, на его глазах подпадавшая под суровое воздействие закона.

В прежние времена в Сан-Франциско с именем Форреста считались. Родовой дом Форрестов был одним из первых дворцов, выстроенных на холме Ноб местными богачами-пионерами: Флу-

дами, Маккейнами, Крокерами и О'Брайенами. «Счастливчик» Ричард Форрест, отец, прибыл в Калифорнию из Новой Англии; он был человеком с ярко выраженными коммерческими способностями, в ранние годы интересовавшийся только клиперами и строительством новых клиперов, но немедленно по переселении занявшийся скупкой земли по морскому побережью, речным судоходством и рудниками, а впоследствии осушением болот и проведением Южно-Тихоокеанской железной дороги.

Он вел большую игру, крупно выигрывал и крупно терял; но его выигрыши всегда оказывались больше проигрышей, и все, что он терял, играя в одну какую-нибудь игру, он возвращал себе в другой игре. Все заработанное в Комстоке он спустил в дыры бездонного фонда компании Даффодил в графстве Эльдорадо. Все спасенное от катастроф на линии Бениш он использовал в акционерном обществе Напа, то есть в ртутном месторождении, и оно дало ему пять тысяч прибыли. А все потерянное при банкротстве Стоктонских морских укреплений он с избытком вернул в Сакраменто и Окленде.

В довершение всего, в то самое время, когда Счастливчик Ричард Форрест потерял все, что

имел после целого ряда катастроф и обанкротился в такой мере, что весь Сан-Франциско обсуждал вопрос о том, сколько принесет на аукционе его дворец на Нобском холме, он убедил некоего Дела Нелсона затеять большое дело в Мексике. История свидетельствует о том, что предварительные работы этого самого Дела Нелсона по поискам кварца положили основание для эксплуатации всех залежей Харвест, с легендарными и неистощимыми богатствами его рудников. Потрясенный этими удачами, Дел Нелсон успел за год угробить себя поглощением безмерного количества дешевого виски и, не имея родных, оставил неоспоримое завещание в пользу Счастливчика — Ричарда Форреста.

Дик Форрест был единственным сыном Счастливчика. Человек колоссальной энергии и предприимчивости, Ричард Форрест от первых двух браков детей не имел. Похоронив вторую жену, он в 1872 году женился в третий раз, когда ему было уже пятьдесят восемь лет, а в 1874 году умерла и эта жена, родив ему здорового крепыша в двенадцать фунтов весом, выросшего на Нобском холме, во дворце, под попечением целого полчища нянек.

Маленький Дик развивался очень быстро.

Счастливчик Ричард был демократом. Дик за год прошел с домашним учителем все, чему в школах учат три года, а выигранное время он проводил на воздухе. Поэтому ввиду раннего развития сына и демократических взглядов отца Дик был отдан в народную школу, чтобы приучиться общаться с сыновьями и дочерьми рабочих, лавочников, трактирщиков и политических деятелей.

Когда учителя вызывали его в классе или устраивали состязания по правописанию, то все отцовские миллионы не помогали ему победить гениального математика Пэтси Хэллорэна, сына простого каменщика, или Мону Санвинетти, писавшую диктанты так хорошо, что ее талант объясняли исключительно колдовством; всем было при этом известно, что ее мать — вдова, владелица всего лишь зеленной лавчонки. Отцовские миллионы и дворец на Нобском холме нисколько не помогли мальчику и тогда, когда, сбросив куртку и ботинки, не соблюдая никаких правил, он бил и был бит, дрался поочередно с Джимми Батсом, Джаном Шоинским и кучей других мальчишек, которые несколько лет спустя уже странствовали по белу свету, пожиная лавры в качестве боксеров, каких порождал один только Сан-Франциско, когда в нем еще бродила

нетронутая, здоровая и молодая сила.

Этим демократизмом Счастливчик Ричард сослужил сыну хорошую службу. В тайниках души Дик ни на минуту не забывал, что он живет во дворце, обслуживаемом многочисленными слугами, и что отец его — человек, пользующийся большим влиянием и большим почетом; но, с другой стороны, Дик познал также и силу демократии и людей, стоящих не менее твердо, чем он, на двух ногах и орудующих своими кулаками. Все это он понял, когда Мона Санвинетти заняла первое место в классе, потому что делала меньше ошибок, чем он, и когда Берни Миллер победил его на состязании в беге.

А когда Тим Хэгэн оставил его на поле битвы с окровавленным носом, разорванной губой и дыханием, вырывавшимся у него из разбитой груди со свистом и стоном, тут опять-таки нечего было ждать поддержки из дворца или из чековых книжек. Крепко удерживаясь на своих двух ногах и действуя обоими кулаками, он знал, что теперь или он, или Тим. И именно здесь, в поту и крови, молодой Дик научился не проигрывать битвы, на первый взгляд, безнадежной. Положение было тяжкое с самого начала, но он выдержал до конца и добился общего признания, что силы

противников равны. Но решение это было принято, когда оба лежали на земле почти без чувств, изможденные, с глазами, полными слез от злости и ненависти друг к другу. А затем противники подружились и вместе царили в школьном дворе.

Счастливчик Ричард умер в месяц окончания Диком народной школы. Дику было тогда тринадцать лет. У него было двадцать миллионов долларов и ни одного родственника, имеющего право причинять ему неприятности. Он был владельцем целого дворца, паровой яхты, конюшен и летней виллы на юге полуострова, в колонии набобов в Мэнло. Только с одним осложнением ему пришлось столкнуться — с опекунами. Впервые в прекрасный летний день он пришел к ним на совещание в громадный отцовский кабинет. Их было трое; все они были людьми пожилыми, состоятельными, компаньонами его отца. Слушая их разъяснения, Дик пришел к заключению, что хотя они и желают ему только добра, он все же с ними не сговорится. Он тут же рассудил, что они для него слишком стары. Кроме того, ему стало совершенно ясно, что его-то, того именно мальчика, судьбой которого они так озабочены, они не понимают. Наконец, со свойственной ему категоричностью, он решил, что только ему

самому лучше знать, что для него хорошо.

Мистер Крокетт произнес длинную речь, прослушанную им с настороженным и вежливым вниманием, кивая головой, когда говоривший обращался непосредственно к нему. Мистер Дэвидсон и мистер Слокум также говорили и были выслушаны не менее почтительно. Между прочим, Дик узнал, каким цельным и честным человеком был его отец, и познакомился с программой, составленной этими тремя джентльменами для того, чтобы сделать из него, Дика, такого же прекрасного человека.

Когда они кончили, Дик, в свою очередь, попросил слова.

— Я все обдумал, — заявил он, — и прежде всего я отправлюсь путешествовать.

— Это все придет в свое время, дружок, — ласково пояснил мистер Слокум. — Когда, — ну скажем, — вы будете готовы к поступлению в университет, тогда один год за границей был бы очень полезен.

— Разумеется, — сейчас же вмешался мистер Дэвидсон, уловивший вспыхнувшую в глазах мальчика искру неудовольствия и то, как он невольно сжал губы, — конечно, вы и до тех пор будете совершать небольшие поездки во время

каникул. Я уверен, и мои товарищи согласятся, что — при надлежащей осторожности и надзоре — такие экскурсии могут даже оказаться весьма благотворными.

— Сколько, вы сказали, у меня денег? — спросил Дик довольно неожиданно.

— Двадцать миллионов по самому умеренному счету, то есть приблизительно двадцать, — быстро ответил мистер Крокетт.

— А что, если бы я сейчас сказал, что мне нужны сто долларов? — продолжал Дик.

— То есть как же, — так, гм… — запнулся мистер Слокум и взглянул на товарищей.

— Мы спросили бы вас, на что они вам нужны, — ответил мистер Крокетт.

— А что, — очень медленно проговорил Дик, глядя мистеру Крокетту прямо в глаза, — если бы я вам ответил, что, к сожалению, я не хочу этого объяснять.

— В таком случае вы бы их не получили, — ответил мистер Крокетт так поспешно, что в его словах послышалась некоторая доля резкости, точно он выстрелил своими словами.

Дик медленно склонил голову, как бы давая этим словам глубже запасть в свое сознание.

— Но ведь, друг мой, — торопливо вмешался

мистер Слокум, — вы, конечно, понимаете, что вы слишком молоды, чтобы тратить деньги бесконтрольно. Распоряжаться ими для вас должны мы.

— Вы хотите сказать, что без вашего разрешения я и одним пенни пользоваться не могу?

— Ни одним пенни, — отрезал мистер Крокетт.

Дик задумчиво кивнул головой и пробурчал:

— Да, понимаю.

— Конечно, само собой разумеется, у вас будут карманные деньги, — сказал мистер Дэвидсон. — Ну, скажем, доллар или два доллара в неделю, а когда вы подрастете, они будут все увеличиваться, так что к тому времени, когда вам будет двадцать один год, вы безусловно будете вполне в состоянии, конечно, при некотором руководстве, самостоятельно распоряжаться своими деньгами.

— А до тех пор, пока мне не будет двадцати одного года, я со своими двадцатью миллионами не могу получить себе и сотни долларов, чтобы распорядиться ими по-своему? — смиренно спросил Дик.

Мистер Дэвидсон хотел смягчить ответ, но Дик прервал его и продолжал.

— Насколько я понимаю, я не могу тратить

денег, не получив на то вашего общего согласия?

Опекуны все трое утвердительно кивнули.

— Значит, что мы вчетвером решим, то и войдет в силу?

Опекуны снова подтвердили.

— Так вот, я хотел бы сейчас получить сто долларов, — заявил Дик.

— На что? — спросил мистер Крокетт.

— Это я могу вам сказать, — ответил мальчик твердо. — Чтобы путешествовать.

— Вы пропутешествуете в постель сегодня вечером в половине девятого, — резко возразил мистер Крокетт, — и никаких ста долларов вы не получите. Дама, о которой мы вам уже говорили, приедет сюда к шести часам. Вам известно, что вы будете на ее ежедневном и, если так выразиться, ежечасном попечении. В половине седьмого вы, как всегда, будете обедать; она будет есть с вами и следить за тем, чтобы в положенный час вы ложились спать. Мы уже говорили вам, что она заменит вам мать: она будет наблюдать за тем, чтобы ваши уши были чистые, шея вымыта.

— И чтобы в субботу вечером я принимал ванну, — с преувеличенной скромностью закончил за него Дик.

— Вот именно.

— Сколько же вы, то есть сколько же я плачу этой даме за ее услуги? — спросил Дик озадачивающим, сдержанным тоном, вошедшим у него в привычку и испытанным на себе его школьными товарищами и учителями.

Тут мистер Крокетт впервые откашлялся, прежде чем ответить.

— Ведь я ей плачу, не правда ли, — настаивал Дик, — из тех самых двадцати миллионов?

— Он — в отца, — заметил про себя мистер Слокум.

— Миссис Соммерстон, или, как вы ее называете, «эта дама», получает сто пятьдесят долларов в месяц, то есть тысячу восемьсот в год, — сказал мистер Крокетт.

— Это выброшенные деньги, — вздохнул Дик. — И к тому же при полном пансионе.

Он поднялся со своего стула, этот тринадцатилетний аристократ — аристократ не по рождению, не по наследству, а по воспитанию во дворце на Нобском холме. Он был в эту минуту так горд и высокомерен, что его опекуны тоже невольно поднялись со своих кожаных кресел. Но он не напоминал маленького лорда Фаунтлероя; здесь все обстояло сложнее. Он знал, что жизнь человеческая многолика. Недаром на первом

месте оказалась Мона Санвинетти. Недаром он дрался с Тимом Хэгэном, пока не разделил с ним власти над школьным двором. Рожденный отцом, пережившим бешеную золотую лихорадку сорок девятого года, он был подлинным аристократом и вместе с тем демократом, прошедшим народную школу. Своим молодым, еще незрелым умом он уже постиг разницу между знатью и простонародьем; он обладал громадной силой воли и спокойной уверенностью в себе, совершенно непонятной трем пожилым джентльменам, в руки которых была отдана его судьба и которые обязались увеличить число его миллионов, а из него самого сделать порядочного человека по своему образу и подобию.

— Благодарю вас за доброту, — сказал Дик, обращаясь ко всем троим. — Надеюсь, мы как-нибудь уживемся. Разумеется, эти двадцать миллионов принадлежат мне и, конечно, вы обязаны сохранить их для меня, так как я в делах ничего не смыслю.

— Они в наших руках еще вырастут, дружок. Они будут целы, мы их поместим в благонадежные солидные бумаги, — заверял его мистер Слокум.

— Но только, пожалуйста, без спекуляций, —

наказал Дик. — Папе везло, но я слышал, он говорил, что теперь времена изменились и что сейчас нельзя уже рисковать, как прежде.

Из всего этого можно, пожалуй, ошибочно решить, что у Дика подленькая и алчная душа. На самом же деле он в эту самую минуту погрузился в мечты и планы, столь же далекие и чуждые этим двадцати миллионам, как мысли пьяного матроса, швыряющего на берег свое жалованье за три года.

— Я ведь только мальчик, — продолжал Дик. — Но вы меня еще не совсем узнали. Со временем мы лучше познакомимся, а пока еще раз благодарю вас…

Он замолчал и с достоинством, которому рано научаются хозяева дворцов на Нобском холме, коротко поклонился, давая понять, что аудиенция кончена. Все это не ускользнуло от его опекунов, и они, товарищи его отца, удалились, сконфуженные и озадаченные. Дэвидсон и Слокум, спускаясь с массивной лестницы к поджидавшей их коляске, готовы были дать волю гневу, но мистер Крокетт, самый задорный и резкий из них, бормотал с восхищением: «Это его сын! Его сын!»

Они поехали в знаменитый клуб Пассифик-Юнион, где просидели целый час, серьезно

обсуждая будущность Дика, обещая себе быть достойными доверия, возложенного на них Счастливчиком Ричардом Форрестом.

Между тем сам герой их спешно спускался с холма по обросшим травой тропкам, слишком крутым для верховой езды. За районом, занятым дворцами и обширными садами набобов, пошли невзрачные улички с деревянными бедными домишками. В 1887 году в Сан-Франциско, как в старинных европейских городах, чередовались дворцы и трущобы, и Нобский холм высился, точно средневековый замок, над ютившейся у его подножия беднотой.

Дик остановился у угловой зеленной лавки, второй этаж которой снимал Тимоти Хэгэн Старший; в качестве полисмена со ста долларами в месяц он мог себе позволить жить выше своих сограждан, содержащих семью на скудные сорок-пятьдесят долларов в месяц. Но тщетно Дик свистел в раскрытые окна. Тима Хэгэна Младшего не было дома. Дик уже перебирал разные места по соседству, где бы мог быть в данный момент его приятель, как вдруг из-за угла появился сам Тим, бережно несущий жестянку из-под свиного сала, наполненную пенящимся пивом. Он что-то пробурчал в знак приветствия, на что Дик ответил

ему в тон, будто не он еще так недавно закончил прием трех богатейших тузов богатейшего города. Сознание, что он обладает двадцатью миллионами, непрерывно растущими, не сквозило в его голосе и нисколько не ослабило внешней грубости его приветствия.

— Тебя не видно со смерти твоего старика, — заметил Тим.

— Зато теперь видишь, — грубо бросил Дик. — Вот что, Тим, я к тебе по делу.

— Погоди, вот снесу пиво моему старику, — опытным глазом осматривая состояние пены на жестянке с пивом, ответил Тим, — а то он разорется на всю улицу, если ему подать без пены.

— Да ты встряхни, вот тебе и пена, — посоветовал Дик. — Мне на минутку только. Я сегодня ночью удираю, хочешь со мной?

Маленькие голубые ирландские глаза Тима загорелись.

— Куда? — спросил он.

— Не знаю. Хочешь со мной? Если да, мы это обсудим по дороге. Что скажешь?

— С меня старик всю шкуру сдерет, — заколебался Тим.

— Это тебе не впервой, а она на тебе, я вижу, все еще цела, — ответил Дик сухо. — Соглашайся,

и мы встретимся сегодня вечером в девять часов у парома. Ну что, согласен?

— А что, если я не приду? — спросил Тим.

— Я все равно уйду один.

Дик повернулся, как бы собираясь уходить, но остановился и небрежно, через плечо сказал:

— Ты лучше обдумай.

Тим встряхнул пиво и ответил так же небрежно:

— Ладно, приду.

Расставшись с Тимом Хэгэном, Дик посвятил остальные часы розыску некоего Марковича, своего школьного товарища, славянина, отец которого содержал ресторан с лучшими в городе обедами по двадцати центов. Младший Маркович был должен Дику два доллара. Дик получил от него сорок центов, а остальное простил.

Затем, не без робости и смущения, Дик прошелся по улице Монтгомери и долго колебался, выбирая ломбард среди украшавших ее заведений такого рода. Наконец он с отчаянной решимостью нырнул в первый попавшийся и обменял за восемь долларов и квитанцию свои золотые часы, стоившие, как ему было известно, не меньше пятидесяти.

Обед во дворце на Нобском холме подавался в

половине седьмого. Дик пришел в три четверти седьмого. Его встретила миссис Соммерстон. Это была полная, уже немолодая, видавшая лучшие времена дама из семьи знаменитых Портер-Рингтонов, финансовый крах которых поразил все Тихоокеанское побережье. Несмотря на свою полноту, она страдала от так называемого ею «расстройства нервов».

— Так нельзя, Ричард, никак нельзя, — пожурила она его, — обед готов уже четверть часа тому назад, а вы еще даже не умылись.

— Простите, миссис Соммерстон, — извинился Дик. — Я уже никогда больше не заставлю вас ждать. Да и вообще я никогда не буду вас беспокоить.

Обедали они вдвоем, очень церемонно, в большой столовой. Дик старался занимать даму, потому что, несмотря на то, что она у него на службе, она все же была его гостьей.

— Вам здесь будет очень удобно, — утешал он ее, — как только вы устроитесь. Дом отличный, и большинство слуг здесь подолгу служит.

— Но позвольте, Ричард, — улыбнулась она ему, — мое самочувствие будет зависеть не от прислуги, а от вас.

— Я постараюсь, — ответил он любезно. — Ска-

жу больше: мне очень неприятно, что я опоздал к обеду. Пройдут долгие годы, но этого не повторится. Я вас беспокоить не буду, вот увидите. Меня будто и не будет в доме.

Прощаясь с нею на ночь, он добавил, как бы что-то вспомнив:

— Об одном я вас предупреждаю: О-Чай, повар, он уже у нас так долго, что я и не знаю, лет двадцать или тридцать. Он готовил для отца еще задолго до того, как был построен этот дом. Меня еще на свете не было. Он у нас на особом положении. Он так привык все делать по-своему, что вам придется обращаться с ним крайне осторожно. Но если он вас полюбит, то и головы дурацкой своей не пожалеет, чтобы угодить вам. Меня он очень любит. Вы сделайте так, чтобы он и вас полюбил, и вам здесь будет чудесно. А я даю слово, что не буду причинять вам никакого беспокойства.

Глава V

Ровно в девять часов вечера, секунда в секунду, Дик Форрест, одетый в самое старое свое платье, встретил Тима Хэгэна у парома.

— К северу идти не стоит, — заметил Тим, — придет зима, и спать будет холодно. Хочешь на восток — это, значит, Невада и пустыни.

— А нельзя ли куда-то еще? — спросил Дик. — Как насчет юга? Пойдем на Лос-Анджелес, Аризону, Новую Мексику, ну и, пожалуй, в Техас?

— А сколько у тебя денег? — спросил Тим.

— А тебе зачем? — осведомился Дик.

— Нам придется убраться поскорее, а за это для начала надо уплатить. Мне что? Но для тебя это важно: твои опекуны поднимут тревогу. Они наймут сыщиков, а нам придется от них смываться.

— Так мы их проведем, — заявил Дик. — Первые два-три дня мы станем петлять, как зайцы, то вправо, то влево, и большую часть времени будем прятаться, пока не доберемся до Трэйси. А потом перестанем платить и повернем к югу.

Программу эту они выполнили в точности. Через Трэйси они проехали как платные пассажиры через шесть часов после того, как местная

полиция перестала обыскивать местные поезда. Для большей осторожности Дик уплатил до станции, лежащей за Трэйси, до Модесто, а затем, под руководством Тима, они уже путешествовали бесплатно в багажных вагонах и даже на предохранительных сетках. Дик покупал газеты и пугал Тима, читая ему сенсационные сообщения о похищении маленького наследника миллионов Форреста. А в Сан-Франциско опекуны объявили награду в тридцать тысяч долларов за розыск их питомца. И Тим Хэгэн, зачитываясь этими сообщениями, лежа в траве у ручейка, заставил Дика запомнить, что чувство неподкупной чести свойственно не одним только обитателям дворцов на холме, но и бедных лачуг.

— Черт возьми, — обращался Тим к расстилавшемуся перед ним пейзажу. — Вот бы разорался мой старик, если бы я тебя выдал за эти тридцать тысяч, подумать и то страшно.

Из того, что Тим просто и открыто заговорил об этом, Дик заключил, что сын полисмена ни в коем случае не предаст его.

Но сам Дик завел разговор об этом только через шесть недель, в Аризоне.

— Знаешь что, Тим, — сказал он, — денег у меня уйма, и они все время нарастают; я же не трачу

ни одного цента или, во всяком случае, очень мало… хотя эта миссис Соммерстон получает тысячу восемьсот долларов в год на всем готовом, и лошади к ее услугам, а мы с тобой рады, если нам дадут остатки от обедов кочегаров. Но все равно, мой капитал растет. А сколько это — десять процентов с двадцати миллионов долларов?

Тим Хэгэн уставился в раскаленную пустыню и пытался решить эту задачу.

— Сколько составляет одна десятая от двадцати миллионов? — спросил Дик.

— Ну, конечно, два миллиона.

— Так, ну, а пять процентов — это половина десяти. Сколько же принесут двадцать миллионов по пяти процентов в год?

Тим заколебался.

— Ровно половину, половину двух миллионов! — воскликнул Дик. — В таком случае я с каждым годом становлюсь богаче на миллион. Ты это запомни хорошенько и слушай дальше. Когда я стану хорошим мальчиком и соглашусь вернуться, но это будет через много лет, мы с тобою это дело сделаем. Когда я тебе скажу, ты напишешь отцу, он на нас нагрянет в условном месте, арестует меня и потащит домой. Он получит от моих опекунов тридцать тысяч награды,

бросит службу в полиции и, вероятно, откроет питейное заведение.

— Тридцать тысяч чертовски большие деньги, — Тим таким образом небрежно поблагодарил.

— Но не для меня. — Дик не желал преувеличивать своего великодушия. — В миллион тридцать тысяч входят тридцать три раза. А мое состояние приносит каждый год по миллиону.

Однако Тиму Хэгэну не суждено было увидеть отца владельцем трактира. Два дня спустя какой-то кондуктор, найдя мальчиков, скрывавшихся в пустом товарном вагоне, по глупости выставил их, когда поезд стоял на виадуке, перекинутом через крутой и голый овраг. Дик взглянул вниз на каменистое дно и запротестовал:

— Положим, на виадуке место есть, ну, а что, если поезд вдруг тронется?

— Не тронется, удирайте, пока можно, — настаивал кондуктор, — паровоз всегда здесь набирает воду.

На этот раз паровоз не стал брать воду. На следствии выяснилось, что машинист, убедившись, что воды в водокачке нет, решил ехать дальше. Едва мальчики успели выскочить через боковую дверь вагона и пройти несколько де-

сятков шагов по узенькому пространству между поездом и пропастью, как поезд тронулся. Дик, быстро соображавший и приспособлявшийся к обстоятельствам, мгновенно сел на корточки. Таким образом, он получил больше точек опоры и даже больше места, потому что подполз под наружный край вагона; Тим, все умственные процессы которого протекали медленно и к тому же охваченный чисто кельтским бешенством против коварного кондуктора, выпрямился во весь рост, чтобы в образных, хоть и непечатных, выражениях высказать свое о нем мнение.

— Вниз! Скорее! — крикнул Дик.

Но было уже поздно. Паровоз набирал скорость. Лицом к движущимся вагонам, с пустотой за спиной и пропастью под ногами, Тим пытался стать на корточки. Но при первом же движении плеч он ударился о вагон и чуть не потерял равновесие. Каким-то чудом он удержался и выпрямился. Поезд шел все быстрее и быстрее; снова стать на корточки уже было невозможно.

Дик, стоя на коленях, не в состоянии двинуться, все видел. Поезд набирал скорость. Тим, однако, не терял присутствия духа. Спиной к пропасти, лицом к вагонам, плотно прижав к телу опущенные руки, чувствуя опору только под ногами, он

пошатывался, но балансировал. Чем скорее шел поезд, тем больше его раскачивало, но, наконец, большим усилием воли он остановился и стал прямо.

И все кончилось бы благополучно, если бы не один особый вагон. Дик сразу это понял — он видел его приближение. Это был «лошадиный вагон», на шесть дюймов шире остальных. Он увидел, что и Тим его заметил. Он увидел, как Тим напряг все силы, чтобы приспособиться к тому, что из-под его ног уйдет еще полфута узкого пространства, на котором он лавировал. Он видел, как Тим медленно и обдуманно подавался назад до крайнего предела и все же еще недостаточно. Отойти дальше было физически невозможно. Будь у него на один дюйм больше, Тим спасся бы и от этого вагона. Но этот дюйм его погубил. Вагон задел его, толкнул в бок и назад, и мальчик дважды перевернулся в воздухе, прежде чем удариться головой о скалы.

Ударившись, он уже не шевельнулся. Череп был размозжен, и здесь-то Дик увидел смерть — не прилизанную, прилично обставленную смерть в культурных городах, где врачи, сестры и подкожные впрыскивания облегчают пациенту переход в неведомый мир и где обряды, цветы и

похоронное общество смягчают горе оставшихся, а внезапную смерть, грубую и безобразную, подобную смерти вола на бойне или смерти жирной свиньи с проколотой жилой.

Тотчас же Дик понял и многое другое — превратности жизни и судьбы, враждебность вселенной к человеку, необходимость соображать и действовать, видеть и знать; необходимость в уверенности и решительности. И тут же, над уродливыми останками того, кто еще только сейчас был его товарищем, Дик понял, что воздушные замки лгут и что никогда не обманывает только действительность.

В Новой Мексике Дик попал в одно из необозримых имений, простирающихся к северу от Росуэлла, в долине Пикос. Ему тогда еще не было четырнадцати лет. Он скоро сделался общим любимцем многочисленных служащих, из него получился настоящий, удалой ковбой.

За шесть месяцев, проведенных им в этом имении, Дик окреп телом, прошел практический курс коневодства и познакомился с людьми совершенно разными, неотесанными и грубыми. Эти знания оказались для него бесценным приобретением. Здесь же он научился и другому. Джон Чайзом, владелец этого и еще многих других име-

ний, король скотоводов, первый предвидел для края наступление новой земледельческой эры, фермерства, и, исходя из этого, поставил ограды из колючей проволоки. Он скупал участки, хорошо орошённые, а затем совсем по дешевке приобрел до миллиона акров, не имевших никакой ценности, если бы не прилегающая орошённая земля, скупленная до того. И за товарищеской беседой у костра или сидя в повозке, груженной продовольствием для далеких бивуаков, в обществе ковбоев, живущих на жалованье в сорок долларов в месяц и не предвидевших того, что предвидел Джон Чайзом, Дик понял, почему именно и каким образом Джон Чайзом стал королем скотоводства, а тысячи его соплеменников работали на него.

Но у Дика голова была не расчетливая, а горячая; характер страстный, огненный и мужественно-гордый. Готовый плакать от усталости после двадцати часов верховой езды, он научился пренебрегать физическими лишениями, как бы они ни заставляли его страдать, и стоически выжидать, пока не истощится терпение других. Те же качества заставляли его беспрекословно садиться на любую лошадь, какую бы ему ни дали, самому напоминать о своей очереди для

выезда в ночное и без устали и страха сгонять разбежавшееся стадо закинутым, извивающимся в воздухе лассо. Он позволял себе рисковать, риск был для него радостью, но никогда не терял чувства реальности. Он помнил, что человеческие черепа легко разбиваются о твердые скалы и под копытами лошадей. И если он когда и отказывался сесть на какую-нибудь лошадь, то потому только, что убедился, что в решительный момент она спотыкалась и у нее путались ноги; отказ этот вызывался не страхом, а тем, что (так он сказал самому Джону Чайзому) он хочет, если и рисковать жизнью, то по собственному желанию и ломать себе шею за хорошие деньги.

Только отсюда Дик собрался написать своим опекунам письмо, но из предосторожности дал его опустить животноводу из Чикаго, а адресовал на имя повара О-Чая. Дик не пользовался своими двадцатью миллионами, но никогда не забывал о них, и, опасаясь, что его состояние может быть роздано каким-нибудь дальним родственникам, которые могли отыскаться где-нибудь в Новой Англии, он предупреждал своих опекунов, что жив и здоров и через несколько лет вернется домой. В заключение он просил их и впредь содержать миссис Соммерстон и выплачивать ей

условленное жалованье.

У молодого Дика руки чесались. Он считал, что оставаться в имении больше полугода совершенно не имеет смысла. Он исколесил все Соединенные Штаты и в качестве малолетнего бродяги не раз сталкивался с мировыми судьями, полицейскими чиновниками, законами о бродяжничестве и тюрьмами. Между прочим, он познакомился и с сельским бытом, и с фермами, и фермерами и как-то раз в штате Нью-Йорк целую неделю собирал ягоды с каким-то фермером-голландцем, производившим опыты по сооружению одного из первых элеваторов в Соединенных Штатах. Он научился многому, но не потому, что учение стало его целью, а просто удовлетворяя свое ребяческое любопытство. Таким образом, он приобрел громадный опыт в познании и человеческой природы и жизни общества. Эти знания немало пригодились ему позднее, когда уже с помощью книг он перерабатывал и систематизировал их.

Никакого вреда все его приключения Дику не принесли. Даже в обществе арестантов, вслушиваясь в их философствования о добре и зле и жизненных потребностях, он не заразился чужими взглядами. Он как бы оставался странником

среди чуждых ему племен. Чувствуя себя в безопасности за своими двадцатью миллионами, он не испытывал ни нужды, ни желания красть или грабить. Он интересовался всем и всеми, но нигде не находил места или положения, которое могло бы задержать его навсегда. Он хотел видеть все больше и больше, наблюдать все без конца.

Через три года, когда ему минуло шестнадцать, окрепнув не по возрасту, он посчитал необходимым вернуться домой и засесть за книги. Тогда же он совершил свое первое долгое путешествие, поступив юнгой на торговое судно, отправлявшееся из какого-то порта на Атлантическом океане через Магелланов пролив в Сан-Франциско. Плавание было трудное, длилось сто восемьдесят дней, но к концу его он прибавил десять фунтов.

Миссис Соммерстон только ахнула, когда в один прекрасный день он предстал перед ней. Пришлось вызвать из кухни О-Чая, чтобы убедиться, Дик ли это. Она вскрикнула еще раз, когда подала ему руку, и он, привыкший обращаться с канатами, крепко сжал ее нежную руку. При первой встрече со срочно вызванными опекунами он держался застенчиво и даже несколько смущенно. Но это нисколько не помешало ему приступить прямо к делу.

— Вот что, — сказал он, — я не дурак, я знаю, чего хочу, а хочу я того, что мне нужно. Я на свете один, не считая, конечно, таких добрых друзей, как вы; у меня свои понятия о жизни и о моей роли в ней. Домой я вернулся не из чувства долга перед другими. Я вернулся домой только из чувства долга перед самим собой. В моих странствованиях я только выиграл, а теперь я хочу продолжать свое образование: я хочу сказать — свое школьное образование.

— Бельмонтское училище, — подсказал ему мистер Слокум, — подготовит вас к университету.

Дик отрицательно покачал головой.

— На это уйдет три года, да и на любой колледж понадобится столько же времени. Я намерен поступить в Калифорнийский университет через год, и мне придется поработать. Но мозги у меня, как кислота, они въедаются в книги. Я найму учителя или полдюжины учителей и засяду за учение. Но выбирать себе учителей я буду сам, нанимать и отказывать им — тоже. А для этого я должен располагать деньгами.

— Долларов сто в месяц, — предложил мистер Крокетт.

Дик снова покачал головой.

— Я три года пробивался сам, не беря ни гроша

из своих денег. Я думаю, что сумею распорядиться и здесь, в Сан-Франциско, располагая определенной суммой. Я вовсе не намерен пока распоряжаться всеми своими делами, но текущий счет в банке мне открыть нужно, и приличный. Я хочу тратить так, как мне покажется нужным и на что я сочту нужным.

Опекуны в ужасе переглянулись.

— Это нелепо, — начал мистер Крокетт. — Вы остались таким же неблагоразумным, каким были, когда ушли.

— Ничего не поделаешь, — вздохнул Дик. — И тогда тоже мы поспорили из-за денег. А мне ведь нужно было всего сто долларов.

— Вы подумайте о нашем положении, Дик, — усовещевал его мистер Дэвидсон. — Ведь мы ваши опекуны. Как на нас посмотрят люди, если мы позволим вам, шестнадцатилетнему мальчику, распоряжаться деньгами?

— Сколько стоит моя яхта «Фрида»? — неожиданно спросил Дик.

— Ее всегда можно продать за двадцать тысяч, — ответил мистер Крокетт.

— В таком случае продайте ее, для меня она слишком велика и притом с каждым годом обесценивается. Мне нужна игрушечка, футов

тридцать, с которой я мог бы справляться. Она обойдется не больше тысячи. Продайте «Фриду», а деньги положите на мой текущий счет. Я знаю, все вы трое боитесь, что я растрачу, запью, прокучу на бегах или с певичками. Так вот, чтобы вас успокоить, я вношу следующее предложение. Пусть этот текущий счет будет на имя всех нас четверых. Как только вы решите, что я трачу деньги неправильно, вы будете иметь возможность снять со счета всю сумму полностью. Кстати, могу вам сейчас сказать, что намерен пригласить эксперта из какого-нибудь коммерческого училища, чтобы под его руководством изучить всю деловую механику.

Дик даже не стал ждать их согласия, а продолжал, как бы считая дело решенным:

— А насчет лошадей в Мэнло вы не беспокойтесь, я их осмотрю и сам решу, какие из них сохранить. Миссис Соммерстон пускай останется здесь и ведет хозяйство, потому что я и так наметил себе достаточно работы. Заранее обещаю, что вы не пожалеете, дав мне волю распоряжаться моими личными делами, а теперь, если хотите послушать историю этих трех лет, я вам ее расскажу.

Дик был прав, говоря опекунам, что у него моз-

ги, точно кислота. Он умом буквально въедался в книги. Он сам направлял свои занятия, не чуждаясь совета сведущих лиц. Он научился у своего отца и у Джона Чайзома искусству использовать чужие мозги; молчать и думать он научился, пока пастухи болтали у костров. Пользуясь своим именем и положением, он отыскал и добился свиданий с профессорами, ректорами университетов и дельцами; он слушал их в течение долгих часов, редко прерывая их, редко задавая вопросы, воспринимая лучшее из того, что они могли дать, и вполне довольный, если в течение нескольких таких часов он извлекал для себя одну какую-нибудь идею, один факт, который помог бы ему решить, какое ему нужно образование и как взяться за дело.

Когда настало время пригласить учителей, начались такие испытания и увольнения, каких свет не видывал. Здесь он не экономил. Одного он удерживал месяц или три, а доброму десятку других отказывал в первый же день или в первую же неделю; но при этом неизменно уплачивал за весь месяц, даже если занятия продолжались не больше часа. Он действовал широко и справедливо, по своим средствам.

Этот мальчик, не раз кормившийся остатками

обедов батраков и пивший воду в горных ключах, основательно изучил цену денег. Он всегда покупал самое лучшее, уверенный, что, в конце концов это обойдется дешевле. Для поступления в университет нужно было пройти годичный курс физики и годичный курс химии. Усвоив алгебру и геометрию, он стал искать корифеев физики и математики Калифорнийского университета. Профессор Кэйри начал с того, что рассмеялся.

— Милый мой мальчик… — начал он. Дик терпеливо выслушал его до конца. Затем заговорил сам:

— Профессор, я не дурак; учащиеся средних учебных заведений — дети, они не знают света, не знают, что им нужно и почему им нужно то, что им преподают. А я знаю свет, знаю, почему и что мне нужно. Они занимаются физикой по два часа в неделю в течение двух семестров, которые, если считать каникулы, тянутся целый год. Вы — лучший преподаватель физики на всем Тихоокеанском побережье. Сейчас учебный год как раз кончается. Если вы посвятите мне всю первую неделю каникул, то я за это время пройду годичный курс физики. Во сколько вы оцениваете одну вашу такую неделю?

— Вам ее не купить и за тысячу долларов, —

ответил профессор Кэйри, думая на этом и закончить.

— Ваше жалованье я знаю… — начал Дик.

— Сколько же я получаю, по-вашему? — резко спросил профессор Кэйри.

— Во всяком случае не тысячу долларов в неделю, — так же резко ответил Дик, — и не пятьсот в неделю и не двести пятьдесят в неделю. — Он поднял руку, чтобы остановить профессора, собиравшегося перебить его. — Вы сейчас мне сказали, что мне не купить неделю вашего времени за тысячу долларов. Я хотел бы купить ее за две тысячи. Господи! Ведь на жизнь отведено считанное количество лет.

— А годы вы тоже можете купить? — насмешливо спросил профессор Кэйри.

— Разумеется, за этим я сюда и пришел.

— Но я же еще не согласился, — засмеялся профессор.

— Если сумма недостаточна, — заявил Дик сухо, — вы назовите цифру, которая вас удовлетворит.

И профессор Кэйри сдался. Так же сдался и профессор Барсдейл, профессор химии.

Своих учителей математики Дик возил на охоту за утками на болота Сакраменто и Сан-Хоакина;

справившись с физикой и химией, он повез учителей словесности и истории на охоту в лесистый район юго-западной части Орегона. Этому он научился у отца; он работал и развлекался, жил на свежем воздухе и без всякого напряжения прошел обычный трехлетний курс средней школы в один год. Он ловил рыбу, охотился, плавал, делал гимнастику и в то же время целенаправленно готовился к университету, не ошибаясь в своих расчетах. Он знал, что имеет возможность это делать, потому что отцовские двадцать миллионов давали ему особую власть. Деньги являлись для него средством; он не переоценивал, но и не умалял их значения. Он пользовался ими, чтобы купить то, что ему нужно.

— Удивительная расточительность, — заявил мистер Крокетт, рассматривая представленный Диком годовой отчет. — Шестнадцать тысяч долларов на одно учение, причем все расходы у него записаны до последних мелочей, включая и железнодорожные билеты, на чаи служителям и даже порох и патроны, истраченные учителями.

— Но экзамены он все-таки выдержал, — заметил мистер Слокум.

— И всего в один год, — пробурчал мистер Дэвидсон. — Мой внук поступил в Бельмонт тогда

же и еще дай Бог, чтобы он поступил в университет через два года.

— Ну, что же, одно могу сказать, — провозгласил мистер Крокетт, — отныне, сколько бы мальчик ни потребовал на свои расходы, отказа ему не будет.

— Ну, а теперь я убавлю ход, — сказал Дик своим опекунам, — в науках я догнал своих сверстников, а в знании людей и света опередил их на целые годы. Я знаю столько хорошего и дурного, столько значительного и пошлого о мужчинах, женщинах и жизни, что иной раз сам сомневаюсь, действительно ли я видел все, что знаю. Теперь уже такой спешки не будет: я сверстников нагнал и теперь пойду нормальным ходом. Мне только придется аккуратно переходить с одного курса на другой, и к двадцати одному году я окончу. Мне на ученье теперь столько денег не понадобится, учителей больше не нужно, но на развлечения можно будет тратить больше…

Мистер Дэвидсон насторожился:

— Что вы разумеете под словом развлечения?

— Университетские кружки, футбол… Не хочу же я быть хуже других, да к тому же я интересуюсь газолиновыми моторами. Я намерен построить первую в мире яхту с газолиновым мотором.

— Вы взорветесь, — покачал головой мистер Крокетт. — Глупости одни — все эти выдумки с газолином.

— Я уж постараюсь принять меры, — ответил Дик, — но для этого нужны опыты, а следовательно, и деньги. Итак, не скупитесь на новый текущий счет, по-старому — на имя всех четверых.

Глава VI

В университете Дик Форрест выделялся только тем, что в первый год своего учения он пропускал больше лекций, чем прочие студенты. Он позволял себе это, зная, что в пропущенных лекциях не нуждается. Его частные уроки с преподавателями не только подготовили его к вступительным экзаменам, но помогли ему пройти и весь первый курс. Между прочим, он поступил и в футбольную команду первокурсников, таких слабых спортсменов, что их били во всех соревнованиях.

Но Дик успел за это время многое проделать незаметно. Он основательно читал и когда вышел летом в плавание на своей газолиновой яхте, то окружил себя отнюдь не легкомысленной молодежью. Гостями его были профессора литературы, истории, права и философии с их семействами. Об этом плавании в университете помнили долго. Профессора по возвращении рассказывали о нем чудеса. Дик же вынес из него более углубленное понимание ряда научных дисциплин и, таким образом, извлек из этих недель то, чего не могли ему дать годы лекций. Поэтому он продолжал пропускать лекции, больше времени уделяя ла-

бораторным занятиям.

Не пренебрегал он также и развлечениями. Университетские дамы за ним ухаживали, барышни влюблялись; он был неутомимым танцором, охотно участвовал в студенческих пирушках; объездил все Тихоокеанское побережье с клубом любителей мандолины и банджо. И все же гением он не был. У него не было даже особенных способностей. Некоторые его товарищи играли на банджо и на мандолине гораздо лучше его, другие гораздо лучше танцевали. Правда, на втором курсе его футбольная команда, наконец, одержала победу благодаря ему; но дальше репутации серьезного, надежного игрока он не пошел. В борьбе лучшие борцы клали его на обе лопатки два раза из трех, но всегда лишь потратив на это немало сил.

Первым он не был ни в чем. Чарли Эверсон умел выпивать несравненно больше пива, чем он. Каррузерс побеждал его в боксе, пятая часть его курса писала лучше английские сочинения. Эдлин, русский еврей, победил его в диспуте, доказывая, что собственность есть грабеж. Шульц и Дебрэ оставались первыми по высшей математике, а у японца Отсуки не было соперников по химии.

Но если Дик Форрест ничем особенным не отли-

чался, то он ни в чем и не отставал. Он не проявлял исключительных талантов, но обвинить его в бездарности было невозможно. Его опекуны, весьма довольные его неизменным прекрасным поведением, размечтались было о предстоящей ему блестящей карьере, но когда они спросили его, кем он хочет стать, он ответил:

— Просто образованным человеком. Ведь мне незачем быть специалистом, это для меня устроил мой отец, обеспечив меня. К тому же, при всем моем желании, я не смог бы стать специалистом, это мне не по душе.

Это был инструмент, настроенный так точно, что струны его всегда звучали соразмерно ключу. Он представлял собою редкое явление человека нормального, среднего, хорошо уравновешенного и всесторонне развитого.

Когда мистер Дэвидсон как-то раз в присутствии других опекунов выразил свое удовольствие по поводу того, что Дик не допустил никаких глупостей с тех пор, как вернулся домой, Дик ответил:

— Да, я умею держать себя в руках, когда хочу.

— Конечно, — серьезно сказал мистер Слокум. — Великое счастье, что вы рано нагулялись и научились самообладанию.

Дик загадочно посмотрел на него.

— Ну, эта детская выходка не в счет — я еще не размахнулся как следует, я еще не отгулял, вы посмотрите, когда я начну! Вы знаете песню Киплинга о Диего Вальдесе? Видите ли, Диего Вальдесу везло, как и мне. Он приблизился к положению верховного адмирала Испании и не успел насладиться своим счастьем, был слишком занят. Он надеялся, что его жизнерадостность и энергия останутся при нем долго. Послушайте, — продолжал он, и лицо его загорелось страстью, — помните, что жажда моя далеко не утолена; я весь горю, но пока еще себя сдерживаю. Вы, пожалуйста, не думайте, что во мне нет огня, потому только, что я веду себя, как подобает благонравному школьнику; я молод, жизнь во мне бьет ключом; но этих ничтожных вспышек мне недостаточно, я развожу пары, мое время придет... Знаете ли вы, что значит ударить врага, оставив его мертвым? Вот что мне нужно: любить и целовать, и рисковать, и быть жадным! Я хочу использовать все свои возможности, пока я молод, но не сейчас, пока я слишком молод. Я, как положено, учусь, но поверьте, я не смирная овечка и уж когда дам себе волю, то разойдусь вовсю. Поверьте, сны мои не всегда спокойны!

— Что вы хотите этим сказать? — спросил ми-

стер Крокетт.

— То есть я еще не разгулялся; а когда сброшу с себя узду, тогда, повторяю, только держись!

— Вы думаете начать тотчас по окончании университета?

Он покачал головой.

— По окончании университета я поступлю по меньшей мере на год в сельскохозяйственный институт. Дело в том, что у меня есть одно увлечение — сельское хозяйство. Я хочу сделать что-нибудь, хочу что-то создать. Деятельность моего отца не была творческой, как и ваша. Вы были пионерами в новой земле и собирали деньги, как матросы, наткнувшиеся на непочатое богатство.

— Но, друг мой, у меня все же есть некоторый опыт в сельском хозяйстве Калифорнии, — несколько обиженно прервал его мистер Крокетт.

— Совершенно верно, но не создали. Вы были — простите, ведь факты остаются фактами, скорее разрушителями, хищниками. Что вы делали? Вы брали, захватывали, например, сорок тысяч акров плодороднейшей земли в долине Сакраменто и год за годом засеивали ее пшеницей; вы и не помышляли о севообороте. Вы жгли солому, истощали свой чернозем, вы вспахивали землю на

четыре дюйма, а под этим слоем оставляли грунт твердый, как камень. Вы истощили этот тонкий плодородный слой; теперь вы уже не выручаете из него даже на семена. Это было хищничество, им занимался и мой отец. Да и все. Я же хочу на отцовские деньги создавать. Возьму истощенную пшеницей землю, которую можно купить за бесценок, выворочу под ней грунт и в конце концов добуду из земли больше, чем вы получали от нее даже в ваши первые лучшие годы.

К концу третьего года мистер Крокетт снова заговорил о старом намерении Дика загулять вовсю.

— Как только окончу сельскохозяйственный институт, — ответил Дик, — тогда куплю имение и пущу его в ход, а сам уеду и загуляю!

— А каких размеров будет ваше имение для начала? — спросил мистер Дэвидсон.

— Может быть, начну с пятидесяти тысяч акров, а может быть, и с полумиллиона. Будет видно. Калифорния — все еще непочатый край. Без малейших с моей стороны усилий земля, которую я сейчас куплю за десять долларов, будет через пятнадцать лет стоить пятьдесят, а то, что я куплю за пятьдесят, будет стоить пятьсот.

— Полмиллиона акров по десять долларов

— это пять миллионов долларов, — озабоченно заметил мистер Крокетт.

— А по пятьдесят — и все двадцать пять миллионов, — рассмеялся Дик.

Но его опекуны не особенно верили во все фокусы, которыми он угрожал. Они допускали, что он способен ухлопать свое состояние на новомодное хозяйство, но чтобы он загулял буквально, после стольких лет самообладания, это казалось немыслимым.

Дик окончил университет без особенного блеска. Он считался двадцать восьмым и ничем не выделился. Отличился он, главным образом, тем, что выдержал атаки очень многих милых барышень и причинил им и их матерям немало разочарований, да еще тем, что в последний год пребывания в университете помог своим товарищам победить в футбол Стэнфордский университет.

В сельскохозяйственном институте, изучая животноводство, Дик занялся исключительно лабораторной работой и совершенно не посещал лекций. Он пригласил частных преподавателей и истратил на них целое состояние, разъезжая с ними по всей Калифорнии.

Жак Рибо, считавшийся одним из мировых

авторитетов по агрономической химии, получавший во Франции две тысячи в год и переселившийся в Калифорнию ради предложенных ему Калифорнийским университетом шести тысяч, а позднее перекочевавший на Гавайи, куда его переманили владельцы сахарных плантаций, пообещав десять тысяч, заключил с Диком Форрестом пятилетний контракт по пятнадцати тысяч в год — в чудесном, ровном климате Калифорнии.

Узнав об этом, опекуны всплеснули руками, догадавшись, что тут-то и начинается сумасшедшая кампания, которую предсказывал им Дик Форрест.

Подобных сумасбродств Дик устроил немало. Он переманил у федерального правительства лучшего специалиста по рогатому скоту и за грандиозный оклад; с таким же коварством отнял он у университета штата Небраска величайшего специалиста по молочному хозяйству и смертельно огорчил декана сельскохозяйственного факультета Калифорнийского университета, забрав к себе профессора Нирденхаммера, истинного чародея по фермерскому хозяйству.

— Это дешево, право же, дешево, — уверял Дик, объясняясь со своими опекунами. — Неужели вы

бы предпочли, чтобы я разорялся на скаковых лошадей и актрис вместо профессоров? Ваша беда в том, что вы не понимаете, как полезно покупать мозги, а я понимаю. Это моя специальность. Я зарабатываю на них деньги, у меня будут расти десять колосьев там, где у вас, пожирателей, уже и полколоса не вырастает.

После таких разговоров опекуны уже, конечно, не придавали значения его предупреждению по поводу того, что он бросится «любить и целовать, и рисковать» и драться.

— Еще только год, — предупреждал он их, зарывшись в книги по агрономической химии, почвоведению и сельскому хозяйству, и тут же объезжал всю Калифорнию со своим штабом высоко оплачиваемых экспертов. Опекуны опасались быстрого и полного таяния отцовских миллионов по достижении Диком совершеннолетия, когда ему предстояло взять в собственные руки все свое состояние и реализовывать безумные сельскохозяйственные затеи.

В тот самый день, когда ему исполнился двадцать один год, была совершена купчая на давно намеченное им громадное имение, простиравшееся на запад от реки Сакраменто до самых вершин горного хребта, — целое княжество.

— Невероятная цена! — вздыхал мистер Крокетт.

— Действительно, невероятно дешево, — возражал Дик. — Вы бы только посмотрели, какие сведения о почве, об источниках моих владений! Вы послушайте, что я вам спою. Вы послушайте, опекуны мои, вот это настоящая песня. Музыку сочинил я сам так, как, мне кажется, она должна была звучать. Видите, сейчас уже нет никого, кто бы ее слышал. Нишинамы знают ее через племя майду, а тем она была передана племенем канкау. Пели эту песню именно канкаутцы. И нишинамов, и майду, и канкаутцев уже больше нет. Я раскопал эту песню в третьем томе одного этнографического сборника, издаваемого Тихоокеанским географическим и геологическим обществом Соединенных Штатов. Эту песню впервые пел звездам и горным цветам на заре мира вождь Багряное Облако, сошедший с неба. Я знаю слова и индейские, но вам спою уже по-своему.

И, подражая индейскому фальцету, как бы торжествуя, вне себя от радости, ударяя себя по икрам и отбивая темп ногами, Дик пел:

Желуди падают с неба!

Я сажаю маленький желудь в долине!

Я сажаю большой желудь в долине!

Всходит желудь дуба, всходит, всходит!

В скором времени имя Дика Форреста стало все чаще появляться в газетах. Когда он купил быка за десять тысяч долларов, то сразу стал знаменитостью. Такой цены в Калифорнии еще не давал никто. Скотовод-специалист, «похищенный» им у правительства, перебил в Англии у Ротшильда за пять тысяч фунтов стерлингов одного ширского жеребца, который скоро прославился под именем Каприз Форреста.

— Пускай смеются, — говорил Дик своим бывшим опекунам, — я выпишу сорок кобыл, и жеребец окупит себя наполовину в первый же год, а сыновей его и внуков у меня здесь, в Калифорнии, будут расхватывать по три, а то и по пяти тысяч долларов.

В первые месяцы своего совершеннолетия Дик совершил много таких «безумств». Но самым необъяснимым из них оказалось последнее: истратив миллионы на свою прихоть, он сдал все хозяйство специалистам, поручив им развивать его по намеченному им плану и до некоторой степени ограничив их полномочия, чтобы не дать

совершить непоправимой ошибки; купил себе билет на пассажирское судно, отходившее в Таити, и уехал — «гулять». Опекуны изредка получали от него письма. Однажды они узнали, что он оказался владельцем и шкипером четырехмачтового стального парусника под английским флагом, перевозившего уголь из Ньюкасла. Узнали они это потому, что им пришлось выдать деньги на покупку судна, затем имя шкипера Форреста упоминалось в газетах, когда его команда спасла пассажиров злосчастного «Ориона»; позднее они же получили страховые деньги, когда судно Дика погибло почти со всей командой в страшном урагане, настигшем его у островов Фиджи. В 1896 году Дик неожиданно оказался в Клондайке, в 1897 году — на Камчатке, где заболел цингой. Затем он появился на Филиппинских островах под американским флагом. Наконец, как и почему — они так никогда и не узнали, он оказался владельцем и шкипером пассажирского парохода, давным-давно исключенного из списков Ллойда и плававшего под покровительством Сиама.

Время от времени между ними завязывалась деловая переписка. Он подавал вести о себе то из одного порта, то из другого. Как-то раз им пришлось использовать все свое политическое

влияние для воздействия на Вашингтон, чтобы американское правительство вызволило его из беды, в которую он попал в России. Об этом деле в газетах не промелькнуло ни одной строчки, но всему дипломатическому миру Европы оно доставило весьма пикантное удовольствие.

Однажды случайно они узнали, что он лежит раненый где-то в Китае; в другой раз, что он в Вест-Индии перенес желтую лихорадку. В Нью-Йорке его судили по обвинению в жестоком обращении с матросами во время плавания. Газеты трижды сообщали о его смерти: раз — в бою в Мексике, а дважды извещалось о его казни в Венесуэле. После таких ложных слухов его опекуны уже разучились волноваться, когда слышали, что он переплыл Желтое море в туземной лодке, умер от бери-бери, был захвачен японцами у русских в Мукдене и в качестве военнопленного задержан в Японии.

Они взволновались еще только один раз, когда, верный своему обещанию, тридцатилетний Дик Форрест вернулся в Калифорнию с женой, на которой, по его словам, он уже был женат несколько лет; ее, оказывается, хорошо знали три опекуна. Мистер Слокум когда-то потерял восемьсот тысяч вместе со всем состоянием ее

отца в последнюю катастрофу с Лос-Кокосскими рудниками, в то самое время, когда Соединенные Штаты обесценивали серебро. Мистер Дэвидсон извлек из устья реки в графстве Амадор миллион тогда же, когда ее отец добыл оттуда же восемь миллионов. В рискованной операции по осушению русла золотоносной реки мистер Крокетт действовал также вместе с ее отцом и тогда, еще пылкий юноша, он был у него шафером, когда тот женился на ее матери.

Итак, Дик Форрест женился на дочери Филиппа Дестена. Тут уже не приходилось желать Дику счастья. Следовало только разъяснить ему, что он сам не понимает, как ему повезло. Опекуны простили ему все его дикие выходки. Теперь он все искупил. Наконец-то он поступил вполне благоразумно, мало того — гениально. Паола Дестен — дочь Филиппа Дестена, кровь Дестенов! Дестены и Форресты! Престарелые товарищи Форреста и Дестена, товарищи старых золотоносных лет, лучшие друзья тех двух, уже наигравшихся и умерших, сочли нужным поговорить с Диком построже. Они указали ему на бесконечную ценность его сокровища, напомнили ему о священном долге, возлагаемом на него таким браком, и довели его до смеха своими

толкованиями традиций и достоинств родов Дестенов и Форрестов; он совершенно обезоружил их, объявив, что они говорят подлинным языком фанатиков евгеники; да, он был вполне прав, хотя они вовсе не желали слышать эту правду.

Так или иначе, но его выбор удостоился безусловного одобрения, и они без малейшего возражения согласились с планами и сметами Большого дома. Благодаря Паоле Дестен в этот раз они великодушно признали, что предположенные им расходы вполне уместны. Что касается сельского хозяйства, то им не пришлось отрицать, что урожаи великолепны и что фантазия Дика вполне целесообразна. Хотя мистер Слокум заметил:

— Двадцать пять тысяч за жеребца-тяжеловоза — это нелепость. Ведь тяжеловоз — не более чем рабочая лошадь, никак не более. Вот если бы скаковая!..

Глава VII

Пока Дик Форрест просматривал брошюру о свиной холере, изданную штатом Айова, в открытые окна через широкий двор донеслись звуки, возвещавшие о пробуждении той, чей портрет в деревянной рамке смеялся ему в портике, — молодой женщины, несколько часов тому назад оставившей у него на полу легкий розовый газовый чепчик с кружевами, так осторожно подобранный внимательным слугой.

Дик слышал ее голос: она, как птица, просыпалась с песней. Он слышал ее трели и рулады, то более громкие, то слабеющие, через растворенные во всю длину ее флигеля окна. Слышал, как она распевала в крытой веранде, проходившей через весь двор, как на минуту остановилась, чтобы побранить своего щенка, овчарку, обратившую преступное внимание на японских золотых рыбок, снующих в бассейне фонтана. Он радовался ее пробуждению. Это чувство удовольствия никогда не притуплялось, и хотя сам он уже был на ногах давно, ему всегда казалось, что Большой дом еще не проснулся, пока он не услышит утренней песни Паолы.

Но, отдавшись на минуту этому удовольствию, Дик, как и всегда, забыл о ней за делами. Она как бы вышла из его сознания; он снова углубился в статистику штата Айовы о свиной холере.

— С добрым утром, славный господин! — услышал он то, что всегда казалось ему чудесной музыкой, и Паола, во всей свежести утреннего кимоно, свободно облегавшего ее ничем не стесненный гибкий стан, обвила его шею рукой и присела к нему на колени. Он прижал ее к себе, и она почувствовала, что он рад ее близости, хотя глаза его еще с полминуты не отрывались от выводов, сделанных профессором Кенили по прививкам на ферме Симона Джонса в Вашингтоне в штате Айова.

— Какой ты счастливый, — проговорила она тоном шутливого упрека. — Ты пресыщен счастьем, вот твоя «маленькая хозяйка», твой ясный месяц, а ты даже не сказал: «С добрым утром, хозяюшка, сладко ли спалось?»

Дик оторвался от статистических выкладок результатов профессорских прививок, крепче прижал к себе жену и поцеловал ее; но указательный палец его правой руки был упорно заложен на странице, которую он только что читал. После ее замечания ему неудобно было спрашивать

о том, о чем следовало осведомиться раньше, как она спала после того, как обронила чепчик у него в спальне-портике. Он придержал правый указательный палец в том месте брошюры, где собирался продолжать работать, и обвил ее еще и правой рукой.

— Слушай, — вдруг воскликнула она, — слушай, где-то свистят перепела. — Она прижалась к мужу и затрепетала, слушая нежные звуки.

— Начинается токование, — улыбнулся он.

— Значит, весна! — радовалась Паола.

— Теперь будет хорошая погода.

— И любовь!

— И гнезда вить будут, и яйца класть, — засмеялся Дик. — Знаешь, сегодня я всюду видел какое-то особенное плодородие. Леди Айлтон принесла одиннадцать чудесных поросят. Ангорских коз сегодня утром пригнали с гор, им тоже пришла пора; жаль, что ты их не видела; а дикие канарейки у нас во дворе заливаются часами, обсуждая свои брачные дела. Точно все проповедники свободной любви сплотились, чтобы свергнуть единобрачие современными любовными теориями. Слушай! Опять! Что это? Аплодисменты или бунт?

Послышалось тонкое, пискливое щебетание

и чириканье, прерываемое резкими возбужденными трелями. Дик с Паолой наслаждались, прислушиваясь, как вдруг вся эта симфония, весь этот хор, пропетый влюбленными птичками в золотистом оперении, утонул в могучих звуках, не менее музыкальных, не менее страстных, но необъятных, диких, захватывающих дух своей силой.

Оба сразу обернулись глазами на дорогу, окаймленную сиреневыми кустами, напряженно ожидая появления рослого жеребца. Еще невидимый, он заржал второй раз. Это был его любовный призыв. Дик сказал:

— Спою и я тебе песню, гордая моя повелительница, ясный мой месяц, но песня не моя. Сложил ее сам Горный Дух; вот что я слышу в его ржании: «Внемлите! Я — Эрос. Я попираю копытами холмы, мой зов заполняет все широкие долины! Кобылы слышат меня и волнуются на своих мирных пастбищах, ибо они меня знают. Трава растет все роскошнее и роскошнее, земля наливается, наливаются и деревья. Пришла весна — весна моя. Я здесь властелин, я царствую над весной. Кобылы помнят мой голос, как до них помнили их матери. Внемлите! Я — Эрос, я попираю копытами холмы, а широкие долины возвещают о

моем приближении своим эхом!»

Все теснее льнула Паола к мужу, все нежнее ласкал он ее, губы ее коснулись его лба, и оба с выжиданием загляделись на тропинку среди сирени, пока, наконец, пред ними не предстало мощное величественное зрелище: по дорожке выступал Горный Дух, сидевший на нем верхом человек казался ничтожным пигмеем. Дик всмотрелся в глаза Горного Духа, подернутые синим блеском, — глаза породистого жеребца; то выгибая шею, то высоко вскидывая гордую морду, он испускал захватывающий дух и сотрясающий воздух страстный призыв.

В ответ, как эхо, издали донеслось нежное музыкальное ржание.

— Это Принцесса Фозерингтон! — тихо шепнула Паола.

Снова раздался трубный голос Горного Духа, и Дик нараспев повторил:

— «Внемлите! Я — Эрос. Я попираю копытами холмы!»

Паола, несмотря на ласку мужа, вдруг почувствовала как бы ревность к этому чудесному коню, которым он так непомерно восхищался. Это было лишь мгновенное ощущение, и она весело воскликнула:

— А теперь, Багряное Облако, — спой мне песню про желудь.

Дик рассеянно перевел взор с брошюры, к которой только что собрался вернуться, но тут же спохватился и, сразу настроившись на подобающий лад, затянул дикий, монотонный, индейский напев с положенными на него словами:

Желуди падают с неба!

Я сажаю маленький желудь в долине!

Я сажаю большой желудь в долине!

Всходит желудь дуба, всходит, всходит!

Пока он пел, Паола теснее прижималась к нему, но сейчас же почувствовала нетерпеливое движение руки, державшей брошюру, и уловила быстрый взгляд мужа, брошенный в сторону стоящих на письменном столе часов. Было одиннадцать двадцать пять минут. Она сделала еще одно усилие удержать его, и в слова ее невольно вкралась нотка кроткого упрека:

— Странный ты, удивительное Багряное Облако! Иной раз я почти убеждаюсь, что ты в самом деле настоящий индеец Багряное Облако, сажающий желуди и в дикой песне изливающий свою дикую радость. Иногда же ты ультрасовременный

человек, для которого статистические таблицы — чудесная поэзия, я вижу тебя вооруженным пробирками или шприцами, современного гладиатора, который борется с загадочными микроорганизмами. Бывают такие минуты, когда мне кажется, что тебе бы следовало быть лысым и носить очки…

— И что я по дряхлости своей не имею права держать у себя на коленях такую прелесть, не так ли? — закончил он за нее, снова притягивая ее к себе. — Что я просто глупый ученый и вовсе не заслуживаю тебя. Слушай же, у меня есть план. Через несколько дней…

Но в чем состоял этот план, так и осталось невыясненным. За их спиной раздался скромный кашель, и они увидели за собой Бонбрайта, помощника секретаря с пачкой желтых листков в руке.

— Четыре телеграммы, — вполголоса доложил он. — Мистер Блэйк полагает, что две из них очень важны. Одна касается погрузки в Чили партии быков, вы ведь знаете?

Паола медленно отошла от мужа и, встав, тут же почувствовала, что он опять ускользает от нее к своим статистическим сводкам и накладным, к секретарям, управляющим и смотрителям.

— Кстати, Паола, — крикнул он ей вслед, когда она почти исчезла за дверью, — я окрестил нового боя — он будет называться О-Хо, как тебе нравится?

Она шутливо ответила. Он весело рассмеялся; она тоже, уже скрывшись за дверью. И сейчас же, разложив перед собою телеграммы, он погрузился в рассмотрение намеченной погрузки в Чили трехсот годовалых быков с зарегистрированной родословной по сто пятьдесят долларов за каждого, включая погрузку. Но полусознательно он испытывал смутное чувство удовольствия, прислушиваясь, как поет Паола, возвращаясь к себе через крытую веранду, не замечая, впрочем, что голос ее несколько глуше обычного, правда, совсем чуть-чуть.

Глава VIII

Через пять минут после того, как Паола вышла, Дик, покончив с четырьмя телеграммами, сел в легкий автомобиль вместе с Тэйером, покупателем из Айдахо, и Нэйсмитом, корреспондентом «Вестника скотоводов». Уордмен, заведующий овцеводством, подошел к ним, когда они стояли уже у большой площадки, где в ожидании осмотра было собрано несколько тысяч молодых шропширских баранов.

Много разговаривать не пришлось, к великой досаде покупателя, считавшего, что по случаю приобретения десяти вагонов такого драгоценного скота не мешало бы и потолковать.

— Они говорят сами за себя, — заметил Дик и повернулся к Нэйсмиту, чтобы сообщить ему некоторые данные для статьи о шропширах в Калифорнии и северо-западном крае.

— Я не советовал бы вам затрудняться выбором, — обратился Дик к Тэйеру десять минут спустя. — Средних здесь нет, все — первый сорт. Вы просидите тут целую неделю и будете выбирать, а в конце концов убедитесь, что вы выбрали не лучше, чем если бы брали все подряд.

Дик говорил так, точно не сомневался, что сделка уже состоялась; эта уверенность, вместе с сознанием, что он действительно не видел таких одинаково замечательных баранов, так подействовала на покупателя, что неожиданно для самого себя он тут же вместо десяти вагонов заказал целых двадцать.

Вернувшись обратно в Большой дом и продолжая прерванную партию на бильярде, он сказал Нэйсмиту:

— Я у Форреста впервые; он просто волшебник. Я не раз делал закупки в восточных штатах, но его бараны меня попросту пленили. Вы заметили, я удвоил заказ; мне поручено погрузить шесть вагонов да на всякий случай мог бы прибавить еще два, но посмотрите: все покупатели, увидев такой скот, удвоят свои заказы. Из-за них будут драться; если я ошибаюсь, значит, я в баранах ничего не понимаю.

Ко второму завтраку призывал огромный бронзовый гонг, купленный в Корее. В него никогда не ударяли, прежде чем становилось известно, что Паола проснулась. Дик вышел к молодежи, собравшейся в большом внутреннем дворе. Берт Уэйнрайт, послушно следуя противоречивым указаниям и распоряжениям своей сестры

Риты, самой Паолы и ее сестер, Льют и Эрнестины, ковшом вылавливал из бассейна фонтана необыкновенно красивую рыбу, пестрой окраской напоминавшую тропический цветок, с таким невероятным множеством плавников, что Паола решилась отделить ее и поместить в особый бассейн для племенных выводков в собственном дворике. Среди общей суматохи, смеха и криков с большим трудом удалось выловить громадную рыбу и выплеснуть ее в другой сосуд, который тут же был сдан на руки садовнику.

— Ну, что у вас нового? — живо спросила Эрнестина вышедшего к ним Дика.

— Ничего, — печально ответил он. — Имение пустеет, завтра в Южную Америку отправляется триста красавцев, молодых быков, а Тэйер, вы с ним познакомились вчера, увозит двадцать вагонов молодых баранов. Одно могу сказать, что искренне поздравляю с приобретениями Айдахо и Чили.

Бронзовый гонг ударил вторично. Паола, одной рукой обняв Дика, другой — Риту, повела их в дом; замыкавший шествие Берт прилежно обучал ее двух сестер какому-то новому па, чуть ли не собственного изобретения.

— Вот что еще, Тэйер, — сказал Дик вполголо-

са, освободившись от дам, разговаривавших с гостями, которых они встретили на площадке лестницы, — прежде чем уедете, поглядите на моих мериносов, не могу не похвастаться ими; американские овцеводы, несомненно, ими заинтересуются. Начал я, конечно, с нескольких привозных экземпляров, но добился специального калифорнийского вида, которому позавидуют и сами французы. Поговорите с Уордменом и попросите Нэйсмита осмотреть их вместе с вами; да суньте с полдюжины их в ваш поезд и поднесите от меня в подарок вашему патрону — пусть полюбуется.

Они уселись за стол в длинной низкой столовой, точной копии столовых крупных мексиканских землевладельцев калифорнийской старины. Пол был выложен крупными коричневыми изразцами, сводчатый потолок и стены выбелены, огромный современный гладкий камин был чудом массивности и простоты. Зелень и цветы заглядывали в окна с глубокими просветами; вся комната дышала чистотой, простотой и прохладой.

По стенам было развешено несколько масляных картин; между ними в красивой рамке, на почетном месте, особенно выделялось выдер-

жанное в тусклых серых тонах изображение мексиканского батрака, который примитивным деревянным плугом, запряженным двумя волами, проводил мелкую борозду по печальной однообразной мексиканской равнине. Были и более веселые картины, все из старого мексико-калифорнийского быта: пастель, изображающая эвкалиптовое дерево в сумерки на фоне далекой горы, с вершиной, тронутой закатом; пейзаж при лунном свете; сжатое поле в летний день с рядом гор и лесистыми ущельями за сизой дымкой.

— Знаете что, — вполголоса обратился Тэйер к сидевшему против него Нэйсмиту, в то время как Дик оживленно шутил с девушками. — Вы найдете богатый материал для вашей статьи в самом Большом доме. Я заходил в столовую для прислуги: за стол ежедневно садятся сорок человек служащих, включительно садовника, повара и поденщиков. Целая гостиница. Тут нужна голова, система, и этот их китаец О-Пой — прямо-таки клад. Он здесь домоправитель или управляющий. Вся машина работает так исправно, что и толчка не заметишь.

— А все же настоящий волшебник — сам Форрест, — возразил Нэйсмит, — он голова, выбирающая другие головы. Он с одинаковой легкостью

мог бы вести военную кампанию, возглавлять правительство и даже заведовать цирком.

— Ну, последнее — настоящий комплимент, — горячо подхватил Тэйер.

— Послушай, Паола, — окликнул Дик жену через стол, — я только что получил известие, что завтра к нам приедет Грэхем. Ты бы сказала О-Пою, чтобы он поместил его в сторожевую башню, там просторно, и может быть, он приведет свою угрозу в исполнение и поработает над своей книгой.

— Грэхем? Грэхем? — припоминала Паола вслух. — А что, я с ним знакома?

— Ты с ним встречалась всего только раз, года два тому назад, в Сант-Яго. Он обедал с нами в ресторане.

— Ах, так это один из тех морских офицеров?

— Нет, штатский. Неужели не помнишь? Высокий блондин. Вы с ним толковали о музыке целых полчаса, пока капитан Джойс не уморил нас, доказывая, что Соединенные Штаты обязаны очистить Мексику бронированным кулаком.

— Ах да, — пыталась припомнить Паола. — Вы с ним, кажется, где-то встречались в Южной Африке? Или на Филиппинах?

— Тот самый. В Южной Африке. Его зовут Ивэн

Грэхем. Потом мы еще раз встречались на вестовом судне, принадлежащем газете «Таймс», в Желтом море. Да и потом мы сталкивались еще раз десять, но все как-то не сходились до того вечера, в кафе «Венера». Странно вспомнить, он уехал из Бора-Бора на восток за два дня до того, как я поднял якорь по дороге на запад, на пути к Самоа. Затем я уехал из Апии, где рассчитывал передать ему письма от американского консула, за один день до того, как он туда приехал. В Левуке мы разминулись на три дня, я тогда плыл на «Дикой утке». Он гостил в Суве на британском крейсере. Сэр Эверард Турн, британский главный уполномоченный в Южных морях, снова снабдил меня письмами для Грэхема, но я не застал его на Ново-Гебридских островах. То же и на Соломоновых островах. Там крейсер бомбардировал несколько деревень людоедов в Ланга-Ланга, а утром он вышел в море. Я же прибыл туда только днем. Так лично я тех писем и не передал и следующий раз увидел его в кафе «Венера» два года тому назад.

— Но кто он и что он, — допрашивала Паола, — и что это за книга?

— Если начать с конца, он разорен, то есть разорен, имея в виду его прошлые богатства: он не

нищий, несколько тысяч дохода у него осталось, но все, что ему оставил отец, уже ушло. Нет, не прокутил, последняя паника просто поглотила почти все его состояние. Но он не падает духом. Он из хорошего старинного рода, чистокровный американец, окончил Йэйлский университет. Книга?.. Он надеется, что она будет иметь успех. Он в ней описывает свое прошлогоднее путешествие через Южную Америку, с западного берега до восточного, и большей частью по неисследованным частям Бразилии. Бразильское правительство по собственному почину назначило ему гонорар в десять тысяч долларов. Да, это в полном смысле человек: рослый, сильный, простой, душою чист. Везде был, все видел, почти все знает, честный, смотрит прямо в глаза. Мы, мужчины, таких любим.

Эрнестина захлопала в ладоши и, бросив на Берта Уэйнрайта победоносный, вызывающий взгляд, воскликнула:

— И завтра он приезжает?

Дик укоризненно покачал головой.

— Тут нет ничего по вашей части, Эрнестина; точно такие же милые барышни, как вы, не раз закидывали удочку, чтобы его поймать. Говоря между нами, я их ни чуточки не виню. Но у него

отличные ноги, и он всегда успевал убегать; им и не удавалось загнать его в угол, где бы, запыхавшись и в полном истощении, он моментально ответил бы «да» на целый ряд вопросов и откуда бы вышел, как в тумане, связанный, сбитый с толку, заклейменный навсегда и женатый. Вы лучше оставьте его, Эрнестина, хватит с вас золотой молодежи с ее золотыми яблочками. Подбирайте их. Но Грэхема бросьте: он моего возраста, многое видел; его не поймаешь, хотя достаточно кроток. Он закален, очень умен и совсем не любит молодых девиц.

Глава IX

— Где мой мальчишка? — смеялся Дик, топая, бряцая шпорами по всему Большому дому в поисках маленькой хозяйки. Он побежал к двери, открывавшейся в ее длинный флигель. В двери этой не было ручки, она была сделана из громадной деревянной панели, входящей в стену, состоящую исключительно из панелей. Дик нажал потайную пружинку, известную лишь ему и жене, и дверь распахнулась.

— Где же мой мальчишка? — снова крикнул он и затопал по всему коридору.

Тщетно заглядывал он в ванную, с ее вделанным в пол римским бассейном с мраморными ступенями, напрасно заглянул в туалетную и гардеробную — никого. По короткой широкой лестнице он поднялся к ее любимому, сейчас пустому дивану, прилаженному под окном башенки, названной ею «Башней Джульетты». С особым интересом и удовольствием взглянул на разложенные кружева, батист, которыми она, очевидно, недавно любовалась. На минуту он остановился перед мольбертом: шутливый окрик замер на его устах — он весело рассмеялся,

оценив по достоинству едва набросанный эскиз, в котором узнал неуклюжего костлявого жеребенка, только что отнятого от матки и отчаянно зовущего её.

— Где же мой мальчишка в шароварах? — крикнул он еще раз в сторону спального портика, но там застал только почтенную китаянку, лет тридцати, застенчиво ему улыбавшуюся.

Это была горничная Паолы Ой-Ли, взятая Диком почти ребенком из рыбачьей деревни на Желтом море, где ее мать плела сети для рыбаков и в хорошие годы зарабатывала этим промыслом по четыре доллара. Ой-Ли поступила к Паоле на трехмачтовую шхуну в то время, когда О-Пой, будучи еще юнгой, проявлял сообразительность, позволившую ему занять должность домоуправителя в Большом доме.

— Где ваша хозяйка, Ой-Ли? — спросил Дик.

Ой-Ли вся съежилась, замирая от застенчивости.

Дик все ждал.

— Может быть, она с молодыми барышнями?

— Я не знаю, — пролепетала она, и Дик, сжалившись над ней, повернулся на каблуках и вышел.

— Ну где же мой мальчик в шароварах? — вскричал он снова, выходя из-под ворот как раз в

ту минуту, как по кругу, обсаженному сиренью, подъезжал автомобиль.

— Ну, я-то во всяком случае не знаю! — отозвался оттуда высокий блондин в легком летнем костюме. Через минуту Дик Форрест и Ивэн Грэхем пожимали друг другу руки.

О-Дай и О-Хо внесли в дом ручной багаж, а Дик проводил гостя в приготовленное для него помещение в сторожевой башне.

— Вам уж придется к нам привыкнуть, дружище, — предупреждал его Дик, — хозяйство идет у нас как по писаному, и слуги у нас отличные, но мы позволяем себе всякие вольности. Если бы вы приехали двумя минутами позже, вас некому было бы и встретить, кроме моих китайцев. Я только что собирался покататься верхом, а Паола — жена — куда-то исчезла.

Они были почти одинакового роста, Грэхем на какой-нибудь дюйм выше, но настолько же у́же в плечах. Он был несколько светлее Форреста, у обоих были одинаково серые глаза, с одинаково чистыми белками, кожа их лиц была одинакового бронзового оттенка от долголетней жизни на воздухе и загара. Черты лица Грэхема были несколько крупнее, глаза более продолговатые, но это было мало заметно под тяжелыми веками;

нос как будто несколько крупнее и прямее, чем у Дика, губы чуть полнее и краснее, слегка более чувственные.

Волосы Форреста были светло-каштановые, а волосы Грэхема от природы, по-видимому, золотистые, казались выжженными солнцем, почти песочного цвета. У обоих были высокие скулы, но щеки у Форреста были более впалые. У обоих были широкие, тонкие ноздри и губы обоих, благородно очерченные, были нежны и чисты, вместе с тем в них чувствовалась твердость и даже суровость, как и в подбородках.

Небольшая разница в росте и объеме груди придавала Грэхему грацию движений, которой не хватало Дику Форресту. В общем они как-то дополняли друг друга. В Грэхеме были свет и радость, что-то от сказочного принца. Форрест казался более мощным, более суровым и строгим.

Форрест мельком взглянул на ручные часы, которые носил на ремешке.

— Половина двенадцатого, — сказал он, — поедемте со мною, Грэхем. За стол мы сядем не раньше половины первого. Я гружу целых триста голов быков и горжусь ими. Вы должны на них посмотреть. Не беда, что вы не одеты. О-Хо, принеси пару гетр, а вы, О-Пой, прикажите оседлать

Альтадену. Какое вам седло, Грэхем?

— Да любое.

— Английское, австралийское? Шотландское? Мексиканское? — настаивал Дик.

— Если можно, шотландское, — попросил Грэхем.

Они остановили лошадей у самого края дороги, простояли, пока мимо них не прошло все стадо и последний бык не исчез за поворотом на пути в долгое странствие до Чили.

— Теперь я понимаю, чем вы занимаетесь, это чудесно, — восхищался Грэхем с засветившимися глазами. Я в молодости сам забавлялся этим в Аргентине. Начни я с такой породы, я бы, может быть, не кончил так плачевно.

— Но ведь то было время, когда еще не было ни нашей люцерны, ни артезианских колодцев, — утешил его Дик. — Время для шортхорнов тогда еще не созрело, корабли с холодильниками не были изобретены. Вот что вызвало революцию в этом деле.

— К тому же я был тогда просто мальчишкой, — добавил Грэхем. — Но ведь и не в этом суть. Там тогда над подобным же предприятием работал молодой немец; у него было не больше одной десятой моего капитала, а он выдержал все — и

неурожайные годы, и засуху. Сейчас состояние его исчисляется миллиардами.

Они повернули лошадей назад, к Большому дому. Дик взглянул на часы.

— Времени еще много, — заметил он. — Я очень рад, что вы видели это стадо. Тот молодой немец выдержал потому, что у него другого выхода не было. Вы же могли пользоваться отцовскими деньгами, да, наверное, у вас ноги чесались, а главная ваша слабость, вероятно, в том и заключалась, что вы решили дать себе волю и имели возможность это сделать.

— Вот там рыбные пруды, — заговорил Дик, кивая головой вправо на что-то невидимое за гущей сирени. — Знаете, я достаточно скуп. Люблю, чтобы у меня все работало. Я готов признать восьмичасовой рабочий день, но вода у меня должна работать круглые сутки. Рыбные садки у меня самые разнообразные: они приспособлены к потребностям самых разных рыб. Вода у меня идет с гор и орошает несколько десятков горных лугов, прежде чем сбежать вниз, и очищается до кристальной прозрачности. А в том месте, где она падает с гор водопадами, она дает добрую половину энергии и обеспечивает нас электричеством. Затем русло разветвляется, вода стекает

к рыбным прудам, а по выходе из них орошает огромные поля люцерны. И поверьте, если бы она не достигла, наконец, долины Сакраменто, я бы устроил еще дренаж для дальнейших оросительных работ.

— Удивительный вы человек, — рассмеялся Грэхем, — вы способны написать целую поэму о чудесах, творимых водою; огнепоклонников мне видеть приходилось, но сейчас я в первый раз вижу водопоклонника, а вы к тому же совсем не пустынник. Я хочу сказать…

Грэхем не договорил. Неподалеку, справа, раздался звук копыт по бетону, затем — сильный всплеск, женские голоса и взрывы смеха. Однако тотчас же они сменились испуганными воплями, всплескиванием и фырканьем как будто тонущего огромного животного. Дик пригнулся к седлу и поскакал сквозь гущу сирени. Грэхем — за ним, на своей Альтадене. Они выехали на залитую жгучим солнцем поляну среди деревьев, и перед ними открылась совершенно неожиданная картина. Середину поляны занимал четырехугольный бассейн, выложенный бетоном. Верхний край бассейна во всю ширину совершенно отлогий, блестел от тихо скользящей по нему воды. Бока были отвесны, нижний слегка

волнистый край незаметно переходил на сушу покатым спуском. И тут, в паническом ужасе, вне себя от волнения, в полном отчаянии стоял ковбой и, машинально подпрыгивая, беспрерывно восклицал: «Боже мой, Боже мой!», то возвышая голос до крика, то понижая его до шепота. На дальнем краю бассейна в купальных костюмах, со спущенными в воду ногами, сидели три такие же растерявшиеся девушки.

В самом бассейне, в самом центре, громадный гнедой конь, весь мокрый, лоснящийся, как атлас, стоял в воде и бил по воздуху огромными передними копытами, сверкающими на солнце мокрой сталью подков; на спине его, беспрестанно соскальзывая, виднелась ослепительно белая фигура, которую Грэхем сначала принял за прекрасного юношу. И только когда жеребец, вдруг опустившись в воду, снова вынырнул и опять забил ногами и подковами, Грэхем сообразил, что на нем сидит женщина в белом шелковом трико, облегающем ее тело так плотно, что она казалась изваянной из белого мрамора. Мраморной казалась ее спина, и только тонкие, нежно очерченные мускулы напрягались под шелковым покровом, пока она старалась удержать голову над водой. Ее тонкие, хотя и округленные руки пе-

реплелись с длинными прядями гривы жеребца; белые ножки пальцами впивались в его гладкие бока, тщетно ища в них ребра для опоры.

Грэхем мгновенно оценил ужас положения. Он понял, что это изумительное белое создание — женщина, осознал всю миниатюрность ее нежного сложения и достойное гладиатора напряжение. Она была похожа на статуэтку из дрезденского фарфора, совсем маленькую и легонькую, по нелепой случайности попавшую на спину утопающему чудовищу, или сказочную фею, такую крошечную верхом на великане-коне.

Стараясь удержать равновесие, она склонилась так низко, что прижалась рукой к огромной, вытянутой дугой шее коня, и ее разметавшиеся каштановые косы с золотистыми отблесками длинными мокрыми прядями легли по воде, смешиваясь с черной гривой коня. Но больше всего поразило Грэхема ее лицо. Это было лицо женщины и в то же время — мальчишеское. Взгляд ее был серьезен, а вместе с тем чувствовалось, что ей весело, что опасность доставляет ей удовольствие. «Это наша раса, — мелькало в голове у Грэхема, — это создание современности, но сколько в нем и язычества». И она, и вся картина

действительно казались анахронизмом для XX столетия; от нее дышало древней Грецией или «Тысяча и одной ночью». Так подымались из глубины волн водяные духи или чудесные принцы верхом на крылатых драконах.

Жеребец, с трудом держась над водою, снова опустился, едва не перевернувшись. Он исчез под водой вместе со своей дивной всадницей, но не прошло и секунды, как они опять вынырнули, и конь снова забил в воздухе громадными передними копытами, а наездница держалась по-прежнему, крепко прильнув к гладким атласным мускулам. У Грэхема дух захватило при мысли о том, что бы случилось, если бы конь упал головой вниз. Один случайный удар огромным барахтающимся копытом мог бы навеки затушить огонь, светившийся в этих полных жизни глазах, горевший в этой дивной белой женщине.

— Сядь к нему на шею! — крикнул Дик. — Схвати его за челку и пересядь на шею, он тогда найдет центр тяжести.

Она послушалась, впилась пальцами ног в ускользавшие мышцы жеребца и, опираясь на них, быстрым усилием подпрыгнула вперед и, ухватившись одной рукой за мокрую гриву, просунула другую между ушами коня и вцепилась

ему в челку. Тяжесть лошади перебросилась вперед, и она тут же вытянулась в естественную горизонтальную линию, а Паола легким движением соскользнула назад, на прежнее свое место. Все еще держась одной рукой за гриву, она помахала другой, улыбкой приветствуя Форреста. Грэхем заметил, что она успокоилась настолько, что обратила внимание и на него, на то, что рядом с Форрестом показалось новое лицо. В обороте ее головы, в движении поднятой вверх руки не было и тени хвастовства или сознания собственной красоты. От них веяло чистой радостью пережитого и бьющейся через край смелостью и предприимчивостью.

— Немного найдется женщин, способных на такую выходку, — заметил Дик совершенно спокойно, глядя, как Горный Дух уже без труда, сохраняя, наконец, обретенное горизонтальное положение, плыл к другому концу бассейна, а там медленно взбирался по неровному склону.

Горному Духу тотчас прикрепили недоуздок к мундштуку. Но Паола, все еще верхом, наклонилась вперед, выхватила у конюха уздечку, повернула Горного Духа к Форресту и приветствовала его.

— А теперь уезжайте-ка, — крикнула она. —

Здесь дамское общество, мужчинам быть не положено.

Дик рассмеялся, ответил на приветствие и, повернув лошадь, выбрался на дорогу тем же путем, через сиреневую изгородь.

— Да кто же это… кто это такая? — спросил Грэхем.

— Паола — моя жена, ребенок, не доросший до взрослой; она осталась ребенком; это очаровательнейшая и нежнейшая женщина и такая необыкновенно женственная.

— А знаете, у меня просто остановилось дыхание, — сказал Грэхем. — Часто у вас бывают такие чудеса?

— Такое именно представление я видел в первый раз, — ответил Форрест. — Тут все дело было в Горном Духе. Она, очевидно, вздумала пустить его прямо по гладкому спуску, это все равно, что прокатиться на санках с ледяной горы, только санки-то на четырех ногах да весом в две тысячи двести сорок фунтов.

— А ведь она рисковала как его шеей и ногами, так и своими, — заметил Грэхем.

— Что ж, его шея и ноги оценены в тридцать тысяч долларов, — улыбнулся Дик. — Столько предлагал мне один синдикат коннозаводчи-

ков. Ведь он взял все призы на скачках по всему побережью и за красоту, и за резвость. Что же касается Паолы, она способна хоть ежедневно перебивать и шеи и ноги на любую сумму, хоть до полного моего разорения, но с ней никогда никаких несчастий не бывает.

— А что, если бы он перевернулся?

— Да вот же, этого не случалось, — ответил Дик спокойно. — Уж это счастье Паолы. Ее убить не легко; знаете что, ведь я ее видел под огнем, и что бы вы думали: она потом искренне сожалела, что в нее не попала ни одна пуля. По нас палили четыре батареи, били шрапнелью, а нам пришлось ехать по открытой, ровной дороге и искать прикрытия за целую милю. Я укорял ее потом за то, что она не торопилась; она созналась, что я был прав. Мы женаты больше десяти лет, и, знаете, мне иной раз кажется, что по существу я ее совсем не знаю, да и никто ее не знает; она сама себя не знает. Это ощущение такое, точно смотришь на себя в зеркало и думаешь: да кто же это? Но у нас с Паолой один чудесный девиз: сколько бы ни стоило, было бы за что. А придется ли платить долларами, скотом или жизнью — это все равно. Так — по-нашему, и на это мы идем. И это — верное правило, ни разу еще мы не запла-

тили слишком дорого.

Глава X

За завтраком были только мужчины. Форрест пояснил, что дамы предпочли не выходить.

— Вы едва ли кого-то из них увидите раньше четырех часов — в четыре Эрнестина, одна из сестер Паолы, разобьет меня в пух и прах в теннис, по крайней мере, она мне этим пригрозила.

Грэхем просидел весь завтрак с мужчинами, принимал участие в общих разговорах о скотоводстве, узнал много нового и сам рассказал немало интересного, но все же не мог избавиться от преследовавшего его чудесного видения — изящной, словно выточенной, небольшой белой фигурки на темной громаде плывущего жеребца. После завтрака, во время осмотра премированных мериносов и беркширских поросят, это видение точно горело на его веках. Даже позднее, в четыре часа, играя в теннис с Эрнестиной, он не раз промахнулся, потому что вместо летящего мяча ему представлялась вдруг все та же картина: белая, как мрамор, женская фигура, прильнувшая к спине громадного жеребца.

Хотя Грэхем не был калифорнийцем, но калифорнийские обычаи знал хорошо, и поэтому

нисколько не удивился, увидев, что к обеду переоделись только дамы. Сам он предусмотрительно воздержался от перемены туалета, несмотря на то что хозяйство в Большом доме велось на такую широкую ногу.

Гости и девушки вышли в длинную столовую после первого звонка; тотчас же после второго появился Дик Форрест. Грэхем с нетерпением ожидал появления хозяйки, образ которой с утра преследовал его. Он был вполне готов и к разочарованию. Ему приходилось видеть немало атлетов, терявших всю обаятельность в салонах, и он вполне допускал, что чудесное создание в белом шелковом купальном костюме много потеряет в европейской одежде.

Но когда она вошла, он вздрогнул: на секунду она остановилась в дверях, резко выделяясь на фоне царившего за ней полумрака, озаренная спереди мягким светом. Грэхем невольно раскрыл рот при взгляде на эту красоту, потрясенный новым обликом женщины, казавшейся ему утром такой маленькой, такой миниатюрной. Теперь перед ним стоял отнюдь не шаловливый подросток, а великосветская дама с величавой осанкой, свойственной в известных случаях только маленьким женщинам. В действительности она не

только казалась, но и была выше ростом, чем он думал, и в вечернем туалете фигура ее была не менее стройна, чем в купальном костюме. Он сразу охватил взглядом ее золотисто-каштановые волосы, собранные в высокую прическу, здоровую матовую белизну кожи, округлость шеи, чудесно посаженной на прекрасные плечи, и, наконец, платье, темно-синее, немного средневекового покроя с полусвободной, полуприлегающей талией, широкими рукавами и отделанное золотом и цветными камнями. Она улыбнулась гостям общей улыбкой; Грэхем тотчас же узнал эту улыбку и вспомнил, как она улыбнулась, сидя верхом на жеребце. Пока она подходила ближе, он не мог не заметить, с какой грацией она придерживала коленями тяжелый шелк своего платья. Он помнил эти округлые колени, отчаянно прижимавшиеся к выпуклым плечевым мускулам Горного Духа. Грэхем заметил, что она не носила корсета и не нуждалась в нем, и пока она подходила к столу, образ ее двоился в его глазах: он видел великосветскую даму, хозяйку Большого дома, а под синим платьем, расшитым золотым галуном, — чудесную статую наездницы, которую не могли стереть из его памяти никакие туалеты.

Но вот она подошла; вот она среди них; Грэхем,

представленный ей, на мгновение удержал ее руку; она приветствовала нового гостя в Большом доме певучим голосом, какого он и ждал. Из ее горла, из такой безупречной груди других звуков исходить не могло.

За столом, сидя наискось от нее, он не мог удержаться, чтобы украдкой не смотреть на нее. Он участвовал в общем непринужденном и подчас веселом разговоре, но взоры и мысли его были прикованы к хозяйке.

В такой разнородной компании ему еще никогда не приходилось обедать. Покупатель овец и корреспондент «Вестника скотоводов» все еще были здесь. Незадолго до обеда в трех автомобилях приехала компания из четырнадцати мужчин, женщин и молоденьких девушек, собиравшихся остаться до позднего вечера, чтобы возвращаться при луне. Всех имен Грэхем не запомнил, но понял, что они из небольшого города Уикенберга, лежащего в долине, милях в тридцати, что тут и мелкие банкиры, и богатые фермеры, и люди свободных профессий. Все много смеялись, так и сыпались шутки и анекдоты.

— Уж я сразу вижу, — заявил Грэхем Паоле, — если у вас тут все время такой караван-сарай, то мне нечего и стараться запоминать имена

и лица.

— Да, вы совершенно правы, — засмеялась она в ответ. — Но все это соседи. Они заезжают запросто. Вот эта миссис Уатсон, что сидит подле Дика, принадлежит к старинной местной аристократии. Дед ее Уикен перевалил сюда через Сьеррские горы в 1846 году, и город Уикенберг назван в его честь. А вот эта хорошенькая черноглазая девушка — ее дочь.

Но все время, пока Паола занимала его краткой характеристикой случайных гостей, Грэхем едва слышал все, что она ему говорила. Он был поглощен одним стремлением — проникнуть в самую душу своей собеседницы. Основная ее черта — непринужденность, решил он сначала, но через несколько минут передумал, его поразила ее жизнерадостность. Но и эти два вывода его не удовлетворили — и вдруг его осенило: гордость, вот в чем дело. Она чувствовалась во взгляде глаз, в постановке чудесной головки, в крутых завитках волос, в чутком трепете подвижных губ, в легком подъеме круглого подбородка, в маленьких сильных ручках с голубыми жилками под нежной кожей, в которых сразу узнавались руки пианистки, долгие часы проводящей за роялем. Да, гордость дышала в каждой мышце, в каждом

нерве, во всем ее существе — сознательная, почти мучительная гордость. Пусть она жизнерадостна и непосредственна, женщина-мальчик, школьница, готовая на всякую шалость. Но гордость в ней чувствовалась неусыпная, напряженная, глубокая. Из этой стихии она вышла. Истая женщина, откровенная, искренняя, прямая, гибкая, демократичная, все что угодно, но не игрушка. Во всех ее причудах чувствовалась сила, он сравнивал ее с тонкой проволокой, с тончайшей серебряной струной, с тонкой дорогой сталью, со слоновой костью, с отточенным перламутром.

— Ваша правда, Аарон, — услышал он голос Дика Форреста с другого конца стола. — Вот вам мнение, высказанное Филиппом Бруксом. Брукс говорит, что тот не постиг истинного величия, кто хоть отчасти не осознал, что его жизнь принадлежит его народу и что все, что Господь ему даровал, дано ему ради всего человеческого.

— Итак, в конце концов, вы верите в Бога, — с добродушной усмешкой откликнулся именуемый Аароном высокий стройный мужчина с продолговатым оливкового цвета лицом, блестящими черными глазами и очень черной длинной бородой.

— Да не знаю, право, — ответил Дик, — эти

слова я понимаю иносказательно; называйте это начало — нравственностью, добром, эволюцией.

— Чтобы быть великим, отнюдь не нужно правильно мыслить, — вмешался молчаливый ирландец с худым узким лицом, в потертой одежде. — Мало того, мы знаем очень много людей, абсолютно правильно осмысливших вселенную, но отнюдь не великих.

— Верно, Терренс, верно! — зааплодировал Дик.

— Весь вопрос в точном определении, — лениво вмешался третий гость, явно индус, крошивший хлеб изумительно изящными и тонкими пальцами. — Итак, что мы должны разуметь под словом «великий»?

— Не определяется ли оно одним понятием красоты? — тихо спросил юноша с трагическим лицом, нервный и робкий, с безобразно подстриженной прядью длинных волос.

Вдруг с места вскочила Эрнестина и, опираясь руками на стол, наклонилась вперед в позе собирающегося с силами оратора.

— Ну, начали, — закричала она, — начали? В сотый раз будут теперь перекраивать и перетасовывать весь мир. Теодор, — обратилась она к юному поэту, — вы уж не отставайте. Ваш ко-

нек ничуть не хуже прочих, может быть, вы их обгоните.

Наградой ей был громкий хохот, а поэт весь раскраснелся и, как улитка, ушел в свою раковину.

Эрнестина обрушилась на чернобородого.

— Очередь за вами, Аарон; он сегодня что-то не в духе. Вы уж начните. Вы сумеете. Ну, начинайте: «Как метко выразился Бергсон с исключительной тонкостью философской терминологии и обширнейшим умственным кругозором…»

Все общество снова покатилось со смеху, заглушив как заключение Эрнестины, так и шутливый ответ чернобородого.

— Нашим философам сегодня не удастся сразиться, — шепнула Паола Грэхему.

— Философам? — переспросил он. — Ведь они не приехали с той компанией из Уикенберга? Кто они и что они? Я ничего не понимаю.

— Они… — не сразу ответила Паола. — Они здесь живут и называют себя жителями джунглей, у них свой поселок в горах, милях в двух отсюда. Они там ничего не делают, только читают и ведут длинные беседы. Я пари готова держать, что вы у них найдете штук пятьдесят последних полученных Диком книг, еще не попавших в каталог. Доступ в нашу библиотеку им

открыт: их постоянно можно видеть входящими и выходящими оттуда, нагруженными книгами и последними журналами в любое время дня и ночи. Дик говорит, что благодаря им у него теперь самое полное и самое современное собрание книг по философии на всем Тихоокеанском побережье. Они как бы переваривают для него все эти вопросы; Дика это очень занимает; к тому же он на этом экономит время, ведь он страшно много работает.

— Значит, они живут на средства Дика? — спросил Грэхем, с наслаждением глядя прямо в голубые глаза, открыто устремленные на него. Он слушал ее ответ и любовался легким бронзовым оттенком, отливом ее длинных темных ресниц. Потом ему пришло в голову, что, может быть, это игра света, и он невольно перевел взгляд на брови, тоже темные и тонко очерченные, и убедился, что и в них играет тот же золотисто-бронзовый оттенок, только, пожалуй, еще ярче. И еще выше, в зачесанной вверх массе волос, оттенок этот был еще заметнее. Поразили и восхитили его и блеск ее зубов и глаз, и ослепительная улыбка, то и дело озарявшая ее и без того оживленное лицо. «Это не искусственная улыбка, — подумал он, — когда она улыбается, она улыбается вся,

великодушно, радостно, точно излучая из себя то, что составляет ее душу, что таится там, где-то, в этой чудесной головке».

— Да, — продолжала она, — им нечего заботиться о хлебе насущном. Дик ведь крайне щедр; может быть, он даже напрасно поощряет праздность подобных господ. Да вообще вы найдете у нас немало забавного, пока не привыкнете. Они наши, точно родовое достояние, понимаете? Они останутся с нами навсегда, пока не схоронят нас или мы их. Иногда случается, что один из них и сбежит куда-нибудь, но ненадолго. Знаете, они, как кошки. Дику тогда приходится потратить немало денег, чтобы разыскать его и дать ему возможность вернуться. Возьмите, например, Терренса, его зовут Терренс Мак-Фейн. Он анархист-эпикуреец, если вы только понимаете, что это значит. Он и мухи не убьет, у него есть кошка, — я же ему ее и подарила, — чистейшей персидской породы. Голубая, совсем голубая, — так он ищет на ней блох, но не убивает их, а собирает в скляночку, уносит в лес и там выпускает на волю. В лесу он гуляет без конца; люди часто надоедают ему, а природу он любит. И вот в прошлом году у него появилась мания: изучение генезиса и эволюции алфавита. Он от-

правился в Египет, разумеется, без всяких денег, единственно с целью докопаться до этого самого происхождения и извлечь из него простую формулу, которая объяснила бы и происхождение вселенной. Добрался до Денвера, странствуя как бродяга. Там он попался в каких-то уличных беспорядках; Дику пришлось пригласить адвокатов, платить штраф и вообще затратить массу труда, чтобы водворить его невредимым домой.

— Ну, а вон тот — бородатый?

— Аарон Хэнкок, — продолжала Паола, — он так же, как и Терренс, не желает работать. Аарон — южанин. Он утверждает, что в его семье, в его роду никто никогда не работал и что на свете всегда найдется достаточное количество дураков, которых от работы все равно не удержишь. Потому-то он и ходит с бородой. Он считает, что бриться — напрасный труд и, следовательно, безнравственно. Я отлично помню, как он предстал перед нами в Мельбурне, точно испеченный на солнце дикарь, прямо из австралийских дебрей. Он, видите ли, производил там какие-то самостоятельные исследования по антропологии или фольклору, что-то в этом роде. Дик знавал его раньше в Париже и сказал ему, что если судьба его когда-нибудь занесет на родину, в Америку,

то кров и пища ему обеспечены. Вот он и явился.

— А поэт? — спросил Грэхем, довольный тем, что она будет продолжать говорить и он сможет смотреть на игру ее улыбки.

— Ах, Тео? Теодор Мэлкен, мы его называем Лео. Он тоже не желает работать. Он из старинного калифорнийского рода; семья его страшно богата; но родственники от него отреклись; он же отрекся от них, когда ему было всего пятнадцать лет. Они говорят, что он сумасшедший, а он уверяет, что они действуют ему на нервы. Он, правда, пишет чудные стихи, когда захочет, но чаще всего он предпочитает мечтать и жить в лесу с Терренсом и Аароном. Терренс и Аарон выручили его или забрали насильно, уж не знаю; он в Сан-Франциско обучал еврейских эмигрантов. Здесь он два года, но все такой же тощий; Дик посылает им припасы без конца, но они предпочитают болтать, читать и мечтать, а стряпать не любят. Отъедаются они только изредка, когда нагрянут к нам, вот как сегодня.

— А индус, он кто такой?

— Ах, это — Дар-Хиал, он у них гостит. Это они все трое его пригласили, как сначала Аарон пригласил Терренса, а затем Аарон и Терренс пригласили Лео. Дик уверяет, что со временем

появятся еще трое мудрецов, и тогда у него в лесу соберутся все «семь мудрецов». Их поселок стоит в замечательном месте: живые ключи, лесная теснина среди гор, впрочем, я собиралась рассказать вам про Дар-Хиала. Он что-то вроде революционера… Где он только ни учился — и в наших университетах, и во Франции, и в Италии, и в Швейцарии; из Индии он бежал как политический эмигрант, теперь же носится с двумя идеями: с какой-то новой системой синтетической философии и с освобождением Индии от гнета британского владычества. Он за индивидуальный террор и за активное выступление масс. Взгляды свои он отстаивал в газете «Кадар» или «Бадар», но ее закрыли здесь, в Калифорнии. А его самого чуть не выслали. Потому-то он у нас, он себя всецело посвятил философии и пытается дать теоретическое обоснование своей системы. С Аароном он спорит нещадно, но, впрочем, только на философские темы. Теперь, кажется, я вам все объяснила, — закончила Паола со вздохом, тотчас же сглаженным прелестной улыбкой. — И еще, если вы короче сойдетесь с нашими мудрецами, имейте в виду — это особенно пригодится в холостой компании, — что индус никакого вина в рот не берет; Теодору Мэлкену ничего не стоит

напиться в поэтическом экстазе, а Аарон Хэнкок большой знаток в винах; что же до Терренса, то он в винах не разбирается, но если под стол свалятся девяносто девять человек из ста, он с не меньшим энтузиазмом продолжит излагать свое учение об эпикурейском анархизме.

За обедом Грэхем обратил внимание на то, что присяжные «мудрецы» называли хозяина Диком, а хозяйку не иначе как «миссис Форрест», хотя она их всех называла по именам. И это выходило без всякой натяжки, вполне естественно. Им всем мало что импонировало на белом свете, но в жене Дика Фрррреста они бессознательно и неизменно чувствовали строго выдержанную неприступность, и ее имя оставалось для них запретным. Ивэн Грэхем не замедлил убедиться по каким-то неуловимым признакам, что у жены его приятеля была своя особая манера держаться — сочетание самой непринужденной демократичности с прирожденной величественностью.

То же самое он наблюдал и после обеда в общей небольшой гостиной, куда все перешли, встав из-за стола. Она вела себя очень просто, но никто не позволял себе лишнего. Пока общество усаживалось, Паола мелькала повсюду, превосходя всех оживлением. То тут, то там, то в одном углу

комнаты, то в другом звонко разливался ее смех, такой чарующий для Грэхема. В этом смехе была такая певучесть, что его сразу можно было выделить, и Грэхем, прислушиваясь к нему, потерял нить аргументации молодого мистера Уомболда, доказывавшего, что Калифорния нуждается не в законе, запрещающем японскую эмиграцию, а, наоборот, — в ввозе не менее двухсот тысяч японцев на калифорнийские фермы и в отмене восьмичасового рабочего дня для сельскохозяйственных рабочих. Из разговора Грэхем понял, что мистер Уомболд был потомственным крупным землевладельцем, унаследовал от родителей прекрасное имение, расположенное недалеко от Уикенберга, и гордился тем, что, не уступая духу времени, продолжал жить на своей земле. Вокруг рояля толпились барышни, доносились отрывки модных песен. Терренс Мак-Фейн и Аарон Хэнкок горячо заспорили о музыке футуристов. Грэхем спасся от необходимости высказывать свои взгляды по японскому вопросу: к ним подошел Дар-Хиал, провозглашая, что «Азия для азиатов, а Калифорния — для калифорнийцев».

Вдруг Паола пробежала через всю комнату, подобрав юбку. За нею мчался Дик и успел схватить ее за руку в ту минуту, когда она, стараясь

скрыться за собеседниками Уомболда, выбегала с противоположной стороны.

— Вот злая женщина, — укорял ее Дик, якобы в порыве страшного гнева, и они тут же оба стали просить Дар-Хиала протанцевать.

И Дар-Хиал сдался, забыв об Азии и азиатах, и проплясал мрачную пародию на танго, именуя свое представление «пластическим апогеем современных танцев».

— А теперь, Багряное Облако, спой мистеру Грэхему свою песню о желудях, — приказала Паола Дику.

Форрест стоял с ней рядом, все еще удерживая ее рукой и предупреждая возможное наказание. Он мрачно отказался.

— Песню о желуде! — крикнула Эрнестина, сидевшая у рояля, и другие барышни подхватили просьбу.

— Ну, пожалуйста, Дик! — настаивала Паола. — Один только мистер Грэхем не слышал, как ты поешь.

Дик отрицательно покачал головой.

— Ну, тогда спой ему твою песню о золотой рыбке.

— Я ему спою про Горного Духа, — решительно возразил Дик, и глаза его загорелись своенравным

блеском. Он ударил ногами о пол, подпрыгнул, заржал, подражая Горному Духу, отряхнул воображаемую гриву и во весь голос:

— Слушайте! «Я — Эрос! Я попираю холмы!»

— Песню о желуде, — быстро и спокойно перебила его Паола, но в голосе ее послышалась сталь.

Дик послушно оборвал песню о Горном Духе, мотнув головой, как упрямый жеребец.

— У меня есть новая песня, — заявил он торжественно. — Это о нас с тобой, Паола. Я ее взял у нишинамов.

Дик отплясал шагов десять, не сгибая ног, по индийскому обычаю, ударил себя ладонями по икрам и начал новую песню, все еще удерживая жену рукой.

— «Я, я — Ай-Кут, первый среди нишинамов. Ай-Кут — это сокращенное имя Адама, отец мой и мать были солнцем и луной. А это — Йо-то-то-ви, моя жена, первая женщина среди нишинамов. Ее отец был кузнечик, а мать — кошка с хвостом колечком. После моих они были самыми лучшими родителями. Солнце очень мудрое, а луна очень старая. Но что хорошего можно сказать о кузнечике и кошке с хвостом колечком? Нишинамы всегда правы, праматерью всех женщин и

была, наверное, кошка, маленькая, ловкая и хитрая кошка с печальной мордочкой и полосатым хвостиком»…

Гимн о первом мужчине и о первой женщине был прерван возмущенными протестами женщин и аплодисментами мужчин.

— «Йо-то-то-ви — сокращенное Ева, — продолжал петь Дик, резким движением прижимая к себе Паолу, подражая варварской грубости. — Йо-то-то-ви не очень велика. Но не требуйте от нее многого; виноваты в этом кузнечик и кошка с хвостом колечком. Я — Ай-Кут — первый человек, не осуждайте меня за мой выбор. Я был первым мужчиной, а она — первой женщиной. Раз выбора нет, то и выбирать не приходится. Так было у Адама, и он выбрал Еву. Для меня существовала во всем мире одна только женщина Йо-то-то-ви, и поэтому я выбрал Йо-то-то-ви».

Ивэн Грэхем слушал; глаза его остановились на руке Дика, властно обнимавшей прекрасную маленькую хозяйку. Он почувствовал в сердце боль, а в голове мелькнула мысль, которую он тут же ее раздраженно отогнал: «Дику Форресту везет, чересчур везет».

— «Я — Ай-Кут, — продолжал петь Дик. — Эта женщина — моя роса, моя медовая роса. Я солгал.

Ее родители не были ни кузнечиком, ни кошкой. Мать ее была зарей на хребте Сьерры, а отец — летним восточным ветром с этих же гор. Они сговорились и из воздуха и земли выпили все сладостное, и в тумане, порожденном их любовью, листья чаппараса и мансаниты покрылись медовой росой. Йо-то-то-ви, Йо-то-то-ви, моя сладкая роса, слушайте меня! Я — Ай-Кут, Йо-то-то-ви — моя перепелка, моя лань, моя жена, пьяная нежным дождем и соками жирного чернозема. Ее родили молодые звезды и растил свет зари, когда солнце еще не взошло…». Если, — закончил Форрест, переходя снова на естественную интонацию, — если вы не считаете, что старый голубоглазый Соломон превзошел меня своей «Песнью Песней», то подпишитесь на издание моей.

Глава XI

Сначала только миссис Мэзон, одна из приезжих дам, попросила Паолу сыграть, но Терренс Мак-Фейн и Аарон Хэнкок тотчас же бросились разгонять веселую компанию у рояля и отправили покрасневшего Теодора Мэлкена умолять ее от имени всех.

— Я бы хотел, чтобы вы разбили все доводы этого варвара, вот почему и прошу вас сыграть «Размышления», — услышал Грэхем его слова.

— А затем, пожалуйста, «Девушку с льняными волосами», — в свою очередь попросил Хэнкок, осужденный собеседниками за варварство, — это докажет, что я прав. У этого дикого кельта своя болотная теория музыки, она, может быть, и была правильна, когда еще и пещерный человек не родился; он так безнадежно глуп, что считает себя чрезвычайно сверхсовременным знатоком искусства.

— Ах, Дебюсси! — засмеялась Паола. — Вы все еще не сложили копья, ну, хорошо, я и к нему подойду, но не знаю, с чего начать.

Дар-Хиал вместе с остальными тремя мудрецами усадили Паолу за громадный концертный

рояль, Грэхем решил, что он не слишком велик для этого помещения. Но как только она села, все трое мудрецов тихонько разбрелись по своим, очевидно, излюбленным местам. Молодой поэт растянулся во весь рост на огромной пушистой медвежьей шкуре и запустил руки в волосы. Терренс и Аарон удобно расположились на подушках широкого дивана под окном, не слишком далеко друг от друга, чтобы иметь возможность тут же и поспорить, подтверждая свое понимание игры Паолы. Барышни расселись по диванам и большим креслам и даже устроились на ручках кресел.

Ивэн Грэхем сделал шаг вперед, надеясь, что сможет поворачивать для Паолы ноты, но вовремя заметил, что Дар-Хиал опередил его, и остался на месте, спокойно, с любопытством наблюдая за всем. Концертный рояль стоял на небольшом возвышении для резонанса под низким сводом, в дальнем конце зала. Шутки и смех прекратились. «По-видимому, — подумал Грэхем, — маленькую хозяйку считают талантливой пианисткой», и он почти злорадствовал, готовый к разочарованию.

Эрнестина, сидевшая неподалеку от него, сказала вполголоса:

— За что ни примется, все у нее спорится. А

ведь работает она очень немного. Она училась у Лешетицкого и Терезы Карреньо, это их школа, а играет она совсем не по-женски, послушайте!

Грэхем отлично понимал, что нечего особенно ждать от самоуверенных ручек, забегавших по клавишам в быстрых пассажах и тихих аккордах, пока она сидела, задумавшись, что бы сыграть, — такое введение он слышал нередко и раньше на концертах технически грамотных, но не слишком музыкальных пианистов. Он сам не знал, что ожидал услышать, но, во всяком случае, совершенно не был готов к прелюдии Рахманинова, предназначенной, по его мнению, для мужского исполнения; в женском ему она никогда не нравилась.

С первых двух тактов Паола властно, по-мужски, обеими руками завладела клавиатурой, точно приподнимала ее. А затем, опять-таки чисто по-мужски, она непосредственно погрузилась, или сразу перешла — этого он определить не мог, в бесподобную нежность и чистоту andante. Так она продолжала играть со спокойствием и силой, которых никак нельзя было ожидать от этой маленькой женщины, почти ребенка, и он залюбовался ею из-под полуопущенных век, глядя на нее и на черный громадный рояль, которым

она владела, как владела и собой, и замыслом композитора. Удар у нее был твердый, властный — и прелюдия замирала в конечных аккордах, унося в воздух мощные звуки.

Пока Аарон и Терренс на своем подоконнике продолжали бесконечный спор, а Дар-Хиал, по просьбе Паолы, отыскивал для нее другие ноты, она мельком взглянула на Дика, и он понемногу стал гасить электричество — и Паола осталась будто одна среди мягкого света, в котором ярче проявлялась игра матово-золотистого отлива ее платья и волос. Грэхем видел, как высокая комната как бы становится еще выше от набегавших теней. Она была длиной в восемьдесят футов и поднималась на два с половиной этажа: от пола до положенного на балках потолка ее окаймляла галерея, с перил которой свисали шкуры диких зверей, домотканые одеяла из Окасаки и Эквадора и выкрашенные растительными красками кошмы с тихоокеанских островов. Грэхем вспомнил, что это помещение устроено по образцу праздничного зала средневековых замков, и он невольно пожалел, что недостает длинного стола с оловянной посудой и огромных псов, грызущихся под столом из-за брошенных им костей.

Позднее, когда Паола закончила играть Дебюс-

си, подбросив Аарону и Терренсу новый материал для споров, Грэхем завел с ней оживленный разговор о музыке. Он понял, как глубоко она разбиралась в философии музыки, и незаметно для себя стал излагать ей и свою любимую теорию.

— Итак, — закончил он, — главному психологическому фактору музыки потребовалось три тысячи лет, чтобы запечатлеться в умах западных рас. Дебюсси подходит ближе к ясности и чистоте созерцания, скажем, эпохи Пифагора, чем любые из его предшественников.

Паола перебила его, поманив к себе Терренса и Аарона с их поля сражения на подоконнике.

— Ну, и что же? — спрашивал Терренс, подходя к ней вместе со своим приятелем. — Я вам скажу, Аарон, что вы не извлечете из Бергсона ни одного слова о музыке более понятного, чем все, что он сказал в своей «Философии смеха», а ведь и она отнюдь не понятна.

— Послушайте! — воскликнула Паола с заискрившимися глазами. — У нас здесь новый пророк: мистер Грэхем. Он вполне достоин вас; он согласен с тем, что музыка — лучшее убежище от крови и железа. Он утверждает, что и слабые души, и чувствительные, и высокие души одинаково бегут от грязи и серости к утешительным

видениям высшего мира ритма и музыкального темпа.

— Атавизм! — буркнул Аарон Хэнкок. — Пещерные люди, обезьяны, болотные предки Терренса тоже занимались этим.

— Но послушайте, — настаивала Паола, — тут важны его заключения, методы и ход мыслей, а в этом, Аарон, он с вами по существу согласен. Он ссылался на Патера, утверждавшего, что всякое искусство стремится реализовать себя в музыке.

— Это все доисторический период и химия микроорганизмов, — вмешался Аарон. — Реакция клеточных элементов на фантастическую длину волн солнечных лучей лежит в основе всех народных песен и танцев. Тут Терренс и завершает свой круг, и все его теории теряют смысл. Вы теперь меня послушайте, что я докажу.

— Но подождите, — взмолилась Паола, — мистер Грэхем уверяет, что английское пуританство остановило развитие музыки, то есть настоящей музыки, на целые века.

— Это правда, — сказал Терренс.

— И что Англии пришлось пробивать себе дорогу к чувственному наслаждению музыкой через Мильтона и Шелли.

— Он был метафизиком, — вставил Аарон.

— Метафизик-лирик, — немедленно определил Терренс. — Это уж вы должны признать, Аарон.

— А Суинберн? — спросил Аарон, по-видимому, возвращаясь к прежним спорам.

— Он уверяет, что Оффенбах был предшественником Артура Сюлливэна, — задорно воскликнула Паола. — А Обер якобы был предшественником Оффенбаха; что же касается Вагнера, так вы его спросите, нет, вы спросите его…

Сама она ускользнула, предоставив Грэхема его судьбе. А он следил за ней, заглядываясь на силу и легкость, с которою она коленями приподымала тяжелые складки платья, направляясь к миссис Мэзон в другой конец зала, чтобы организовать партию в бридж. Он едва различал, что говорит Терренс:

— Все согласны с тем, что у греков музыка была главной вдохновительницей, основой всех других искусств…

Немного погодя, когда оба мудреца совершенно забылись в жарком споре о том, чьи произведения глубже, Берлиоза или Бетховена, Грэхем сбежал. У него, конечно, была одна цель: он хотел снова быть рядом с хозяйкой, но она уже сидела с девушками в широком глубоком кресле и о чем-то шепталась и весело болтала с ними. Боль-

шая часть общества занялась бриджем; Грэхем подошел к компании, где собрались Дик Форрест, Умболд, Дар-Хиал и корреспондент «Вестника скотоводов».

— Мне очень жаль, что вы не можете поехать со мной, — говорил Дик корреспонденту. — Это задержало бы вас всего на день; завтра я бы вас и повез.

— И мне жаль, — ответил тот. — Но я должен успеть в Санта-Роса. Бербанк обещал мне целое утро, а вы знаете, что это значит. Вместе с тем я же отлично понимаю, что «Вестнику» очень бы хотелось получить отчет и об этом вашем опыте. Не могли бы вы объяснить нам, в чем дело, как можно короче? Вот и мистер Грэхем. Наверное, и ему было бы интересно.

— Что, еще новые водопроводы? — спросил Грэхем.

— Нет, пустейшая затея! Он желает превратить самых бедных фермеров в безупречных хозяев, — ответил мистер Умболд. — А я утверждаю, что всякий, у кого в наше время нет своей земли, доказывает этим, что он плохой фермер.

— Наоборот, — заговорил Дар-Хиал, взмахнув своими тонкими азиатскими пальцами и как бы закрепляя ими свою мысль. — Совсем не так.

Теперь времена совершенно другие: ни трудоспособность, ни разумность не гарантируют обладание капиталом. Попытка Дика великолепная, героическая, и она будет иметь успех.

— Так в чем же дело, Дик? — настаивая Грэхем. — Расскажите.

— Да ничего особенного, так просто, попытка, — ответил небрежно Форрест, — едва ли из нее что-либо выйдет, хотя я-то, конечно, надеюсь.

— Попытка! — вмешался Умболд. — Пять тысяч акров отборной земли! В долине! Он набирает всяких неудачников на жалованье, да еще на готовые хлеба.

— Хлеба только те, что вырастут на самой земле, — поправил Дик, — уж, видно, придется вам вкратце все пояснить. Я отмерил пять тысяч акров между усадьбой и долиной реки Сакраменто…

— Вы только подумайте, сколько там было люцерны и как она вам нужна, — опять прервал Умболд.

— Мои землечерпательные машины осушили вдвое больше болот в прошлом году, — возразил Дик. — Дело в том, что, по-моему, весь мир и, в частности, весь наш западный край должны рано или поздно перейти на интенсивное хозяйство,

и я хочу внести свою долю в это дело. Я разделил эти пять тысяч акров на двадцать участков. По-моему, каждый из них может свободно не только прокормить одно семейство, но и приносить, по крайней мере, шесть процентов дохода.

— Это значит, — рассчитывал корреспондент, — что когда все участки будут розданы, то надел получат двести пятьдесят семей, то есть, считая по пять душ человек на семью, тысяча двести пятьдесят человек.

— Немного меньше, — поправил Дик, — участки уже теперь заняты все, а у нас всего тысяча сто с небольшим. Но надежды на будущее большие, — он улыбнулся. — Еще несколько хороших годков, и мы получим в среднем по шесть человек на семью.

— У нас? Кто это «мы»? — спросил Грэхем.

— У меня есть комитет из хозяев-экспертов: это все мои служащие, за исключением профессора Либа, которого мне на время уступило федеративное правительство. Дело в том, что им придется волей-неволей вести хозяйство на свою личную ответственность, но с помощью научных методов, рекомендованных нашими инструкциями. Почва там совершенно одинакова; каждое хозяйство, точно горошина в своем стручке, среди всех

других ферм. Результаты работы каждого в свое время должны сказаться. Конечно, возможны и неудачи из-за лени или тупости. Средний урожай остальных двухсот пятидесяти ферм это покажет. И с такими неудачниками не станут мириться. Им придется уйти — средние показатели соседей послужат доказательством. Это справедливые условия, ведь никто ничем не рискует. Каждый фермер может рассчитывать на свои поля, на то, что они прокормят его с семьей, и, кроме того, он получит жалованье тысячу долларов в год, то есть может быть уверен в сотне долларов в месяц, независимо от урожая и от своих способностей. Но наиболее толковые и трудолюбивые фермеры будут, конечно, обгонять лентяев. Вот и все. Это будет замечательная показательная школа интенсивного сельского хозяйства. К тому же у них будет гарантия не только в виде определенного жалованья. После уплаты жалованья я лично должен выручить шесть процентов. Если же земля даст больше, то остальные проценты пойдут фермерам.

— Отсюда следует, что всякий сколько-нибудь предприимчивый фермер будет работать дни и ночи, чтобы увеличить прибыль, это я понимаю, — заметил корреспондент «Вестника». — Да

что уж там, ведь и сто долларов не каждый день попадаются. В Соединенных Штатах средний фермер не зарабатывает и пятидесяти даже на собственной земле, особенно если вычесть жалованье рабочим и свой личный труд. Разумеется, толковые люди пойдут на все, чтобы удержаться на таком месте, они уж будут следить, чтобы все члены их семьи достойно потрудились.

— Имеется возражение, — заявил присоединившийся к говорившим Терренс Мак-Фейн, — вечно слышишь одно и то же: работа. Эта мысль о вечной работе прямо отвратительна. Вот живет на каждом таком участке человек и от восхода до заката надрывается в поте лица, к чему? Ради куска мяса и куска хлеба, да, пожалуй, еще ради ветчины к хлебу. Где же цель жизни? Разве хлеб и варенье — это и есть цель, смысл жизни, наша задача? Ведь человек умрет, как умирает рабочая лошадь, после целой жизни тяжелого труда — к чему это все было? Хлеб, и мясо, и варенье, вот и все; сытое брюхо да домик, где бы укрыться от холода? А потом тело сгниет в темной затхлой могиле.

— Но, Терренс, ведь и вы умрете? — ответил Дик Форрест.

— Да, но после часов, проведенных со звездами,

с цветами, под гущей деревьев, под шорох трав. С книгами, философами, их мыслями! Упоенный красотой, музыкой, всем, что дает искусство. Что же, и я истлею во мраке, но все же со мной останется то, чем я жил, все, что я взял от жизни. Это не то, что ваши двуногие волы на отмеренных им двадцатиакровых участках! С утра до ночи трудиться, потеть с мясом и хлебом в желудке, с прочными крышами над головой и с целым рассадником младенцев, которые и после них будут жить все той же трудовой скотской жизнью, наполнять себе брюхо тем же мясом и хлебом, гнуть спины в тех же мокрых от пота рубашках и так же исчезнут во мраке, получив от жизни только мясо и хлеб да, пожалуй, вино да варенье.

— Но должен же кто-нибудь работать, чтобы дать вам возможность бездельничать! — с негодованием возмутился мистер Умболд.

— Вы правы, как это ни печально, — угрюмо согласился Терренс, но лицо его тотчас же просияло. — Но я благодарю Бога за все это, за четвероногих и двуногих, за рабочую скотинку, что пашет, и за ту, что в рудниках добывает уголь и золото, за всех глупых работяг, благодаря которым у меня гладкие руки; за то, что они облекают властью таких чудесных парней, как наш Дик,

который вот улыбается мне и делится со мной своим добром, покупает мне новейшие книги, сажает меня к себе за стол, обслуживаемый все той же двуногой рабочей скотинкой, к камину, выложенному теми же работягами, дает мне кров, постель в джунглях под мандроновыми деревьями, где труд никогда не посмеет разевать свою безобразную пасть.

В эту ночь Грэхем долго не мог уснуть. Он был непривычно взволнован и Большим домом и маленькой хозяйкой. Он присел на кровать, полуодетый, куря трубку, и неотступно видел ее такой, какой она ему являлась наяву в течение истекших двенадцати часов, — во всех ее нарядах и во всех настроениях. То она рассуждала о музыке, восхищая его своим вкусом; то вовлекала философов в спор, а сама от них ускользнула, чтобы засадить гостей за бридж; то забралась в большое кресло, где казалась такой же молоденькой, как и окружающие ее девушки; он вспоминал, как стальным звуком голоса она сдержала шумливость мужа, угрожавшего спеть песню Горного Духа, как бесстрашно управляла в бассейне тонущим жеребцом и как всего несколько часов спустя она плавно вышла навстречу гостям, такая особенная, ни на кого не похожая.

Весь Большой дом, с его чудесами и своеобразием, неразрывно связанный с образом Паолы Форрест, заполнял его воображение. Снова и снова видел он перед собой тонкие жестикулирующие руки Дар-Хиала, черные баки Аарона Хэнкока, провозглашающего догматы учения Бергсона; потертые рукава куртки Терренса МакФейна, обращающего к Богу благодарственную молитву за двуногую скотинку, дающую ему возможность кормиться за столом у Дика Форреста и жить у него же в роще под сенью мандроновых деревьев.

Грэхем выбил из трубки золу, еще раз окинул взглядом незнакомую комнату, обставленную по всем требованиям современного комфорта, повернул выключатель и растянулся между прохладными простынями. Но сон не приходил. Снова он слышал смех Паолы Форрест. Снова и снова вспоминал серебристые и стальные оттенки в ее голосе, снова, в темноте, он видел гибкость ее коленок, приподнимающих платье. Яркость мелькающих видений почти тяготила его; он чувствовал, что не в силах от них избавиться. Они возвращались и въедались в мозг; перед ним проходили картины, полные света и красок, и хотя он знал, что их порождает лишь его вообра-

жение, они не теряли реальности.

Когда Грэхем, наконец, уснул, у него все еще оставалось подсознательное восхищение таинственным процессом эволюции, из простейшей клетки создавшей это прекраснейшее сочетание материи и духа, которое называют женщиной.

Глава XII

На следующее утро Грэхем познакомился с порядками Большого дома поближе. Впрочем, О-Дай уже накануне посвятил его во многое и сам, кстати, узнал, что гость предпочитает в постели пить только чашку кофе, а завтракать за общим столом. О-Дай также предупредил Грэхема, что в столовой завтракают от семи до девяти часов, кому как удобно; О-Дай объяснил также, что если понадобится автомобиль, экипаж или лошадь или он захочет выкупаться, ему следует только об этом сказать.

Войдя в столовую в половине восьмого, Грэхем успел проститься с корреспондентом и вчерашним клиентом, спешившими сесть в автомобиль, чтобы уехать в Эльдорадо к утреннему поезду на Сан-Франциско. Он сел за стол один, и слуга-китаец с изысканной вежливостью предложил заказать, что ему будет угодно — мяса, каши или фруктов. Грэхем попросил яиц всмятку и копченой грудинки. Сейчас же затем вошел, как будто случайно, Берт Уэйнрайт. Его напускная небрежность объяснилась очень быстро: не прошло и пяти минут, как появилась Эрнестина в

утреннем чепце и очаровательном халатике и крайне удивилась, застав столько народу в эту раннюю пору.

Немного погодя, когда они все трое уже поднимались из-за стола, вошли Льют и Рита. Грэхем с Бертом перешли в бильярдную, и за игрой Берт сообщил, что Дик Форрест к завтраку никогда не выходит, работает в постели с самого раннего утра, пьет кофе в шесть и только в очень редких случаях появляется среди гостей раньше, чем ко второму завтраку, в половине первого. Что же касается Паолы Форрест, то Берт рассказал, что она плохо спит, поздно встает, живет в просторном флигеле, выходящем на особый дворик, который он и видел только раз; она очень редко выходит раньше половины первого, а то и позже, и дверь ее комнаты открывается без наружной ручки.

— Хотя она и здоровая и сильная и все такое, — пояснял он дальше, — но у нее врожденная бессонница. Со сном у нее всегда были проблемы, даже в детстве. Но ей это как-то не вредит. Сила воли у нее удивительная, и она владеет собой. Нервы у нее вечно очень напряжены, но, вместо того чтобы метаться и волноваться, когда ей не спится, она просто приказывает себе лежать совершенно спокойно, давая телу полный отдых.

Такие ночи она называет «белыми». Иной раз она засыпает на заре, а то в девять или десять утра. Тогда она спит позднее, а выходит лишь к обеду, совершенно свежая и веселая.

— Видно, это действительно у нее врожденное, — заметил Грэхем.

Берт утвердительно кивнул.

— Девятистам девяносто девяти женщинам из тысячи из такого положения не выкрутиться бы, а ей хоть бы что. Не выспится в свое время, поспит в другое — и наверстает.

Берт Уэйнрайт много еще чего рассказал о хозяйке. И Грэхему нетрудно было догадаться, что, несмотря на давнишнее знакомство, молодой человек благоговеет перед ней.

— Я еще не видел никого, кого бы она себе не подчинила, — сознался он. — Мужчина ли, женщина ли, слуга, возраст, пол, общественное положение — все это не имеет значения, если она посмотрит и заговорит как-то так свысока. Как она этого достигает, не знаю! Глаза ее загорятся каким-то особым светом или губы сложатся в какую-то особую складку, уж не знаю, но так или иначе, только ее слушаются, это несомненно.

— Да, в ней это есть, — согласился Грэхем.

— Вот именно, — обрадовался Берт. — Какая-то

ее особенность. Меня прямо в дрожь бросает, а почему — не знаю. Может быть, ей так легко проявлять свою волю потому, что она научилась самообладанию бессонными ночами; привыкла не жаловаться и не раскисать. Весьма возможно, что она и прошлую ночь глаз не сомкнула от возбуждения — сколько народу перебывало, да и это купание с Горным Духом; но, заметьте, все то, из-за чего большинство женщин ни за что бы не заснули — опасность, волнение и т. д., ее нисколько не волнует; я знаю от Дика. Он говорит, что она способна спать, как убитая, во время бомбардировки или когда пароход, на котором она находится, сел на мель. Одно слово: она просто чудо. Вы поиграйте с нею на бильярде по-английски.

Позднее, когда Грэхем вместе с Бертом прошел к барышням в комнату, где они обычно проводили утро, он, несмотря на веселые песни, танцы и болтовню, ни на минуту не переставал ощущать какую-то пустоту, тоскливое одиночество, желание увидеть хозяйку, желание, чтобы она вошла к ним в каком-нибудь совершенно новом и неожиданном облике.

Еще позднее, верхом на Альтадене, сопровождаемый Бертом на кровной кобыле Молли, Грэхем

в течение двух часов осматривал образцовое молочное хозяйство и едва успел вернуться вовремя, так как договорился сыграть с Эрнестиной партию в теннис.

Ко второму завтраку он шел с нетерпением, которое, конечно, объяснялось не только тем, что он проголодался; как только он убедился, что хозяйка не выйдет, он почувствовал сильное разочарование.

— Наверное, «белая» ночь, — пояснил Дик гостю и прибавил некоторые подробности по поводу того, что Грэхем уже знал от Берта: о ее врожденной бессоннице. — Верите, мы уже были женаты несколько лет, прежде чем я увидел ее спящей. Конечно, я знал, что и она спит, как все, но сам я никогда ее спящей не видел. Мне пришлось видеть, как она трое суток не смыкала глаз и все же была такая же бодрая и приветливая, как всегда, пока, наконец, не заснула от изнеможения. Это было, когда наша яхта села на мель у Каролинских островов и нас снимало все население. Дело было не в опасности — опасность нам не угрожала, — но стоял постоянный шум, царило возбуждение. Спать было некогда, все окружающее слишком впечатляло, и она переживала все это очень активно. Когда же все кончилось,

тут-то я и увидел ее спящей, первый раз в жизни.

Утром приехал новый гость, некто Доналд Уэйр, с которым Грэхем встретился за завтраком. Со всеми остальными он, по-видимому, был хорошо знаком и в Большом доме бывал, вероятно, часто. Из разговоров Грэхем понял, что он скрипач, несмотря на свою молодость, хорошо известный по всему Тихоокеанскому побережью.

— Он влюблен в Паолу, — сообщила Эрнестина Грэхему, выходя с ним из столовой. Тот только поднял брови.

— Но ей это безразлично, — засмеялась Эрнестина. — Это случается с каждым, кто сюда попадает. Она уж привыкла. У нее премилая манера не обращать внимания на все эти страсти; она весело проводит время, находит удовольствие в обществе своих поклонников и впитывает в себя все, что в них есть лучшего. А Дика это забавляет. Вы не пробудете здесь и недели, как и с вами произойдет то же. А если нет, мы будем сильно удивлены; да к тому же, чего доброго, вы и Дика обидите. Он считает, что это неизбежно. А если влюбленный муж, который гордится своей женой, привык к такому положению, то согласитесь, что его должно глубоко оскорбить, если ее не оценят по достоинству.

— Ну, уж если так полагается, то, видно, придется и мне влюбиться, — комически вздохнул Грэхем. — Не люблю я делать то, что делают все, но раз у вас такой обычай, что ж — надо покориться! Хотя нелегко это, когда меня окружает столько милых девушек.

Продолговатые серые глаза Грэхема засветились при этих словах таким юмором, что Эрнестина невольно на них загляделась, но вдруг спохватилась, сконфузилась и опустила голову, сильно покраснев.

— Вы помните маленького Лео, юного поэта, — затараторила она, с явным усилием поборов свое замешательство. — Он тоже без ума от Паолы; я сама слышала, как Аарон Хэнкок подтрунивал над ним из-за какого-то цикла сонетов, и нетрудно догадаться, откуда взялось вдохновение. А Терренс, знаете, ирландец, он тоже влюблен, только в меру. Одним словом, все решительно. Но разве можно их за это винить?

— Да, конечно, она этого стоит, — пробормотал рассеянно Грэхем. Он ощущал смутную досаду на то, что этот безалаберный эпикуреец-анархист, этот ирландец, помешанный на происхождении алфавита и гордящийся своим положением праздношатающегося нахлебника,

смеют быть хотя бы и втихомолку влюбленными в маленькую хозяйку. — Разумеется, она достойна всеобщего поклонения, — продолжал он, уже более спокойно, — насколько я ее разглядел, я согласен, что она существо исключительное и в высшей степени обаятельное.

— Она моя сводная сестра, — сообщила Эрнестина, — хотя никто бы не сказал, что в нас есть капля общей крови. Она не похожа ни на одну из нас. Она не похожа ни на кого из Дестенов, даже ни на одну из наших подруг; а ведь по возрасту она нам, собственно, и не подруга, ведь, знаете, ей тридцать восемь лет.

— Кисанька, кисанька, — прошептал Грэхем.

Хорошенькая блондинка взглянула на него с полным недоумением, по-видимому, совершенно озадаченная таким неуместным тоном.

— Нехорошо, котенок, коготки выпускать, — шутливо укорил он ее в ответ на ее вопрошающий взгляд.

— Ах, вот что! — воскликнула она. — Вы думаете, что я из зависти? Да ничего подобного! У нас здесь все запросто, всем известно, сколько Паоле лет, и сама она этого не скрывает. А мне восемнадцать — вот вам. А теперь, в наказание за ваши низкие подозрения, признайтесь: вам сколько?

— Столько же, сколько и Дику, — с готовностью ответил он.

— Значит, сорок, — рассмеялась она торжествующе. — А купаться не пойдете? Вода будет страшно холодная.

Грэхем отрицательно покачал головой.

— Я поеду верхом с Диком.

Как и полагается в восемнадцать лет, она не смогла скрыть своего разочарования, и лицо ее потемнело.

— Ну уж, — негодовала она, — опять эти вечные зеленые удобрения или земляные работы, или бесконечные фокусы с орошением.

— Но он как будто говорил, что мы пойдем купаться в пять часов.

Она мгновенно просияла.

— В таком случае мы встретимся у бассейна, вероятно, в той компании. Паола также собиралась купаться в пять.

Они разошлись под сводом длинной галереи, а оттуда он пошел к себе в башню переодеться; вдруг она его окликнула:

— Мистер Грэхем!

Он послушно обернулся.

— В сущности, вы нисколько не обязаны влюбляться в Паолу; это я только так сказала.

— Хорошо, я буду очень остерегаться, — обещал он торжественно, хотя глаза его заискрились предательским смехом.

И все же, оставшись один у себя в комнате, он не мог не сознаться себе, что обаяние Паолы Форрест уже незаметно коснулось его нежными щупальцами и он весь точно обвит ими. Он не скрывал от себя, что охотнее поехал бы кататься верхом с ней, нежели со своим старым приятелем Диком.

Выйдя из дома и направляясь к длинной коновязи под старыми дубами, он жадным взглядом искал хозяйку. Но здесь был только Дик, а при нем конюх; в тени било копытами несколько оседланных лошадей, и он не сразу потерял надежду. Но они уехали одни. Дик указал ему на лошадь Паолы, резвого гнедого кровного жеребца, оседланного по-австралийски со стальными стременами, двойным поводом и с одним несложным мундштуком.

— Я ее планов на сегодня не знаю, — сказал он, — она еще не появлялась, но, во всяком случае, купаться она будет. Там мы с ней и встретимся.

Хотя поездка доставила Грэхему большое удовольствие, но на часы он смотрел часто, чтобы убедиться, далеко ли до пяти. Овцам настало

время ягниться, и Грэхем с Диком проезжали одно огороженное для овец поле за другим, часто соскакивая с лошади, чтобы поставить на ноги чудесных, совершенно шарообразных мериносовых овец, породы шропширов или рамбулье, являвших собою классический образец произвольного подбора их человеком: упав на спину, они сами не умели стать на ноги и беспомощно дрыгали всеми четырьмя ногами.

— Я действительно много поработал над созданием американских мериносов, — говорил Дик. — Пришлось развивать им ноги, сильную спину, гибкие ребра и общую жизнеспособность. В старые времена этим породам силы не хватало, слишком нежны были.

— У вас серьезнейшее дело, — произнес Грэхем. — Подумать только, ведь вы отправляете баранов в Айдахо! Уже это одно говорит за себя.

Глаза Дика Форреста засверкали.

— Айдахо что! Как это ни невероятно, заранее прошу простить за хвастовство, крупные стада в Мичигане и Огайо ведут свою родословную от моих породистых баранов рамбулье. Возьмите Австралию. Двенадцать лет тому назад я продал трех баранов по триста долларов за каждого случайному посреднику. Он их взял с собой,

показал там кому следует и продал по три тысячи за каждого, а мне заказал их столько, что они заняли целый корабль. Для Австралии моя жизнь прошла не даром. Говорят, что люцерна, артезианские колодцы, пароходы, снабженные холодильниками, и бараны Форреста утроили производство шерсти и потребление баранины.

На обратном пути они случайно встретили Менденхолла, заведующего коневодством, и он уговорил их съездить осмотреть партию шаирских однолеток, которых на следующее утро предстояло отправить на горные пастбища Мирамарских холмов. Они свернули и выехали на обширное пастбище, пересекаемое лесистыми оврагами и дубами. Лошадей было около двухсот: крупные, крепкие, мохнатые, они начали линять.

— Мы не даем им наедаться сверх меры, — пояснил Дик Форрест, — но мистер Менденхолл следит за тем, чтобы у них всегда был обильный корм. Там, в горах, они будут получать не только траву, но и зерно; для этого они каждый вечер сами возвращаются в специально построенные для них конюшни, что позволяет вести их учет без малейшего усилия. Вот уже пять лет, как я вывожу только в штат Орегон по пятьдесят два

годовалых жеребца. Они все стандартны, и покупатель заранее знает, что получит, покупая не глядя.

— Вы, верно, их очень строго отбираете? — спросил Грэхем.

— Да, все ломовые лошади на улицах Сан-Франциско — моего завода.

— И на улицах Денвера тоже, — дополнил мистер Менденхолл, — и Лос-Анджелеса, а два года тому назад, когда был падеж лошадей, мы отправили двадцать вагонов четырехлетних меринов, в среднем по тысяче семьсот весу. Самые легкие из них весили тысячу шестьсот, но были и по тысяче девятьсот. Да, только вспомнить — были тогда цены за лошадей — прямо рай.

Менденхолл отправился дальше, а к Форресту тут же подъехал верхом на изящной тонконогой кобылке незнакомый человек, представленный Грэхему как мистер Хеннесси, ветеринар.

— Мне сказали, что миссис Форрест осматривает жеребят, — пояснил он, — и я хотел показать ей Лань. Она, наверно, захочет ездить на ней через несколько дней. А какую лошадь она велела подать сегодня?

— Франта, — ответил Дик, явно предвидя неодобрение, с которым Хеннесси при этом име-

ни покачал головой.

— Никогда я не примирюсь с тем, чтобы женщина ездила на жеребцах, — проворчал ветеринар. — А Франт опасен. Хотя его за рекорд нельзя не уважать, все же, следует признать, он злой, хитрый и подлый. Миссис Форрест следовало бы на нем ездить, не иначе как надев на него намордник. Впрочем, он любит и брыкаться, а к копытам подушек не привяжешь.

— Это так, — согласился Дик, — но вы бы посмотрели, какой у нее мундштук, и она им не шутит.

— Как бы Франт в один прекрасный день не сбросил ее, — проворчал в ответ ветеринар. — Как-никак, я бы вздохнул спокойнее, если бы она привязалась к Лани. Вот это дамская лошадь! Огонь, но коварства ни капли; просто прелесть что за лошадка, и шаловлива, но это не беда, остепенится; хотя, конечно, и с ней всегда надо держать ухо востро — это не манежная кляча.

— Поедем посмотрим, — предложил Дик. — Задаст ей Франт работу, если она надумала посетить жеребят верхом. Это сфера ее деятельности, — обернулся он к Грэхему. — Все выездные лошади и рабочие также ее, она добивается замечательных результатов. Как это у нее выходит, я сам

не понимаю. Будто девчонка забрела в экспериментальную лабораторию и стала наудачу смешивать всякие взрывчатые вещества, и у нее получались соединения сильнее всех, добытых седовласыми химиками.

Они свернули с большой дороги и, проехав полмили через овраг, орошаемый ручейком, выехали на широкое, волнистое, роскошное пастбище. Первое, что Грэхему бросилось в глаза на фоне целого стада жеребят-однолеток и двухлеток, была фигура маленькой хозяйки на золотисто-гнедом породистом жеребце Франте, который, поднявшись на дыбы, бил в воздухе передними копытами и пронзительно ржал. Всадники осадили лошадей и смотрели, что будет дальше.

— Он еще сбросит ее, — угрюмо бормотал ветеринар. — Не верю я этому Франту.

Но в эту самую минуту Паола Форрест, еще не заметившая вновь прибывших, испустила резкий повелительный крик и, вонзив шпоры по-кавалерийски в шелковистые бока Франта, мгновенно заставила его опустить передние ноги на землю, как подобает порядочной лошади, и он стал, беспокойно потаптывая на месте и с бешенством кусая удила.

— Все рискуешь? — тихо пожурил Дик, подъез-

жая к ней с остальными.

— Я с ним справлюсь, — прошептала она и тут же крепко сжала губы. Франт оскалил зубы и укусил бы Грэхема за ногу, если бы она не успела дернуть его в сторону, снова плотно прижав шпоры к его бокам.

Франт вздрогнул, заржал и на минуту успокоился.

— Это все старая история, история белой расы, — засмеялся Дик, — она его не боится, и он это отлично понимает. Он зол, но она злее, вот он и неистовствует, а она ему наглядно показывает, что значит свирепость сознательная и планомерная.

Трижды еще, пока они стояли и смотрели, готовые тотчас бросить на помощь своих коней, как только Франт будет пытаться сорваться, конь действительно пытался взяться за свои проделки, и трижды нежно, но твердо и решительно умело управляя беспощадным мундштуком, Паола наказывала его шпорами, пока он не остановился весь трепещущий, в поту, окончательно побежденный.

— Так всегда делают белые, — задумчиво повторял Дик, а Грэхем чувствовал, что его охватывает почти мучительное чувство восхищения малень-

кой хозяйкой, укротительницей зверей. — Белый везде оказался более совершенным дикарем, чем все дикари, — продолжал Дик. — Он оказался более выносливым, большим мошенником, более воинственным, более жестоким, более жадным, — да, более жадным. Можно смело держать пари, что белый, доведенный до крайности, съест больше человеческого мяса, чем доведенный до крайности дикарь.

— Здравствуйте! — приветствовала Паола гостя, ветеринара и мужа. — Я думаю, теперь он в моей власти. Давайте посмотрим жеребят. Вы, пожалуйста, не забывайте о его зубах, мистер Грэхем, он ужасный кусака, держитесь от него подальше, ноги еще пригодятся вам на старости лет.

Теперь, когда Франт был укрощен, один из жеребят спугнул всю стаю, и они, резвясь, поскакали врассыпную по зеленому лугу, но вскоре, точно одержимые любопытством, снова вернулись и, сбившись в круг, предводительствуемые одной шаловливой бурой кобылкой, придвинулись ближе и стали полукругом перед всадниками, насторожив уши.

Грэхем сначала и не смотрел на жеребят. Он видел только Паолу. «Неужели нет пределов

разнообразию ее талантов? — думал он, глядя на ее великолепную могучую лошадь. — Ведь и Горный Дух очень крупный, а казался просто ручной, домашней лошадкой в сравнении с этим коварным, горячим, породистым жеребцом».

— Вы посмотрите на нее, — шепнула ему Паола потихоньку, боясь спугнуть бурую кобылицу. — Разве она не великолепна! Вот чего я хотела добиться, — обратилась она к Ивэну. — Всегда у них есть какой-нибудь изъян, чего-нибудь не хватает, в лучшем случае — они только близки к совершенству, а эта достигла совершенства! Вы посмотрите на нее. Лучше ее я едва ли добьюсь. Ее отцом был Вождь, ведь вы, верно, уже смотрели на родословную наших беговых лошадей. Мы его продали за шестьдесят тысяч, когда он в сущности уже был калекой, а потом брали его на время, когда он нам был нужен; в этом сезоне она от него была единственная. Но посмотрите на нее! У нее — его грудная клетка и его легкие! Мне был предоставлен широкий выбор — среди всех маток, считавшихся породистыми. А ее матка в число привилегированных не входила, но я остановилась на ней. Упрямая старая дева, но Вождю она-то и была нужна. Это ее первый жеребенок, ей было уже шестнадцать лет, когда она

ее родила. Но я знала, что из этого выйдет. Я, как посмотрела на Вождя и на нее, сразу поверила в успех, я так и знала!

— Матка была всего только полукровка, — пояснил Дик.

— Но в ней было много моргановской крови, — тотчас прибавила Паола, — а вдоль спины у нее шла полоса настоящего мустанга. Эту мы назовем Нимфой; пусть она и не значится в родословной породистых, но это моя первая, вполне безупречная верховая лошадь. Это именно то, что мне нравится. Сон наяву.

— У каждой лошади по четыре ноги, по одной в каждом углу, — провозгласил мистер Хеннесси.

— И от пяти до семи аллюров, — тем же тоном подхватил Грэхем.

— И все же я ненавижу этих кентуккийских лошадей с их разнообразными аллюрами, — быстро добавила Паола. — Разве только, чтобы по паркам кататься. Но в Калифорнии, с нашими трудными дорогами и горными тропами, вы мне дайте быстрый ход, мелкую рысь, длинный шаг, годный и для больших расстояний, и не слишком крупный галоп. Конечно, хороши и частые прыжки, но это я не могу назвать определенным ходом. Это тот же длинный прыжок, но приспособленный к

ветреной погоде и к дурным дорогам.

— Она, действительно, красавица, — залюбовался Дик, и его глаза загорелись, созерцая шаловливую бурую кобылку, бесстрашно подошедшую к Франту, чтобы обнюхать морду покоренного жеребца.

— Я предпочитаю, чтобы мои лошади только близко подходили к породистым, они мне больше нравятся, чем чистокровные, — заявила Паола. — Конечно, такой лошади место на бегах, но для обихода таланты ее слишком ограничены.

— В ней в самом деле сочетаются хорошие качества, — сказал мистер Хеннесси, указывая на Нимфу. — Она достаточно коротка, чтобы хорошо бежать, и достаточно длинна для рыси. Сознаюсь, что в это скрещение я не верил, но вы, действительно, получили прекрасную лошадь.

— Когда я была девушкой, у меня не было лошадей, — сказала Паола Грэхему, — и мне часто и теперь еще не верится, что они у меня не только есть, но что я могу даже разводить их и создавать новые породы по своему желанию. Иногда мне это кажется сном, и меня тянет сюда, чтобы убедиться.

Она обернулась к мужу и взглянула на него полными благодарности глазами. Грэхем видел,

как их глаза с добрую полминуту остановились друг на друге. Он ясно почувствовал, сколько наслаждения доставляет Дику и любовь жены к делу, и ее молодой энтузиазм, и жизнерадостность. «Счастливец он», — подумал Грэхем, — не потому, что Дик был владельцем обширного имения и удачных предприятий, а потому, что обладал этой чудесной женщиной, так открыто и благодарно смотревшей ему в глаза.

Грэхем скептически вспомнил слова Эрнестины о том, что Паоле Форрест тридцать восемь лет. Он видел, как она обернулась к жеребятам и указала хлыстом на гнедого однолетка, покусывающего весеннюю травку.

— Посмотри на этот гладкий круп, Дик, — сказала она, — на эти гибкие ноги и бабки, — и тут же прибавила, обращаясь к Грэхему: — Ведь, правда, она не похожа на Нимфу с ее длинными ступнями, но такие именно я и хотела получить. — Она усмехнулась, но слегка досадуя. — Матка у нее была светло-гнедая, очень яркая, точно новенькая двадцатидолларовая монета, и мне очень хотелось получить от нее пару такой же масти для моего выезда. Я не скажу, что добилась точно того, чего хотела, но все же получила чудесную светло-гнедую лошадь, это мне награда! Эта

гнедая — и подождите! — вот мы доедем до породистых кобылок, и вы увидите другую, тех же кровей и темно-гнедую! Для меня это большое разочарование.

Она указала на двух темно-гнедых, которые паслись бок о бок.

— А вот эти обе от Гью-Диллона, вы знаете брата Лоу-Диллона? У них матки разные и не совсем одинаковой масти, но они замечательно друг другу подходят. И у них обеих шерсть точно такая, как у Гью-Диллона. — Она тронула своего смирившегося коня, тщательно обходя стадо, чтобы не встревожить его; несколько жеребят все-таки бросились врассыпную.

— Вы посмотрите на них, — воскликнула она, — вот эти пять там, упряжные. Вы посмотрите, как они подымают передние ноги, когда бегут.

— Мне будет обидно, если ты из них не получишь призовую четверку, — похвалил Дик, и снова вспыхнули благодарностью ее глаза, и снова Грэхему сделалось больно.

— Из них две от более крупных маток. Вот посмотрите на того в середине и на того крайнего слева, а из остальных трех можно выбрать коренника. От одного отца, пять разных маток, и целых четверо вполне подходят друг другу, и все в один

год, ведь это счастье, правда?

Она быстро обернулась к Хеннесси.

— Я теперь вижу, каких из них придется продать как пони для игры в поло; я их выберу из двухлеток. Хотите, отберите их.

— Если мистер Менденхолл не продаст вон того чалого за полторы тысячи, то только потому, что игра в поло вышла из моды, — ответил ветеринар с восторгом. — Уж я на них смотрел, вон, например, на этого светло-гнедого. Вы дайте ему лишний годик и посмотрите, каков он будет в случке, а еще через год пойдет на международную выставку. Вы меня послушайте, я в него верил с самого начала. Он всех этих берлингемцев побьет. Как подрастет — пошлите его на Восток.

Паола кивала головой, с интересом вслушиваясь в слова мистера Хеннесси и заражаясь его энтузиазмом при виде пышущего жизнью коня, созданного ею.

— Хотя, — созналась она, — всегда тяжело продавать таких красавцев.

В эту минуту она была так поглощена лошадьми, что в словах ее не было ни малейшего намека на аффектацию. Они прозвучали просто, и Дик невольно стал расхваливать ее Ивэну.

— Конечно, я могу пересмотреть ворох книг о

коневодстве и мудрить над законами Менделя до головокружения, но она настоящий гений. Ей никаких законов изучать не нужно. Она просто это все знает, точно колдунья, каким-то интуитивным путем. Она взглянет на кучку кобылок, смерит их глазами, пощупает их немножко руками, а затем не успокаивается, пока не найдет им пары. И чаще всего добивается желанных результатов. Разве только не масти, — поддразнил он ее.

Она весело рассмеялась. Засмеялся и мистер Хеннесси, а Дик продолжал:

— Вы посмотрите на эту кобылу. Мы были убеждены, что Паола не права. А вы теперь посмотрите на нее! Она случила старую породистую кобылу, которую мы хотели выставить за негодностью, с великолепным жеребцом — получилась кобылка; опять спарила ее с чистокровным, а их жеребца опять с той же. И все наши предсказания полетели прахом. И посмотрите на него: ведь он побьет мировой рекорд как пони для игры в поло. В одном только мы перед ней не преклоняемся: она не допускает никакой женской сентиментальности при своем подборе. Очень уж она хладнокровна, никакого раскаяния не чувствует, когда приходится выбрасывать нежелательных и

выбирать то, что ей нужно. Но мастью она еще не овладела. Вот тут-то гениальности и не хватает! Ну, Паола, тебе придется еще пока обходиться с Дадди и Фадди для твоего выезда. Кстати, как поживает Дадди?

— Он поправился, — ответила она. — Спасибо мистеру Хеннесси.

— Серьезного ничего, — добавил ветеринар, — у него было просто что-то с желудком, а конюх перетрусил.

Глава XIII

По дороге к бассейну Грэхем разговаривал с маленькой хозяйкой, держась от нее настолько близко, насколько позволяли ему козни Франта. А Дик с Хеннесси опередили их, углубившись в деловой разговор.

— Меня всю жизнь преследует бессонница, — говорила она ему, щекоча Франта шпорой, чтобы укротить новое поползновение к сопротивлению. — Но я рано научилась не распускать нервов и не поддаваться унынию. В сущности, я уже с детства извлекла себе из такого состояния пользу и даже удовольствие. Так только и можно было преодолеть врага, от которого, я знаю, мне не избавиться. Ведь вы, наверное, умеете побеждать подводное течение?

— Да, потому что раз навсегда решил, что с ним бороться нельзя, — ответил Грэхем, глядя на ее порозовевшее лицо, на котором от постоянной борьбы с неугомонным конем бисером проступили крошечные капельки пота. «Тридцать восемь лет! Не преувеличила ли, не соврала ли Эрнестина в самом деле! Паоле Форрест и двадцати восьми не дать. Кожа у нее совсем нежная, про-

зрачная, как у очень молоденькой девушки».

— Вот именно, — продолжала она, — бороться с подводным течением нельзя. Надо просто поддаться ему, не перечить ему и пытаться выйти на воздух вместе с ним. Этому фокусу меня научил Дик. То же и с бессонницей. Раз царство сна для меня заперто, раз я взволнована, возбуждена сильными впечатлениями, то я вполне сознательно отдаюсь бессоннице и тогда быстрее впадаю в бессознательное состояние. Я заново переживаю все пережитое за день, только подхожу к событиям с новых, самых разных сторон.

Вот возьмите, например, вчерашнее плавание на Горном Духе. Прошлой ночью я будто снова пережила все это. А затем я пережила то же в качестве зрителя, как бы глядя на все глазами моих сестер, вашими, глазами ковбоя, а главное — Дика. А затем я стала рисовать себе разные картины на ту же тему со всех точек зрения и раскрашивала их, выбирала им рамы и развешивала, а затем рассматривала их, как случайный посетитель, которому они бы подвернулись впервые. И я нашла себе множество зрителей, начиная с кислых старых дев и юных школьниц вплоть до юношей-греков, живших тысячи лет назад.

Потом я все это переложила на музыку. Разыг-

рала ее мысленно на рояле и угадывала звуки ее в симфоническом и духовом оркестре. И сама пела, и слова песни придумала, эпические, лирические и комические и в конце концов уснула, даже не заметив, как уснула, а проснулась уже около полудня. Последний раз я слышала, как часы бьют шесть. А в лотерее сна я выигрываю так редко, что шесть часов непробудного сна для меня очень много.

Пока она рассказывала, Хеннесси уже успел обо всем переговорить и съехал на боковую дорожку. Дик Форрест остановил лошадь и поджидал жену.

— Хотите пари, Ивэн? — спросил он.

— Вы мне раньше скажите условия, — сказал Грэхем.

— На сигары — пари на то, что вам не догнать Паолу под водой в течение десяти минут, — ну, нет, пяти, потому что, я помню, вы пловец неплохой.

— Дай ему побольше шансов, Дик, — воскликнула Паола великодушно. — Десять минут — для него утомительно.

— Ты его не знаешь, — отшутился Дик. — И не ценишь моих сигар. Он пловец настоящий.

— Пожалуй, и мне придется призадуматься. А

вдруг он нанесет мне смертельный удар, прежде чем я успею тронуться в путь. Расскажи-ка про его подвиги и победы.

— Вот тебе один эпизод, о котором на Маркизских островах говорят и сейчас. Это было во время страшного урагана 1892 года. Он проплыл сорок миль, плыл непрерывно сорок пять часов; только он да еще один туземец добрались до земли; а были все туземцы, канаки, белый он один и перещеголял всех: утонули все до последнего.

— Но ты сейчас только сказал, что с ним еще кто-то был, — перебила Паола.

— Женщина, — ответил Дик. — Канаки все утонули.

— А женщина белая? — допрашивала Паола.

Грэхем быстро взглянул на нее и, хотя она и обратилась к мужу, обернулась к нему, ее вопрошающие глаза прямо и открыто встретились с его глазами.

Он выдержал ее взгляд так же прямо и ответил:

— Она была канака.

— Но не простая канака, а королева, — добавил Дик. — Настоящая, из древнего рода туземных королей. Королева острова Хуахоа.

— Вероятно, древняя королевская кровь при-

дала ей силы? — спросила Паола. — Или вы ей помогали?

— Я думаю, что мы оба помогали друг другу, — ответил Грэхем. — Иногда мы оба теряли сознание на более или менее продолжительное время. То я, то она. До суши мы добрались к закату. Это оказалась просто отвесная стена, о которую высоко разбивался прибой, пригоняемый юго-восточным пассатом. Она меня схватила, вцепилась в меня, растолкала и привела в чувство. А я-то хотел на эту стену лезть — это было бы для нас гибелью. Кое-как ей удалось внушить мне, что она знает, где мы находимся, что течение теперь пойдет вдоль берега на запад и что через каких-нибудь два часа оно вынесет нас к такому месту, где можно будет выбраться на сушу. Клянусь, что эти два часа или я проспал, или был без сознания, но также твердо помню, что в таком же состоянии была и она. Когда я очнулся, то заметил, что прибоя уже не слышно. Тогда я стал ее трясти и приводить в сознание. Мы шли по пескам еще три часа, а окончательно выбравшись из воды, тут же заснули. Проснувшись от припекавшего солнца, мы побрели под тень диких бананов, нашли пресную воду и снова заснули. А когда я опять проснулся, была ночь. Я еще раз напился и

заснул до утра. Она еще спала, когда нас нашли туземцы — охотники за дикими козами.

— Пари держу, что если вы оказались сильнее целой кучи канаков, то помогали больше вы, — заметил Дик.

— Как она должна быть вам благодарна, — решила Паола. — Вы меня не уверите, что она не была молода и прекрасна. Конечно, это была красавица, золотисто-смуглая юная богиня.

— Мать ее была королевой острова Хуахоа, — ответил Грэхем. — Отец — англичанин, из хорошей семьи, ученый-эллинист. Их тогда уже не было в живых, и Номаре сама была королевой. Да, она была молода; прекраснее ее, пожалуй, правда, не найти на свете. Она унаследовала цвет кожи отца: она у нее была не золотисто-коричневая, как у остальных туземцев, а смугло-золотистая. Но вы, наверное, знаете всю эту историю. — Он замолчал и вопросительно взглянул на Дика, но тот отрицательно покачал головой. За деревьями послышались крики, всплеск воды — они подъезжали к бассейну.

— Вы мне должны когда-нибудь досказать эту историю, — сказала Паола.

— Дик все это знает, не понимаю, почему он вам не говорил об этом.

Она пожала плечами.

— Верно, некогда было или случая не представилось.

— Эта история в свое время имела широкую огласку, — засмеялся Грэхем. — Да будет вам ведомо, что я когда-то был морганатическим, ведь так это называется, королем каннибальских островов, настоящего земного рая в Полинезии.

И, напевая песню о жемчужных волнах и опаловой дали, он соскочил с лошади. Паола подхватила песню, не переставая зорко следить за Франтом, чуть не схватившим ее за ногу зубами; она успела вовремя пустить в ход шпору, а тут же подоспевший Дик снял ее, а коня привязал.

— Сигары? И я в компанию! Вам ее не поймать! — кричал Берт Уэйнрайт с высоты верхней площадки для ныряния, расположенной в сорока футах над водой. — Подождите меня, вот и я. — И он спрыгнул и нырнул с ловкостью профессионала, вызвав восторженные аплодисменты барышень.

— Великолепно, — встретил его Грэхем, как только он показался на поверхности воды.

Тщетно Берт напускал на себя полное равнодушие: ничего не получилось; чтобы выйти из положения, он стал выяснять подробности пари,

предложенного Диком.

— Не знаю, как вы плаваете, Грэхем, — сказал он, — но я вместе с Диком и согласен на сигары.

— И я, и я, — хором возгласили Эрнестина, Льют и Рита.

— Конфеты, перчатки и все, чем вы пожелаете рискнуть, — прибавила Эрнестина.

— Но я не знаю рекордов миссис Форрест, — протестовал Грэхем, перечисляя вслух для памяти все свои обязательства. — Тем не менее если по истечении пяти минут…

— Десяти, — перебила Паола, — мы станем у противоположных концов бассейна, кажется, условия справедливые. Как только вы меня коснетесь, я поймана.

Грэхем с тайным восхищением смотрел на маленькую хозяйку. Она была не в белом шелковом трико, очевидно, предназначенном для купания исключительно в женском обществе, а в кокетливом костюме из легкого шелка синего цвета с зеленым отливом, в тон воде бассейна. Коротенькая юбочка чуть выше колен, длинные шелковые чулки того же цвета и крошечные купальные туфли, завязанные крест-накрест узенькими ленточками, а на голове шапочка, заломленная так же задорно, как задорна была

Паола, когда она предлагала продлить гонку до десяти минут вместо пяти.

Рита Уэйнрайт взяла часы, Грэхем же стал у противоположного конца полуторастафутового бассейна.

— Смотри, Паола, — пригрозил Дик, — если ты позволишь себе хоть малейший риск, он тебя поймает. Ведь это — человек-рыба.

— Я думаю, что и Паола кое-что ему покажет, — защитил ее Берт. — Он проиграет — держу пари, что она ныряет лучше его.

— Проиграете вы, — отозвался Дик. — Я видел скалу, с которой он нырял в Хуахоа. Он там тогда уже не жил, королева Номаре умерла. Не будь он так молод — двадцать два года, — он бы не прыгнул. Это была скала Пау-Ви, в сто двадцать футов, и он не мог оттуда прыгать, ныряя по-лебединому, как это полагается, потому что приходилось думать еще и о том, чтобы не задеть двух нижних выступов. По традициям канаков, считалось, что с большей высоты, чем с верхнего уступа, нельзя нырять. А он дерзнул. И обновил традиции. Пока живы канаки Хуахоа, он будет жить в их памяти… Ну, готовься, Рита, пустите их минута в минуту.

— Как-то совестно шутить с таким пловцом, — вполголоса обратилась к своим Паола, стоя на

своем конце бассейна в ожидании сигнала.

— Вполне возможно, что он тебя поймает прежде, чем ты сыграешь свою шутку, — снова предостерегал ее Дик и вдруг обернулся к Берту, точно обеспокоился: — А там все исправно? Если нет, Паолу ожидают нелегкие пять секунд.

— Все в порядке, — заверил Берт. — Я там сам был. Труба действует. Воздуха сколько угодно.

— Готовы! — крикнула Рита. — Пошли!

Оба побежали: Грэхем — к зрителям, быстро, как на бегах, а Паола — к верхней площадке. Она уже стояла на ней, когда он уцепился за нижнюю ступеньку руками и ногами. Он бросился за ней, она склонилась над водой, точно готовясь нырнуть; он остановился, решив выждать на средней платформе в двадцати футах над водой, готовый нырнуть за ней. Тогда она засмеялась и не нырнула.

— Время идет, дорогие секунды пропадают, — запела Эрнестина.

Грэхем начал подниматься выше. Паола снова согнала его на прежнее место, угрожая нырнуть. Но больше секунд Грэхем зря не тратил. Он решил подняться будь что будет, и угрозы Паолы больше не смущали его. Хотя он и взбежал на тридцатифутовую платформу, надеясь успеть схватить

ее, прежде чем она нырнет, она не колебалась ни секунды. Она бросилась вниз, закинув голову назад, согнув руки, выпрямив ноги и тесно прижав их друг к другу, и все же балансируя своим падающим телом. Раздались крики восхищения. Грэхем остановился и увидел, как она закончила прыжок. Он видел, как, долетев до нескольких футов над водою, она наклонила голову вперед, протянула руки и замкнула их над головой, как бы сводом, а горизонтальное положение тела изменила так, чтобы удариться о воду под надлежащим углом. Но в момент, когда она уже была в воде, он уже стоял на тридцатифутовой платформе, выжидая. С этой высоты он различал под водой ее тело, плывущее полным ходом к дальнему концу бассейна; тогда только нырнул и он. Он был уверен, что нагонит ее. Он нырнул дальше от берега, чем она, и сразу опередил ее на двадцать футов.

В это самое мгновение Дик окунул в воду два плоских камня и стукнул их один о другой. Это должно было служить для Паолы сигналом. Она изменила курс. Грэхем слышал стук камней, но не мог понять, что это значит. Он необыкновенно быстро вынырнул у противоположного конца бассейна и оглядел поверхность воды. Раздался

взрыв аплодисментов — он повернул глаза к дальнему концу, с которого он прыгнул: маленькая хозяйка уже выходила там из воды.

Снова он сбежал по скату бассейна, и снова она взобралась на платформу. Но на этот раз его быстрота и выносливость заставили ее сократить дорогу, и она удовольствовалась двадцатифутовой платформой. Она не остановилась, чтобы стать в надлежащую позицию, а сразу же бросилась к западному концу бассейна. Они очутились в воздухе почти одновременно. В воде и под водой он лицом и руками ощущал колебание воды, всколыхнувшейся над ней; она свернула в глубокую тень, брошенную стоящим уже очень низко солнцем, вода там была так темна, что ничего в ней нельзя было различить.

Коснувшись края бассейна, он вынырнул, но ее не было. Он выпрямился, тяжело дыша, готовый нырнуть, как только ее увидит. Но ее и следа не было.

— Семь минут, — возвестила Рита, — семь минут с половиной! — восемь… восемь с половиной!

Но Паола Форрест на поверхности не показывалась. На лицах зрителей испуга не было, и Грэхем решил, что пугаться рано.

— Видно, я побежден, — крикнул он Рите, когда она возвестила, что прошло десять минут. — Она под водою уже больше двух минут, но вы все что-то чересчур спокойны, чтобы мне волноваться. У меня еще остается минута. Может быть, я и не проиграю, — и он снова сошел в бассейн.

Спустившись, он обернулся — осмотрел и ощупал руками цементированную стену бассейна. На половине глубины, футах в десяти под водою, он натолкнулся на отверстие в стене и, убедившись, что оно ничем не загорожено, смело вошел и тотчас же почувствовал, что его поднимает, но поднимался он медленно в непроходимом мраке, стараясь не плескать и не нашуметь.

Вдруг пальцы его коснулись свежей, гладкой руки, судорожно отпрянувшей при неожиданном прикосновении; раздался громкий испуганный крик. Он сжал ее руку и рассмеялся. Тут засмеялась и Паола, и он вдруг вспомнил строчку стиха: «Услышав ее смех во тьме, я полюбил ее».

— Испугали же вы меня, — сказала она. — Вы подкрались беззвучно, а я была за тысячу миль отсюда, замечталась.

— О чем? — спросил Грэхем.

— По правде сказать, мне пришел в голову фасон платья — цвета синего винограда с тяжелой

золотой каймой и пряжками. И только одно к нему украшение на руках — кольцо с громадным красным рубином, его мне Дик подарил в первые годы замужества.

— Есть на свете что-нибудь, о чем вы не мечтаете? — спросил он со смехом.

Она тоже смеялась; голоса их гулко раздавались в темноте.

— Кто вам сказал про трубу? — спросила она погодя.

— Никто. Когда прошли две минуты, а вы не показываетесь над водой, я решил, что тут фокус, и стал искать.

— Это Дик придумал, когда бассейн уже был готов. У него масса всяких затей. Он страшно любил доводить старых дам до истерики: зазовет их сыновей и внуков с собою купаться и спрячется тут с ними, но однажды две из них чуть не умерли со страху. Он тогда перестал дурачиться и стал набирать жертв посолиднее, вроде вас. Была у нас и другая история: у нас гостила некая мисс Коглан, подруга Эрнестины, молоденькая, еще школьница. Он ухитрился поставить ее у самой трубы, а сам поднялся на высокую платформу и нырнул сюда к нижнему концу трубы. Через несколько минут, когда она уже была почти в об-

мороке, думая, что он утонул, он вдруг заговорил в трубу ужасным замогильным голосом, и мисс Коглан тут же потеряла сознание.

— Она, верно, была не из сильных, — заметил Грэхем, и у него вспыхнуло смешное желание — иметь в руках спичку, зажечь ее и посмотреть на Паолу Форрест, державшуюся рядом с ним над водою.

— Особенно винить ее нельзя, — ответила Паола, — во-первых, она была очень молода, лет восемнадцати, не больше, а обожала Дика, как это водится у школьниц. Все они так: Дик как разыграется с ними, так сам делается мальчишкой, и они никак понять не могут, что он солидный, опытный, глубокомыслящий, работящий пожилой человек. Тут неловко вышло только одно, когда бедная девочка очнулась, она не успела сразу собраться с мыслями и взять себя в руки и выдала свою сердечную тайну. Вы бы посмотрели, какое убитое лицо у Дика сделалось, когда она выболтала.

— Что вы, ночевать там собираетесь? — раздался в трубе голос Берта Уэйнрайта, точно у самого уха.

Грэхем вздрогнул и тут же вздохнул облегченно.

— Господи! Как он меня напугал. Ваша молоденькая барышня отомщена. Меня теперь не проведешь, я знаю резонанс вашей трубы.

— Пора возвращаться на свет божий, — сказала она. — Правда, здесь чудесно разговаривать. Идти мне первой?

— Разумеется, я за вами; как жаль, что вода не светится! А то я бы плыл за вашими светящимися пятками… Помните у Байрона? И направления искать не пришлось бы.

Он слышал, как она засмеялась, уже удаляясь, и окликнула:

— Я уже!

Было темно, но по раздавшимся слабым звукам он догадался, что Паола бросилась головою вниз, и сразу представил, как это красиво у нее вышло, хотя большинству женщин этот маневр очень не идет.

— Вам кто-нибудь сказал? — напал на Грэхема Берт, как только тот показался на поверхности и стал выплывать из бассейна.

— Это вы, разбойник, стучали камнями под водой? — в свою очередь напал на него Грэхем. — Если бы я проиграл, я бы пари опротестовал. Это было шулерство, заговор, и я уверен, что опытный адвокат определил бы всю махинацию как

преступление. Такой казус, в сущности, подлежит решению верховного суда.

— Но ведь вы выиграли, — воскликнула Эрнестина.

— Конечно, выиграл и потому не подаю иска против вас и всей вашей мошеннической компании, но только если вы немедленно расплатитесь. Дайте вспомнить — вы мне должны коробку сигар!

— Одну сигару, сударь!

— Нет, целую коробку.

— В пятнашки! — крикнула Паола и, слегка ударив Грэхема по плечу, нырнула в бассейн. Но не успел он броситься за нею, как Берт схватил его и закрутил. Но Дик тут же запятнал Берта, Берт — его, Дик погнался за женой через весь бассейн, Берт и Грэхем бросились пересекать им дорогу, а барышни взбежали вверх на вышку и живописно стали на верхней пятнадцатифутовой площадке.

Глава XIV

Доналд Уэйр плавать не любил и в водном турнире не участвовал, но зато после обеда, к великой досаде Грэхема, скрипач завладел хозяйкой и не отпускал ее от рояля. Неожиданно, как часто водилось в Большом доме, приехали гости: юрист Адольф Вейл, которому нужно было переговорить с Диком насчет одного крупного процесса о правах на какие-то источники; затем прямо из Мексики Джереми Брэкстон, главный инспектор принадлежавших Дику рудников, рыжеволосый ирландец Эдвин О'Хэй, музыкальный и драматический критик, и, наконец, Чонси Бишоп, издатель и владелец газеты «Телеграф Сан-Франциско» и, как узнал Грэхем из разговоров, бывший университетский товарищ Дика.

Дик засадил гостей за шумную, азартную карточную игру своего изобретения, названную им «Отвратительной пятеркой». Страсти разгорелись, игроки зарвались, но предельная ставка была установлена в десять центов, а в случае удачи очередной банкомёт имел возможность выиграть или проиграть всего девяносто центов, причем на это великое счастье уходило не

менее десяти минут. Играли за большим столом у дальнего конца комнаты, и оттуда то и дело доносились просьбы одолжить денег; кое-кто оставался должен, и вечно не хватало мелочи. Игроков было девять, за столом стало тесно, и Грэхем от игры на свой риск отказался и лишь изредка ставил на счастье Эрнестины, успевая поглядывать и в другой конец комнаты, где скрипач и Паола углубились в Бетховена или балет Делиба.

Джереми Брэкстон умолял повысить предельную ставку до двадцати центов, а Дик, ухитрившийся, по его словам, проиграть целых четыре доллара и шестьдесят центов, жалобно требовал учреждения фонда для оплаты освещения и предстоящей на утро чистки комнаты. Грэхем, также глубоко вздыхая по проигранным на пари пяти центам, заявил Эрнестине, что намерен пройтись по залу, чтобы «переменить» свое счастье.

— Так я и знала, — сказала она ему вполголоса.

— Что вы знали? — спросил он.

Она многозначительно кивнула в сторону Паолы.

— Ну, раз так, тем более надо идти, — бросил Грэхем.

— Значит, не смеете отказаться от вызова? —

подтрунивала она.

— Будь это вызов, я бы не принял его!

— В таком случае я вам бросаю вызов, — заявила она.

Он покачал головой.

— Я уже давно решил пройти прямо туда и выжить оттуда этого скрипача. Вы уже опоздали, и ваш вызов значения не имеет. К тому же смотрите, мистер О'Хэй ждет вашей ставки.

Эрнестина быстро поставила десять центов, даже не поинтересовавшись, выиграла она или проиграла, так внимательно она следила, как Грэхем пробирался в другой конец комнаты, хотя отлично видела, что Берт Уэйнрайт в свою очередь следит за ней. С другой стороны, ни она, ни Берт и никто из окружающих не подозревал, что сам Дик, беспрерывно смеша их всех, блестя своими глазами, искрящимися весельем, не пропустил ничего из всей закулисной игры.

Эрнестина была чуть выше Паолы, но с несколько большей склонностью к полноте, светлая блондинка, с чистым свежим цветом лица, слегка позолоченного солнцем, и нежным, почти прозрачным румянцем, какой бывает только в восемнадцать лет. Казалось, что все видно сквозь розоватую, нежную кожу ее пальцев, кистей рук,

шеи, щек. И вся исходящая от нее нежность была сейчас овеяна особой теплотой, не ускользнувшей от взора Дика, заметившего, как она следит за Ивэном Грэхемом, направлявшимся в дальний конец комнаты. Дик уловил и тут же мысленно определил зародившуюся в ней и ей самой еще неясную мечту.

А она тем временем все смотрела на Грэхема, на его, как ей казалось, царственную походку, на высокую, легкую, изящную, породистую постановку головы с зачесанными с какой-то милой небрежностью золотисто-бронзовыми волосами, и ее пальцы как будто тянулись к ним, ее охватывало неизведанное ею прежде желание их ласкать.

А с другого конца зала и Паола, у которой разговор со скрипачом оборвался на критике суждений О'Хэя о Гарольде Бауэре, не могла не обратить внимания на подходившего к ним Грэхема. Она тоже остановила на нем взгляд, тоже с удовольствием отметив изящество его движений, высокую, легкую постановку головы, свободно лежащие волосы, чистую бронзу гладких щек, великолепный лоб, продолговатые серые глаза с чуть опущенными веками и с характерным для него полумальчишеским упрямством, мгновенно перешедшим в улыбку, как только он заговорил

с ней. Эту улыбку она у него часто замечала. Она зажигала глаза особым добродушием, чем-то дружественным, в углах рта у него появлялись мелкие морщинки. Она и других располагала к улыбке, и сама Паола почувствовала, что улыбается ему в ответ, продолжая пояснять Уэйру свои возражения против слишком снисходительного превозношения Бауэра О'Хэем. Но свой вечер она, очевидно, обещала посвятить Дональду Уэйру за роялем и, обменявшись с Грэхемом несколькими словами, обернулась к клавишам и сыграла ряд венгерских танцев с таким мастерством, что присевший к окну с сигарой Грэхем снова поразился ее даровитости.

Он постоянно удивлялся, вспоминая ее гибкие пальцы, когда она одергивала Франта, плавала в подводных пещерах, сверкала в лебедином полете через сорокафутовые воздушные пространства, у самой воды замыкая руки и складывая их, точно сводом, чтобы сберечь голову.

Однако он чувствовал, что ему неудобно оставаться здесь больше нескольких минут, и вернулся к игрокам, вызвав у всех дикий восторг, когда изображал еврея, отчаивающегося от того, что через каждые три минуты он проигрывает хорошенькие никелевые монеты удачливому

широкоплечему управляющему рудниками в Мексике.

Несколько позднее, когда прекратили играть, Берт и Льют Дестен испортили адажио из «Патетической сонаты» Бетховена, импровизируя карикатурную пантомиму, немедленно окрещенную Диком «Влюбленные мямли» и до того уморительную, что Паола расхохоталась и бросила играть.

Общество расселось по-новому. Вейл, Рита, Бишоп и Дик засели за бридж; Доналду Уэйру пришлось уступить Паолу молодежи, явившейся за ней под предводительством Джереми Брэкстона, а Грэхем и О'Хэй уединились у окна.

Потом все хором, под аккомпанемент рояля, спели ряд гавайских песенок, а затем спела Паола; и Ивэн Грэхем облегченно подумал, что наконец-то нашел ее слабое место. «Она великолепная пианистка, наездница; конечно, она чудно ныряет и плавает, — говорил он себе, — но, несмотря на свою лебединую шею, точно созданную для пения, поет она отнюдь не прекрасно». Однако ему вскоре пришлось изменить свое мнение. Она пела, как настоящая замечательная певица, и оценить ее пение как слабое можно было лишь относительно. Большого голоса у нее не было, но

это был голос нежный и сочный, проникнутый той же теплотой, которая придавала обаяние даже ее смеху. Особой силы не было, зато слух безупречен, в голосе — правдивость, подлинное художественное мастерство.

А тембр… Грэхем задумался. Это был голос такой мягкий, насыщенный богатством женской души, в нем чувствовалась сила могучего темперамента, но сила сдержанная — вот к чему пришел он по размышлении. Он не мог не надивиться ее умению соразмерять свое пение с возможностями голоса. Это было верхом искусства.

И машинально одобрительно кивая головой в ответ на лекцию о современной опере, которую ему читал О'Хэй, Грэхем задавал себе вопрос: возможно ли, что Паола Форрест, с таким совершенством сдерживающая свой темперамент в искусстве, с таким же совершенством сдерживает его и в более глубокой сфере чувства и страсти? Он не скрывал от себя, что в этом вопросе для него лично скрывается вызов, правда, пожалуй, порожденный любопытством, но только отчасти; за пределами его, много глубже, в тайниках сознания, вопрос этот был связан с чем-то первобытным, заложенным в каждом мужчине.

Ощущение такого вызова заставило его оста-

новиться и осмотреть всю огромную комнату, от одного конца до другого, снизу доверху, до брусьев потолка, до воздушной галереи, увешанной трофеями, до самого Дика Форреста, хозяина всех этих материальных благ и мужа этой женщины, Дика Форреста, играющего в бридж с таким же воодушевлением, с каким он работал, оглашающего комнату громким смехом над каким-то промахом Риты. Грэхема не испугало его состояние. Он понимал, что за этим охватившим его чувством стоит женщина — Паола Форрест — великолепное обаятельное воплощение женственности. Она была необычайно пленительна. С момента того ошеломляющего впечатления, которое она произвела на него в бассейне, плывущая на огромном жеребце, она все больше захватывала его воображение. Он видел много женщин, и они наскучили ему своей посредственностью и однообразием. Встретить выходящую из ряда вон, исключительную, не похожую ни на какую другую женщину, для него было все равно, что найти громадный жемчуг в лагуне, где уже охотились многие поколения.

— Вы живы еще? Очень рада, — засмеялась Паола немного погодя.

Они с Льют уже собирались идти спать. Тут же

составлялся новый квартет в бридж — должны были играть Эрнестина, Берт, Джереми Брэкстон и Грэхем, а О'Хэй и Бишоп углубились в новый спор.

— Право, этот ирландец очарователен, пока не садится на своего конька, — продолжала Паола.

— А конек его, по-видимому, музыка, — сказал Грэхем.

— В разговоре о музыке он несносен, — вмешалась Льют. — Это единственное, в чем он абсолютно ничего не смыслит. С ума можно сойти!

— Не беда, — успокоила ее Паола своим певучим голосом, — вы все будете отомщены. Дик только что шепнул мне, чтобы я назавтра пригласила философов. Вы же знаете, как они рассуждают о музыке. Для них музыкальный критик — их законная добыча.

— Терренс на днях говорил, что на эту дичь можно охотиться круглый год, — вставила Льют.

— Терренс и Аарон доведут его до запоя, — засмеялась Паола, предвкушая немало удовольствия. — А Дар-Хиал, единственный со своей теорией искусства, приложит ее к музыке, чтобы опровергнуть все первые и последние возражения своих собеседников. Он ни капельки не верит

во все то, что говорит об этой своей пластике, да и вчера вечером он танцевал, конечно, не всерьез. Это просто его манера шутить. Он такой глубокий философ, что нужно же и ему как-нибудь развлекаться.

— А что, если О'Хэй опять зацепит Терренса? — пророчила Льют. — Я уже заранее представляю себе, как Терренс возьмет его под руку, поведет в Оленью комнату и подогреет свою аргументацию такой разнообразной выпивкой, какой О'Хэй еще никогда от роду не пробовал.

— А на следующий день О'Хэй почувствует себя весьма неважно, — продолжала заранее хохотать Паола.

— Я ему обязательно скажу, чтобы он так и сделал, — воскликнула Льют.

— Вы не думайте, что мы все так уж плохи, — защищалась Паола, обращаясь к Грэхему. — Это у нас в доме такой дух. Дику это нравится. Сам он постоянно придумывает шутки. Так он отдыхает. Я готова пари держать, что это Дик надоумил Льют уговорить Терренса повести О'Хэя в Оленью комнату. Сознайся, Льют!

— Что же, я готова признаться, — ответила Льют, тщательно обдумывая слова, — что моя идея была не единственной.

Тут к ним подошла Эрнестина и увела Грэхема со словами:

— Мы все вас ждем. Мы снимали карты, и вы мой партнер. К тому же Паоле хочется спать. Итак, прощайтесь и отпустите ее.

Паола ушла к себе в десять часов, но бридж продолжался до часу. Дик простился с Грэхемом у коридора, идущего к башне, и, по-братски обняв Эрнестину, собрался проводить свою хорошенькую свояченицу.

— Пару слов, Эрнестина, — сказал он перед тем, как проститься, открыто и дружески глядя своими серыми глазами, но голосом таким серьезным, что она сразу насторожилась.

— Ну, что же я опять наделала? — она надула губки и улыбнулась.

— Пока ничего, но лучше не начинай, не трави свое сердце. Ты еще ребенок — восемнадцать лет! К тому же прелестный ребенок, которого нельзя не полюбить, пожалуй, любой мужчина встрепенется, у любого сердце екнет. Но Ивэн Грэхем не «любой мужчина».

— Не беспокойтесь обо мне, — негодующе вспыхнула она.

— Все же послушай. В жизни каждой девушки наступает минута, когда в ее хорошенькой го-

ловке зажужжит пчела любви. Тут-то ей и нужно уберечься от ошибки и не полюбить неподходящего человека. Ты в Ивэна Грэхема еще не влюбилась и не влюбляйся. Вот все, что от тебя требуется. Он тебе не пара и вообще не для молоденьких. Он человек пожилой, виды видал и уж, наверное, успел позабыть о романической любви и переживаниях, он знает о них больше, чем ты узнаешь, проживи хоть с десяток жизней. Если он когда и женится снова…

— Снова? — перебила его Эрнестина.

— Он, милая моя, уже пятнадцать лет тому назад овдовел.

— Что же из этого? — спросила она его.

— А то, — продолжал Дик совершенно спокойно, — что он уже давно прожил свой юношеский роман и какой прекрасный роман! И то, что он за пятнадцать лет не женился вторично, значит…

— Что он еще не оправился от утраты? — опять прервала его Эрнестина. — Но это не доказывает…

— Значит, что ученический период юношеских романов он уже пережил, — невозмутимо продолжал Дик. — Ты только всмотрись в него и сразу поймешь, что не раз многие прекрасные женщины, умные, вполне зрелые, пытались по-

корить его сердце, затевали игры, рассчитанные на взаимные чувства, что требовало от него всей его твердости духа. Однако пока поймать его никому не удалось. Что же до молоденьких девушек, то ты сама знаешь, что к человеку такому выдающемуся их прибивается не одна стая. Ты все это обдумай и не давай воли своим чувствам. Не дашь своему сердцу воли — и его избавишь от ужасного опустошения.

Он взял ее руку в свою и ласково притянул к себе, обняв ее за плечи. Несколько минут длилось молчание, и Дик тщетно старался отгадать, о чем она думает.

— Ты знаешь, мы, видавшие виды старики… — начал он полушутливо и как бы виновато. Она нетерпеливо передернула плечами и запальчиво воскликнула:

— Одни только и стоите чего-нибудь! Молодые — все молокососы! Они полны жизни, резвятся, как жеребята, поют и пляшут, но нет в них ничего положительного, ничего значительного. Они, да, они не производят серьезного впечатления, не могут многого понять, в них нет силы и мужественности.

— Понимаю, — задумчиво сказал Дик, — но не забудь посмотреть и на обратную сторону ме-

дали. Вы, пылкие, юные создания, несомненно, производите на мужчин постарше совершенно такое же впечатление! Они могут видеть в вас игрушку, забаву, прелестных младенцев, которых приятно обучить кое-каким пустячкам, но не подруг, не равных, с кем можно было бы поделиться, поделиться всем. Жизнь — наука, и ей нужно учиться. Они же свой курс прошли, или отчасти. Но такие птенцы, как ты, Эрнестина! Многому ли ты успела научиться?

— А ты расскажи мне, — внезапно, с почти трагической интонацией в голосе обратилась она к нему, — про сумасшедшую его любовь пятнадцать лет тому назад, когда он был молод.

— Пятнадцать? Нет, восемнадцать, — быстро ответил Дик. — Они были женаты три года, а потом она умерла. Ты сама сосчитай. Они были обвенчаны настоящим английским пастором и жили в законном браке приблизительно в то самое время, когда ты, новорожденная, с плачем отрывалась от матери.

— Да, да, продолжай, — нервно понукала она его. — Какая она была?

— Поразительной красоты, кожа ее была золотисто-смуглого, светло-золотистого цвета. Она принадлежала к белой расе только наполовину

и была королевой полинезийского острова, а до нее была королевой ее мать, а отцом был англичанин, кончивший Оксфордский университет, настоящий ученый. Ее звали Номаре. Она была королевой острова Хуахоа, язычница. Он же был так молод, что ему ничего не стоило стать таким же язычником, как и она, если не больше. В их браке не было ничего низменного. Он не был нищим авантюристом. Она принесла ему в приданое свой остров на океане и сорок тысяч подданных, а он принес на этот остров все свое состояние, а состояние было большое. Он выстроил там дворец, какого на островах Южных морей никто никогда не видел и не увидит, — чисто в туземном стиле: кровля травяная, тесаные колонки, переплетенные кокосовым волокном. Казалось, дворец вырос из острова, точно у него там корни проросли, это было местное искусство, а проектировал дворец архитектор Хопкинс, выписанный специально из Нью-Йорка.

Господи! Чего у них только не было! Собственная королевская яхта, дача в горах, свои лодки, лодочный сарай, то есть так называемый сарай — это тоже был дворец. Это все я знаю хорошо. Я там бывал на больших празднествах, но уже после них. Номаре умерла, а где был Грэхем, никто не

знал. Страной управлял какой-то ее родственник по боковой линии.

Я тебе говорил, что Ивэн превзошел ее своим языческим великолепием. Столовая посуда у них была золотая. Да что говорить! Он был совсем еще мальчиком. У нее была наполовину английская кровь! Жизнь их была, как волшебная сказка! С тех пор прошло много лет, и Ивэн Грэхем уже вышел из-под власти молодости, и, чтобы его пленить, нужна особенная, очень замечательная женщина. К тому же он разорен, хотя и не прогулял свои деньги, тут просто не повезло — и все.

— Ему бы скорее подошла Паола, — задумчиво сказала Эрнестина.

— Совершенно верно, — согласился Дик. — Паола или другая женщина, не менее интересная, имела бы в тысячу раз больше шансов привлечь его, чем молодые прелестные создания всего мира вроде тебя. Ведь и у нас, стариков, есть свои идеалы.

— А мне придется довольствоваться мелкой сошкой, — вздохнула Эрнестина.

— До поры до времени, пожалуй, — усмехнулся он. — Не забывай, что и ты со временем тоже сможешь стать замечательной, зрелой женщиной, способной захватить и такого человека,

как Ивэн.

— Но к тому времени я буду давно замужем, — огорченно заметила Эрнестина.

— Ну, конечно, — согласился он, — и это будет твоим счастьем, милая моя, а пока спокойной ночи. Ты на меня не сердишься?

Она печально улыбнулась и покачала головой, но протянула губки для поцелуя и сказала на прощание:

— Я обещаю не сердиться, если ты мне покажешь дорогу, которая в конце концов приведет меня к таким старикам, как ты и Грэхем.

Дик Форрест, гася по пути электричество, прошел в библиотеку и, отбирая ряд книг по механике и физике, необходимых ему для очередных справок, улыбнулся, довольный разговором со свояченицей. Он понимал, что заговорил вовремя и что откладывать этот разговор больше нельзя было ни на минуту. Но на полпути к скрытой за книгами винтовой лестнице, ведущей в его рабочий кабинет, несколько слов, брошенных Эрнестиной, вдруг отозвались в его сознании так внезапно, что он разом остановился, опираясь плечом к стене: «Ему бы скорее подошла Паола».

— Осел! Дурак! — громко засмеялся он и пошел дальше. — А ведь я женат уже двенадцать лет!

И он об этом больше не вспоминал, пока, уже ложась в постель в своем спальном портике и взявшись за решение занимавшей его задачи по электричеству, не взглянул мельком на барометры и термометры. И тут-то, вглядываясь через большой двор в черневший вдалеке флигель и спальный портик жены и соображая, заснула ли она уже, он снова явственно услышал слова Эрнестины. Он тотчас отогнал их, опять презрительно назвав себя «дураком» и «ослом», зажег сигарету и, как обычно, стал пробегать отобранные книги, закладывая спичками нужные страницы.

Глава XV

Уже давно пробило десять часов, когда Грэхем, беспокойно скитаясь по дому с тайной надеждой, что Паола Форрест когда-нибудь показывается раньше полудня, забрел в музыкальную комнату. Хотя он гостил в Большом доме уже несколько дней, он еще не везде побывал и сюда вошел впервые. Это был чудесный зал, футов тридцать пять на шестьдесят, подымавшийся на высоких стропилах к потолку, откуда в желтые стекла лился теплый золотистый свет. Стены и мебель были насыщены красными тонами, и он испытал такое благоговейное чувство, точно уже слышалась музыка.

Он лениво рассматривал картину работы Кейта, как всегда изображающую стада овец, пасущихся на лугах, насыщенных солнцем, но уже погружающихся в сумеречную тень, как вдруг неожиданно, краешком глаза увидел, что в дальнюю дверь входит маленькая хозяйка. У него сразу захватило дыхание. Опять она была, как картина, вышедшая из рамы, вся в белом, очень молодая и как будто выше ростом благодаря широким складкам свободного «холоку»

— изысканно простой и кажущейся мешковатой одежды. Ему приходилось видеть такие «холоку» в месте их происхождения — на Гавайских островах, и там этот наряд придавал местным красавицам особую привлекательность и даже женщин некрасивых делал привлекательнее.

Они издали улыбнулись друг другу, и он залюбовался ее грациозным сложением, постановкой головы, открытым взглядом, от которого как бы исходило товарищеское, дружелюбное приветствие, будто она говорила: «Мы друзья». По крайней мере, так казалось Грэхему, пока она подходила к нему.

— Эта комната имеет большой недостаток, — серьезно сказал он.

— Да что вы! Какой же?

— Она должна была бы быть длиннее, много длиннее, по крайней мере — вдвое.

— Почему? — спросила она с недоумением. И он снова залюбовался охватившим ее щеки молодым румянцем, не позволяющим верить, что ей тридцать восемь лет.

— Потому, — ответил он, — что вам пришлось бы пройти вдвое дальше и удовольствие смотреть на вас также увеличилось бы вдвое. Я всегда утверждал, что прелестнее одежды, чем «холоку»,

не придумать.

— Значит, дело в моем «холоку», а не во мне, — задорно усмехнулась она. — Вы, я вижу, похожи на Дика, комплименты у вас непременно с хвостиком, и только мы, глупенькие, разлакомимся, как комплимент ваш вильнет хвостиком и мы остаемся ни с чем. А теперь я вам покажу эту комнату, — поспешила она, не дав ему возразить. — Дик предоставил мне полную свободу, и я устроила ее по своему вкусу, так что тут я выбирала все, вплоть до размеров.

— И картины тоже?

— Все, — кивнула она, — и я сама развешивала их по стенкам. Хотя Дик не соглашался со мной насчет вот этой — Верещагина. А эти две, работы Милле, и вон те, Корро и Изабе, он добавил; он даже пошел на уступку и согласился, что у Верещагина есть картины, которые могут быть хороши в концертной комнате, но с этой именно он так и не примирился. Он ревнует к иностранцам, предпочитает наших местных художников и хочет, чтобы их здесь было больше.

— Я не очень хорошо знаю ваших тихоокеанских, — сказал Грэхем, — познакомьте меня с ними. Покажите мне… Ну, конечно, это вот — Кейт, а кто рядом с ним? Чудесная работа!

— Это Мак Комас, — ответила она, и Грэхем только что собрался провести с ней полчасика в приятной беседе о картинах, как в комнату вошел Доналд Уэйр. Он кого-то искал глазами и весь просиял при виде маленькой хозяйки; быстрым, деловитым шагом он направился к роялю и стал раскладывать ноты.

— Мы договорились поработать до завтрака, — объяснила Паола Грэхему. — Он уверяет, что я страшно отстала, и я думаю, что он прав. Мы с вами увидимся за завтраком. Конечно, если хотите, можете оставаться здесь, но предупреждаю, мы будем работать по-настоящему. А потом мы пойдем купаться. Дик решил, что в четыре часа. И он тогда же споет нам новую песню. Который теперь час, мистер Уэйр?

— Без десяти одиннадцать, — ответил скрипач коротко, почти резко.

— Рано, уговор был в одиннадцать, а до одиннадцати вам, сударь, придется подождать. Я сначала должна забежать к Дику, я еще с ним не виделась.

Паола отлично знала распределение часов Дика. На столе с книгами у ее кровати всегда лежала записная книжка, на последней странице которой были занесены какие-то иероглифиче-

ские отметки, из коих явствовало, что в половине седьмого Дику подается кофе, что до без четверти десять, если он не поехал куда-нибудь верхом, его, пожалуй, можно поймать в постели с корректурами или за книжкой, что от девяти до десяти он недоступен, потому что диктует письма Блэйку, что он так же недосягаем между десятью и одиннадцатью, потому что в это время совещается с разными заведующими и служащими, а Бонбрайт, помощник секретаря, записывает каждое слово не хуже любого репортера.

В одиннадцать часов, если не было неожиданных телеграмм и экстренно спешных дел, Паола могла рассчитывать, что застанет мужа одного, хотя ненадолго и непременно занятым. На этот раз, проходя мимо комнаты секретарей, она услышала треск пишущей машины, значит, одно препятствие было устранено. В библиотеке Бонбрайт искал какую-то книгу для заведующего шотхорнами мистера Мэнсона, из чего Паола вывела еще новое заключение: Дик покончил и с делами по имению. Она нажала кнопку, отодвигавшую ряд книжных полок и открывавшую узкую винтовую лесенку, и поднялась в рабочий кабинет Дика. Она вошла бесшумно, нажав кнопку и сдвинув на оси такой же ряд полок.

Тут по лицу ее пробежала тень досады: она узнала голос Джереми Брэкстона и остановилась в нерешительности. Они видеть ее не могли.

— Потопить можно, — говорил заведующий рудниками, — но выкачать потом чего будет стоить! Да ведь и жалко топить старую «Жатву».

— Но отчеты за последний год показывают, что мы работали себе в ущерб, — возражал Дик. — От мелкого бандита из Уэрты до последнего конокрада — все они нас грабили. Это чересчур! Чрезвычайные налоги, бандиты, революционеры, федералисты! Можно бы еще терпеть, если бы предвиделся конец, но у нас нет никаких гарантий, что этот беспорядок не продлится еще десять или двадцать лет.

— А все-таки старая «Жатва», вы подумайте! Ее топить, — возмутился заведующий.

— А вы подумайте о Вилье, — перебил его Дик с резким смехом, горечь которого не ускользнула от Паолы. — Он обещает, если победит, раздать всю землю пеонам, рабочим; следующий логический шаг — рудники. Как вы думаете, сколько мы переплатили в истекшем году одним конституционалистам?

— Больше ста двадцати тысяч долларов, — быстро ответил Брэкстон. — Не считая пятидесяти

тысяч золота в слитках, данных Торенасу до его отступления. А он бросил свою армию в Гваямаса и махнул с этими деньгами в Европу. Я вам обо всем этом писал.

— Если мы будем продолжать работы, Джереми, они будут продолжать тянуть с нас и дальше. Довольно! Лучше затопить. Раз мы умеем создавать богатства лучше этих негодяев, покажем им, что мы можем и истребить их не хуже, чем они.

— Я им так и говорил, а они только улыбаются и уверяют, что ввиду обстоятельств настоящего момента подобное добровольное приношение было бы весьма приемлемо для революционных вождей, то есть для них самих. С этим они все согласны. Господи! Я им напоминаю все, что мы сделали. Постоянная работа для пяти тысяч пеонов, жалованье повышено с десяти центов в день до ста десяти! Показываю им этих самых пеонов, получавших раньше по десяти центов, а теперь по пяти песо в день. И все та же вечная улыбочка, все так же чешутся руки, все те же уверения, что наше добровольное приношение на священный алтарь революции — святое дело. Клянусь, старик Диас хоть и был разбойником, но приличным разбойником. Я говорил Аррансо: «Если мы прекратим работу, у вас окажется пять

тысяч безработных мексиканцев, что вы с ними сделаете»? А Аррансо улыбнулся и ответил мне прямо: «Что мы с ними сделаем? Мы дадим им по винтовке и поведем на Мехико».

Паола мысленно представила себе, как Дик возмущенно пожал плечами, и тут же услышала его ответ:

— Вся беда в том, что богатство там есть, а пользоваться им умеем мы одни. Мексиканцы на это неспособны. У них мозгов не хватает. Они умеют только стрелять. У нас один исход, Джереми: на год или больше забудем о прибыли, рабочим откажем, инженеры свое дело сделают, а там возьмемся за выкачивание.

— Я говорил Аррансо, — загремел голос Джереми Брэкстона. — А что он отвечает? Что раз мы откажемся от рабочих, то он уж позаботится о том, чтобы и инженеров не было, а рудники пускай затопят, и пусть они пропадут вовсе. Нет, буквально этого он не сказал. Он просто улыбнулся, но одной его улыбки достаточно было. Я бы за два цента задушил его, да вся беда в том, что сейчас же нашелся бы другой патриот в таком же роде, и на следующий день мне пришлось бы выслушивать у себя в конторе еще более безумные просьбы о субсидиях. Ведь Аррансо свою долю

получил, а в довершение всего по дороге к своей основной банде около Хуареса позволил своим людям украсть триста наших волов, то есть на тридцать тысяч долларов воловьего мяса за один раз, и все это сразу же после того, как я его ублажил. Желтый мерзавец!

— Кто сейчас возглавит революционеров в вашем районе? — неожиданно спросил Дик, коротко и резко, и Паола сразу поняла, что он собирает все нити создавшегося положения и решил действовать.

— Рауль Бена.

— В каком чине?

— Полковник. У него человек семьдесят разных оборванцев.

— А чем он занимался, прежде чем бросил работать?

— Овец пас.

— Отлично! — Дик говорил быстро и решительно. — Вам придется разыграть комедию. Превратитесь в патриота. Возвращайтесь туда как можно скорее. Ублажите этого Бена. Он вашу игру раскусит, или он не мексиканец. А вы его все-таки ублажите: скажите ему, что вы сделаете его генералом, вторым Вильей!

— Но, Господи, как это сделать? — спросил Дже-

реми Брэкстон.

— Поставьте его во главе армии в пять тысяч человек. Наших людей распустите, и пусть он их принимает как добровольцев. Нам ничего не грозит, потому что Уэрта все равно обречен. Уверьте его, что вы — истинный патриот. Людям дайте винтовки! Мы, так и быть, раскошелимся напоследок, а вы этим докажете свой патриотизм. Пусть они идут себе за Раулем Бена, и каждому обещайте сохранить за ним место по окончании войны. Оставьте себе столько народу, сколько нужно, чтобы выкачать воду. Если мы и лишимся прибыли на год или два, то зато сократим и убытки. Да, может быть, нам, в конце концов, и не придется топить старую «Жатву».

Крадучись обратно в музыкальную комнату, Паола усмехалась про себя решению Дика. Но она была опечалена не положением дел в рудниках — с самого своего замужества она привыкла к тому, что на этих мексиканских рудниках, принадлежащих Дику по наследству, всегда неладно, — ее огорчало, что ей так и не удалось поздороваться с ним. Но это ее настроение сгладилось при виде Грэхема, замешкавшегося с Уэйром у рояля и собравшегося уходить, как только она пришла.

— Не убегайте, — остановила она его, — по-

будьте здесь. Вы будете свидетелем трудолюбия, которое, может быть, заразит вас и заставит приняться за книгу, о которой мне говорил Дик.

Глава XVI

За завтраком на лице Дика не было и следа забот, никто бы не догадался, что Джереми Брэкстон не привез отчета о нормальных доходах. Адольф Вейл уехал с первым утренним поездом, из чего следовало, что дело, по которому он заезжал к Дику, было ими закончено в какой-то совершенно невероятный час. Грэхем застал за столом общество, еще многочисленнее обычного. Кроме некоей миссис Тюлли, пожилой несколько полной светской дамы в очках, он увидел трех новых гостей, о которых имел некоторое представление. Это мистер Гэлхасс, правительственный ветеринар, Дикон, известный тихоокеанский портретист, и капитан одного тихоокеанского почтового парохода, по фамилии Лестер, лет двадцать назад служивший у Дика шкипером и обучавший его навигационному искусству.

Под конец завтрака Брэкстон взглянул на часы, но Дик остановил его.

— Джереми, я хочу вам показать, чем я тут занимаюсь, поедем сейчас. Вы еще успеете, это по пути на станцию.

— Мы все поедем, — предложила Паола. — Мне

самой хочется посмотреть. Дик обо всем этом нам что-то недосказал.

Дик одобрительно кивнул головой, и она тут же приказала подать автомобиль и лошадей.

— В чем там дело? — спросил Грэхем, когда она освободилась.

— Это одно из чудес Дика. Он вечно изобретает что-нибудь новое. Это целое открытие. Он уверяет, что это революционизирует земледелие, то есть фермерство. Общее представление у меня уже есть, но сама я еще не ездила смотреть. Все было готово уже неделю тому назад, но произошла задержка из-за какого-то кабеля или чего-то там другого.

— Тут миллиарды, если только дело пойдет, — улыбнулся Дик через стол. — Целые миллиарды для фермеров всего мира, а мне кой-какая слава, если только дело пойдет.

— В чем же дело? — спросил О'Хэй. — Неужели вы завели шарманку на молочных фермах, чтобы коровам спокойнее доиться?

— Каждый фермер будет пахать, сидя у себя на крыльце, — усмехнулся Дик в ответ. — Это переходная ступень к уничтожению физического труда, нечто среднее между выращиванием на земле и лабораторным производством питания.

Но подождите — и увидите. А знаете, Гэлхасс, ведь это убьет мое хозяйство, потому что если идея себя оправдает, то фермерам, владеющим не более чем десятью акрами, не понадобится ни одной лошади.

Поехало все общество, кто на автомобилях, кто верхом. Остановились в одной миле от молочной фермы, у ровного поля, тщательно огороженного, площадью, по словам Дика, ровно десять акров.

— Посмотрите, — сказал он, — вот вам и ферма, управляемая одним-единственным человеком, без всякой лошади, а фермер сидит у себя на крыльце. Вообразите себе крыльцо.

В середине поля высился большой стальной столб, не менее двадцати футов высотою, закрепленный снизу. От барабана на верхушке столба до самого края поля был протянут тонкий проволочный кабель, прикрепленный к рулевому рычагу небольшого газолинового трактора. Около трактора возились два механика. По знаку, поданному Диком, они повернули ручку коленчатого вала и пустили мотор.

— Итак, вот крыльцо, — сказал Дик. — Вы вообразите себе, что мы все — будущий фермер; он сидит в тени и читает утреннюю газету, а у него на глазах идет вспахивание, помимо какой бы то

ни было человеческой или лошадиной силы.

И, действительно, барабан, закрепленный у вершины столба, совершенно самостоятельно наматывал кабель, и трактор, описывая по полю концентрические круги, или, вернее, двигаясь по спирали, бороздил землю на расстоянии, до которого в данный момент доходил кабель.

— Ни лошади, ни погонщика, ни пахаря, один только фермер, поворачивающий ручку коленчатого вала трактора, и пускает его в ход, — радовался Дик.

Механизм, бороздящий черную землю, совершенно самостоятельно кружа в направлении к центру поля, производил почти жуткое впечатление.

— Пахать, боронить, утрамбовывать, — продолжал Дик, — сеять, удобрять, собирать урожай, все это сидя у себя на веранде. А если фермер сумеет закупить бензин по сходной цене, то ему и его жене только и останется, что нажать кнопку, а там — ему газету, а ей — пироги.

— Все, что с вас теперь требуется, чтобы достигнуть полного идеала, — это добиться квадратуры круга, — похвалил Грэхем.

— Совершенно верно, — согласился Гэлхасс. — При круге, обведенном по прямоугольному полю,

действительно пропадает несколько акров.

Грэхем на минуту замолчал, явно погрузившись в сложное арифметическое вычисление, и через минуту прибавил:

— Приблизительно три акра на каждые десять.

— Правильно, — согласился и Дик, — но фермеру все равно приходится располагать лицевую сторону своего дома на этих самых десяти акрах. Это дом, гумно, птичник и другие пристройки. Отлично: так пусть он забудет свои старые привычки, и, вместо того чтобы ставить все эти постройки в середине этих десяти акров, он использует три оставшиеся акра. Пусть посадит там же фруктовые деревья и ягодные кусты. Ведь если хорошенько подумать, то нельзя не согласиться, что традиционный метод, по которому постройки ставятся в центре прямоугольника в десять акров, заставляет вспахивать землю, расположенную вокруг центра, ломаными прямоугольниками.

Гэлхасс восторженно закивал головой:

— Затем надо учесть и расстояние от центра к проселочным дорогам, и расходы, связанные с этим. Все это снижает производительность. Разбейте эти десять акров на еще меньшие прямоугольники — и такое земледелие окажется невыгодным.

— Хотел бы я, чтобы и судоходство стало автоматическим, — заметил капитан Лестер.

— Или, например, искусство портретиста, — засмеялась Рита Уэйнрайт, бросив многозначительный взгляд на мистера Дикона.

— Или музыкальная критика, — подхватила Льют, не глядя ни на кого, но ясно намекая на кого-то из присутствующих, на что О'Хэй тотчас же отозвался:

— Или искусство быть прелестной женщиной.

— Во сколько обходится все оборудование? — спросил Джереми Брэкстон.

— В настоящее время — с выгодой для нас — в пятьсот долларов. Если же этот метод станет серийным и к нему будут применены современные оптовые фабричные приспособления, то — триста. Но пока, скажем, пятьсот! Вычтем пятнадцать процентов на уплату различных расходов, и тогда фермеру все обошлось бы по семидесяти долларов ежегодно. Ну, а какой же фермер, владеющий десятью акрами двухсотдолларовой земли, даже при строжайшей экономии, имеет возможность содержать лошадь за семьдесят долларов в год? Ко всему этому прибавьте, что он таким образом сэкономит на своем личном или на наемном труде; считая даже по самой низкой оплате, по-

лучится не меньше двухсот долларов в год.

— А что же пускает его в ход? — спросила Рита.

— Барабан на столбе. На барабане имеется механизм, рассчитанный на изменения радиуса. Вычислений тут было немало, это верно. Наматываясь вокруг барабана и постепенно сокращаясь, специальный трос подтягивает трактор к центру.

— Но даже у мелких фермеров будет много возражений против внедрения этой системы, — заметил Гэлхасс.

Дик утвердительно кивнул головой.

— Это верно, — ответил он. — Я записываю все возражения и даже распределил их по рубрикам — их больше сорока. По вопросу о самом механизме — еще больше. Даже если идея удачна, все же немало времени уйдет на то, чтобы ее усовершенствовать и применить на практике.

Внимание Грэхема разрывалось между кружащимся по спирали трактором и Паолой Форрест, сидящей верхом на своей лошади. В этот день она впервые села на Лань, объезженную для нее Хеннесси. Грэхем тихонько улыбнулся, втайне восхищаясь женским чутьем Паолы. Придумала ли она специально костюм именно для этой кобылки или же умело подобрала себе самый

подходящий из всех, но результат получился восхитительный.

День был жаркий, и вместо амазонки она надела небелёную полотняную блузу с белым отложным воротничком. Короткая юбка, похожая по фасону на юбку амазонки, свисала до колен, а от колен до очаровательных коричневых сапожек со шпорами ногу плотно облегали узкие мужские верховые брюки. И юбка, и брюки были бархатные, бурого цвета. На руках краги, белоснежные, как и воротник. Голова не покрыта, волосы зачесаны туго и низко над ушами и собраны на затылке.

— Не пойму, как вам удается сохранить такой цвет кожи, когда вы так беспечно подставляете себя солнцу, — невольно вырвалось у Грэхема.

— Я этого и не делаю вовсе, — улыбнулась она, сверкнув ослепительными зубами. — То есть я хочу сказать, что очень редко подставляю лицо солнцу, разве несколько раз в году. Мне очень нравится, когда немного выгорают волосы, но сильно загореть боюсь.

Кобыла зашалила, и от легкого порыва ветра у Паолы несколько приподнялась юбка, приоткрыв колено, плотно обтянутое брюками. Снова Грэхему привиделась белая округлость колена,

прижатого к выпуклым мышцам плавающего Горного Духа. И он тут же увидел, как крепко прижималось это колено к английскому седлу из светлой кожи под цвет лошади и костюма всадницы.

Трактор испортился, и механики засуетились над ним тут же, посреди частично уже вспаханного поля, а все общество под предводительством Паолы, оставив Дика с его изобретением, по дороге к бассейну отправилось осматривать скотные дворы. Заведующий свиноводством Креллин показал им Леди Айлтон и ее необыкновенно жирное потомство, целых одиннадцать поросят. Она заслужила немало чистосердечных похвал, а сам мистер Креллин умиленно воскликнул раза четыре:

— И ни одного неудачного среди них, ни одного!

Они осмотрели множество других чудесных племенных свиней, беркширских, дюрок-джерсейских и иных пород, пока не устали и не перешли к новорожденным ягнятам и овечкам. Паола заранее предупредила по телефону заведующих о том, что едут гости. Мистер Мэнсо оказался на месте, чтобы показать им громадного быка Короля Поло и весь его гарем, а также дру-

гие гаремы из семейств быков, лишь немногим уступавших Королю Поло и по великолепию, и по родословной. Паркмен, ведающий джерсейским скотом, выстроившись вместе со своими помощниками, выставил, как на парад, Сенсационного Селезня, Золотое Веселье, Оксфордского Кандидата, Склочного Мальчика, Королевского Фонтана, всех премированных основателей и потомков благородных родов, знаменитых своими первоклассными жирами, а также их подруг, тоже известных на рынках своими голубыми лентами и голубой кровью джерсейских матрон, — Гордость Ольги, Королеву Роз, Герти Мейлендскую.

Мистер Менденхолл с гордостью вывел целый табун мощных жеребцов во главе с самым великолепным из них Горным Духом и множество кобыл во главе с Принцессой Фозрингтон, известной своим серебристым ржанием. Он даже послал за старой Олден Бесси, матерью Принцессы, теперь выполнявшей только легкие работы.

К четырем часам Доналд Уэйр, равнодушный к предстоящим подвигам пловцов, вернулся в Большой дом в одном из автомобилей, а мистер Гэлхасс остался, чтобы как следует рассмотреть породистых лошадей с мистером Менденхоллом, остальные же подъехали к бассейну, где встре-

тили уже поджидавшего их Дика, и дамы тотчас затребовали обещанную им новую песню.

— Что она новая, не скажешь, — уточнил Дик, и его серые глаза лукаво блеснули, — и она вовсе не моя! В Японии ее пели, когда меня еще на свете не было, я не сомневаюсь, что еще задолго до того, как Колумб открыл Америку. К тому же это дуэт — с состязанием и с фантами. Я вас научу. Вы садитесь сюда, вот так. Паола споет ее со мной, я ей покажу; а вы все садитесь кругом.

Паола, как была в костюме для верховой езды, села в центре круга лицом к мужу, а все общество расположилось вокруг. Следя за его движениями, в такт с ним, она сперва ударила себя ладонями по коленям, хлопнула ладонью о ладонь, потом обеими ладонями о его ладони, как играют с маленькими детьми. Тут же он спел и песню, очень коротенькую. Она ее тотчас подхватила и вторила ему, подражая восточной интонации. Мотив был типично восточный, монотонный, и сначала довольно медлительный, но с захватывающим ритмом, постепенно ускоряющимся и очень увлекательным.

Последний слог выкрикивался быстро, стремительно, октавой выше остальной песни. И в ту же секунду Паола и Дик быстро как бы выбрасывали

друг другу навстречу руки, или раскрытыми, или сжатые в кулак. Игра заключалась в том, чтобы руки Паолы повторили в ту же секунду жест Дика. В первый раз она угадала, и руки обоих оказались сжатыми в кулак. Он снял шляпу и бросил ее на колени Льют.

— Мой фант! — пояснил он. — Давай еще, Паола.

Снова они запели и снова захлопали в ладоши:

Чонг-Кина, Чонг-Кина,
Чонг-Чонг, Кина-Кина,
Иокогама, Нагасаки,
Кобемаро-Хой!!!

На этот раз при восклицании «Хой» ее руки оказались сжатыми в кулак, у него они были раскрыты.

— Фант! Фант! — закричали барышни. Паола озабоченно осмотрела свой наряд, как бы спрашивая: «Что же мне дать?»

— Шпильку, — и черепаховая шпилька полетела на колени Льют за шляпой Дика.

— Да что же это! — воскликнула она, оставшись без единой шпильки, не угадав семь раз подряд, как Дик сложит руки. — Не понимаю, отчего я такая неловкая и недогадливая. Ты, Дик, слишком

проворен, никогда я не могу перехитрить тебя.

Снова они запели песню, она проиграла и, к великому огорчению миссис Тюлли, громко окликнувшей ее по имени, отдала в виде фанта шпору и грозилась отдать и сапожки, если проиграет и другую шпору. Но тут ей повезло, Дику пришлось отдать ручные часы и обе шпоры; потом она, в свою очередь, проиграла свои часы на ремешке и вторую шпору.

Они снова затянули песню, несмотря на увещевания миссис Тюлли:

— Паола, брось! Дик, как тебе не стыдно!

Но Дик, издав торжествующее «Хой!», снова выиграл, и Паола, при общем хохоте, сняла с себя один из своих сапожек и бросила его в кучку вещей, все выраставшую на коленях Льют.

— Ничего, тетя Марта, — успокаивала Паола миссис Тюлли. — Мистера Уэйра нет, а он единственный, кого это могло шокировать. Ну, давай, Дик! Не можешь же ты все время выигрывать!

Припев, выполняемый ими сначала медленно, постепенно ускорялся, так что теперь они попросту быстро-быстро, почти проглатывая первые строчки, спешили к концу, и хлопанье ладоней производило впечатление неумолкавшей трещотки. От движения и возбуждения смеющееся

лицо Паолы зарделось ровным ярким румянцем.

Ивэн Грэхем, в роли молчаливого зрителя, втайне негодовал и страдал. Он знал эту игру в «Джонг-Кина» в исполнении гейш в чайных Ниппона, и, несмотря на то что привык к простым нравам Большого дома Форрестов, его раздражало, что Паола участвует в такой игре. Ему в эту минуту и в голову не приходило, что будь на ее месте Льют, Эрнестина или Рита, он просто с любопытством выжидал бы, до чего дойдет азарт игроков. Только впоследствии он понял, что все это так коробило его и так глубоко затронуло только потому, что играла именно Паола и что, следовательно, она уже теперь занимала в его мыслях больше места, чем он думал. Он сознавал только одно: он начинает злиться и ему стоит труда воздерживаться и не высказывать возмущения вслух.

Тем временем к куче фантов прибавились еще папиросница и спичечница Дика и второй сапожок, пояс, брошка и обручальное кольцо Паолы. Лицо миссис Тюлли было полно стоической покорности, но она уже молчала.

Паола смеялась, и Грэхем слышал, как Эрнестина, смеясь, шепнула Берту:

— Я не представляю, что она может еще от-

дать.

— Вы же ее знаете, — услышал он ответ Берта, — если она разойдется, то не остановится, а разошлась она, по-видимому, не на шутку.

— Хой! — Дик и Паола одновременно крикнули, выбрасывая руки.

Грэхем видел, что она тщетно старается найти еще какой-нибудь фант.

— Ну давай, леди Годива, — приказал Дик. — Ты нам и пела, и плясала. Теперь придется расплачиваться.

«Что он, дурак? — подумал Грэхем. — И с такой женой!»

— Что же, — вздохнула Паола, перебирая пальцами пуговицы своего костюма, — надо так надо.

Кипя все большим негодованием, Грэхем отвернулся и больше не смотрел. Наступила пауза, и он понимал, догадывался, что все общество напряженно выжидает, что будет дальше. Вдруг Эрнестина взвизгнула от смеха, раздался дружный взрыв хохота, Берт крикнул:

— Это все было заранее подготовлено!

Грэхем быстро обернулся. Длинная блузка маленькой хозяйки спала с нее, и она осталась в купальном костюме. Было совершенно ясно, что она специально надела его.

— Ну, Льют, теперь твоя очередь, — предложил Дик.

Но Льют к игре не готовилась; она покраснела и увела дам одеваться в купальни.

Грэхем снова увидел, как Паола, легко добежав до площадки для ныряния в сорок футов высотой, нырнула ласточкой в бассейн; он слышал восхищенный возглас Берта и, все еще огорченный шуткой, так некстати его покоробившей, задумался над этой удивительной женщиной, «маленькой хозяйкой» Большого дома, и над тем, в чем ее очарование. Нырнув в бассейн и поплыв под водой, он широко раскрытыми глазами всматривался в отмели. Он вдруг осознал, что в сущности ничего о ней не знает. Она — жена Дика Форреста. Вот все, что ему известно. Кто ее родители, какое у нее прошлое, как и где она жила? Эрнестина говорила ему, что она и Льют — сводные сестры Паолы. Только этот единственный факт и был известен. Дно становилось все светлее, и он сообразил, что доплыл до конца бассейна. Увидев ноги Дика и Берта, очевидно, сплетенные в борьбе, Грэхем отвернулся, не выходя из воды, и проплыл назад несколько футов.

А вот еще эта миссис Тюлли, которую Паола называет «тетей Мартой»! Настоящая ли она ее

тетка или она ее так просто зовет? Может быть, тетя Марта сестра матери Эрнестины и Льют? Он выплыл из воды, и от него тотчас потребовали участия в игре в кошки-мышки. В течение целого часа он не раз любовался ловкостью, легкостью и гибкостью Паолы, успешно выбегающей из круга. Наконец, все устали и, уже задыхаясь, побежали вдоль бассейна и выползли отдохнуть к миссис Тюлли.

Тут пошли новые развлечения; Паола начала убеждать миссис Тюлли в совершенно невероятных вещах.

— Послушайте, тетя Марта, не должны же вы отговаривать нас потому только, что сами плавать не научились. Я настоящий пловец, и вот я вас уверяю, что могу нырнуть в бассейн и остаться под водой целых десять минут.

— Глупости, дитя мое, — улыбнулась миссис Тюлли. — Когда твой отец был еще молод, гораздо моложе, чем ты сейчас, он мог оставаться под водой дольше всех, а я знаю отлично, что его рекорд был три минуты сорок секунд, и знаю я это потому, что сама держала часы в руках и отсчитывала минуты, когда он побил Гарри Селби.

— Что ж, и я знаю, что мой отец недурно плавал в свое время, — хвастнула Паола, — но теперь

времена переменились. Будь он вот сейчас здесь, во всем своем молодом великолепии, я бы все равно его победила в подводном плавании. Я могу оставаться под водой десять минут. И останусь! Вы держите часы, тетя Марта, и следите за минутами. Да ведь это все равно, что…

— Застрелить рыбу в бочке, — закончил за нее Дик.

Паола поднялась на площадку.

— Начните считать, когда я буду в воздухе, — сказала она.

— Сделай мертвую петлю, — крикнул ей Дик.

Она кивнула, улыбнулась и стала в позу, будто стараясь как можно больше набрать в легкие воздуха. Грэхем смотрел на нее с восторгом. Сам он нырял отлично, но редко видел, чтобы непрофессионалка делала мертвую петлю. Ее мокрый костюм из голубого и зеленого шелка охватывал ее туго, отчетливо обрисовывая пропорционально сложенное тело. Она сделала глубокий вздох, как бы накачивая последний кубический дюйм воздуха, и, выпрямившись, вытянув ноги, твердо ступила на край трамплина. Доска подбросила ее вверх. Она свернулась в комочек, сделав в воздухе полный круг, сразу приняла классическую для ныряния позу и, чуть затронув поверхность

воды, скрылась из глаз.

— От лезвия толедского кинжала было бы больше шума, — заключил Грэхем.

— Как бы я хотела так нырять! — с восхищением воскликнула Эрнестина. — Но я никогда не сумею. Дик говорит, что дело в ритме, и вот почему Паола ныряет так прекрасно. У нее прекрасно развито чувство ритма.

— И она умеет отдавать себя движению, — прибавил Грэхем.

— Совершенно сознательно, — определил Дик.

— Напрячь все силы, чтобы дать себе отдохнуть, — согласился Грэхем. — Мне ни разу не приходилось видеть, чтобы даже профессионал делал мертвую петлю с таким мастерством.

— Я этим горжусь больше, чем она, — заявил Дик. — Я ведь обучал ее этому, хотя, сознаюсь, это было очень нетрудно. Она замечательно координирует свои движения, почти без всякого усилия. Прибавьте к этому чувство ритма. Ее первая же попытка была просто блестяща.

— Паола — женщина замечательная, — заявила миссис Тюлли, с гордостью перебегая глазами от часовой стрелки к гладкой поверхности бассейна. — Женщины никогда не умеют плавать так, как мужчины, а она умеет. Три минуты и сорок

секунд! Она побила отцовский рекорд!

— Но пяти минут, а тем более десяти она не выдержит, — заявил Дик с положительной уверенностью. — Грудь разорвется.

Прошло четыре минуты, и миссис Тюлли начала волноваться и тревожно всматриваться то в одно, то в другое лицо. Не посвященный в тайну, капитан Лестер выругался и нырнул в бассейн.

— Что-то с ней случилось, — заявила миссис Тюлли с нарочитым спокойствием, — она ушиблась, ныряя. Ищите же вы, мужчины!

Но Грэхем, Берт и Дик, встретившись под водой, весело усмехались, пожимая друг другу руки. Дик подал им знак, чтобы они следовали за ним, и провел их через темную воду в пещеру, где, все еще ступая по воде, они застали Паолу и весело зашептались.

— Мы просто зашли, чтобы убедиться, что все в порядке, — пояснил Дик. — А теперь надо довести игру до конца… Идите вперед, Берт, а я за Ивэном.

И так, гуськом, они прошли к затененной части бассейна и вышли на поверхность с другой стороны. Миссие Тюлли уже встала и подошла к самому краю бассейна.

— Если бы я только на минуту подумала, что это

снова какой-нибудь ваш фокус, Дик Форрест… — начала она.

Но Дик, не обращая на нее ни малейшего внимания, неестественно спокойно стал давать громкие директивы.

— За это надо взяться всерьез, господа. Вы, Берт, и вы, Ивэн, идите со мной. Мы начнем с этого конца, надо держаться в пяти футах друг от друга и обыскать все дно. А потом обыщем его поперек.

— Не трудитесь, господа, — крикнула им миссис Тюлли, начиная смеяться. — Что касается тебя, Дик, то выходи сейчас же, я должна тебя отодрать за уши.

— Вы присмотрите за ней, девочки, — крикнул Дик. — У нее истерика.

— Пока еще нет, но будет, — продолжала она хохотать.

— К черту, сударыня, тут не до смеха! — прогремел капитан Лестер, собираясь вновь исследовать дно.

— Тетя Марта, неужели вы догадались? — спросил Дик, когда доблестный моряк снова скрылся под водой.

Миссис Тюлли кивнула.

— Но продолжай, Дик, одна жертва у тебя все-таки осталась. Мать Элси Коглан «выдала» мне

этот фокус еще в Гонолулу в прошлом году.

И только по истечении одиннадцати минут на поверхности показалось улыбающееся лицо Паолы. Симулируя полное изнеможение, она выползла очень медленно и, задыхаясь, упала возле тетки. Капитан Лестер, действительно измученный усердными поисками, пристально посмотрел на Паолу, затем подошел к соседнему столбу и трижды ударился головой о бетон.

— Боюсь, что десяти минут не прошло, — сказала Паола. — Но ведь только на немного меньше, правда, тетя Марта?

— Нисколько не меньше, — ответила миссис Тюлли, — если ты интересуешься моим мнением. Я вообще удивляюсь, что ты промокла… Ну, дыши же спокойно, дитя мое. Довольно актерства. Помню, когда я еще была совсем молодой, то, путешествуя по Индии, я видела целую школу факиров, они ныряли в глубокие колодцы и оставались под водой гораздо дольше тебя, дитя мое, гораздо дольше.

— Ты знала! — набросилась на нее Паола.

— Но ты не знала, что я знаю, — возразила тетка, — и поэтому твое поведение преступно. Имея в виду женщину моих лет, с моим сердцем…

— И с твоей ясной-преясной головой, — доба-

вила Паола.

— Я за два яблока отодрала бы тебя за уши.

— А я за одно расцеловала бы тебя, хотя все-таки промокла, — засмеялась Паола в ответ. — Но как бы то ни было, капитана Лестера мы все же одурачили… Ведь, правда, капитан?

— Со мной вы больше не разговаривайте, — мрачно пробормотал храбрый моряк. — Я занят, я обдумываю свою месть… Что касается вас, мистер Дик Форрест, я или взорву ваше молочное хозяйство, или подрежу подколенные жилки у Горного Духа. А может быть, я сделаю и то и другое, а пока что собираюсь побить вашу кобылку.

Дик на своей Фурии, а Паола на Лани ехали домой к Большому дому рядом.

— Как тебе нравится Грэхем? — спросил он.

— Он очень милый, — ответила она. — Это человек твоего типа, Дик. Он универсален, как и ты, и на нем, как и на тебе, лежит печать громадного опыта, всех семи морей и всех книг, и всего прочего. К тому же он разбирается в искусстве и вообще имеет понятие обо всем. И веселиться умеет. Ты заметил, как он улыбается? Как заразительно? Невольно хочется улыбнуться ему в ответ.

— А вместе с тем жизнь оставила на нем и серьезные следы, это и по лицу видно, — добавил

Дик.

— Правда, правда, — в уголках глаз, когда он улыбается, видны морщинки. В них чувствуется не усталость, а, скорее, вечные старые вопросы: почему? к чему? стоит ли? в чем тут дело?

Замыкая кавалькаду, ехали Эрнестина и Грэхем, и она говорила:

— Дик глубок. Вы его недостаточно знаете. Он поразительно умен и глубок! Я его знаю, хотя очень немного! Паола его хорошо знает. Но вообще, мало кто его понимает, о нем судят поверхностно. Он настоящий философ, а владеет собой, как стоик или англичанин, и может провести весь мир.

Под дубами у коновязи, где собралось спешившееся общество, Паола умирала со смеху:

— Продолжай, продолжай, еще, еще.

— Она меня обвиняет в том, что у меня в моем словаре для имен наших боев по моей системе уже места нет, — пояснил он.

— А он мне тут же назвал не менее сорока новых имен... Продолжай же, Дик, еще, еще.

— Ну, тогда у нас будут: О-Плюнь и О-Дунь, О-Пей и О-Лей, О-Вей, О-Кис и О-Брысь, О-Пинг и О-Понг, О-Мост, О-Нет и О-Да.

И Дик зазвенел шпорами, направляясь к дому

и напевая имена из своего импровизированного словаря.

Глава XVII

Всю следующую неделю Грэхема мучили досада и неудовлетворенность; он не находил себе места. С одной стороны, он твердо знал, что должен уехать из Большого дома с первым же поездом, а с другой — хотел видеть Паолу все больше и больше. Кончалось же тем, что он не уезжал, а с ней встречался меньше, чем в первые дни после приезда.

За все пять дней, пока гостил молодой скрипач, он занимал почти все время Паолы. Грэхем часто заходил в музыкальную комнату и угрюмо слушал их игру; они же оба не обращали на него никакого внимания. Они совершенно забывали о его присутствии, раскрасневшиеся и поглощенные общей страстью к музыке, или же, вытирая разгоряченные лица, весело болтали и дружески смеялись. Грэхему было совершенно ясно, что молодой скрипач боготворил ее с почти болезненной пылкостью; но ему было больно не от этого, а от того благоговейного восторга, с которым она иногда смотрела на Уэйра, когда тот был в ударе. Напрасно Грэхем старался убедить себя, что с ее стороны нет ничего, кроме чисто

духовного увлечения, кроме восторженной оценки подлинного искусства. Все же его мужское самолюбие страдало так, что ему часто было невмоготу засиживаться в музыкальной комнате.

Как-то раз, зайдя туда в момент, когда, сыграв песню Шумана, Уэйр вышел, Грэхем застал Паолу еще за роялем, с выражением восторженной мечтательности на лице. Она взглянула на него, точно не узнавая, потом машинально встрепенулась, пробормотала что-то совершенно несвязное и вышла из комнаты. Грэхем почувствовал обиду и боль, хотя и старался убедить себя, что она просто замечталась, как артистка, переживая только что сыгранную песню. «Но женщины странные существа, — рассуждал он, — они способны на неожиданные и непонятные увлечения. Вполне возможно, что этот юноша своей музыкой увлек ее как женщину».

Тотчас же после отъезда Уэйра Паола Форрест почти перестала выходить из своего флигеля. Из разговора домашних Грэхем узнал, что это у нее в порядке вещей.

— Паола порой чувствует себя прекрасно и в одиночестве, — пояснила Эрнестина, — и нередко уединяется на довольно продолжительное время. Единственный, кто ее тогда видит, — это Дик.

— Для остальных это, однако, не очень-то лестно, — улыбнулся Грэхем.

— Но зато, когда она возвращается к нам, с ней так весело, — ответила Эрнестина.

Прилив гостей Большого дома понемногу стихал. Приехал еще кое-кто из друзей, были также и деловые визиты. Но больше разъезжались. О-Пой со своей китайской командой управлял Большим домом так бесшумно и безупречно, что хозяевам отнюдь не приходилось занимать гостей. Гости занимали себя сами. Дик редко показывался до завтрака. А Паола продолжала жить в уединении и не выходила раньше обеда.

— Лечение отдыхом, — сказал как-то раз утром Дик Грэхему, предлагая ему бокс, поединок на рапирах или на ножах. — Теперь самое время приняться за вашу книгу, — сказал он ему, остановившись на минутку передохнуть во время борьбы. — Я — только один из многих, с нетерпением ждущих ее появления, а я, правда, жду с нетерпением. Я вчера получил письмо от Хэвли, он тоже об этом вспоминает и спрашивает, много ли у вас написано.

Грэхем, сидя у себя в башне, привел в порядок свои записи и фотографии, составил план книги и погрузился в работу над первой главой. Это так

увлекло его, что зарождающийся в нем интерес к Паоле, может быть, и угас бы, если бы не встречи с ней по вечерам за обедом. К тому же, пока Эрнестина и Льют не уехали в Санта-Барбара, купание днем и катание верхом не прекращались, как и автомобильные поездки на миримарские пастбища и к вершинам Ансельмских гор. Ездили иногда в сопровождении Дика осматривать его землечерпалки в бассейне реки Сакраменто или большую плотину на Малом Койоте, а как-то раз посетили отведенный ему для колонии участок в пять тысяч акров, сдаваемый в аренду по двадцать акров, где Дик брался обеспечить существование двумстам пятидесяти фермерским семействам.

Грэхем знал, что Паола часто отправляется в далекие одинокие прогулки верхом и не удивился, застав ее спешивающейся у коновязи с Лани.

— А вы не боитесь, что эта кобыла разучится бывать в обществе? — пошутил он.

Паола засмеялась и покачала головой.

— В таком случае, — заявил он храбро, — дайте мне это испытать.

— У вас есть Льют и Эрнестина, и Берт и другие.

— Для меня места здесь новые, — настаивал

он. — А новые места всегда лучше всего узнаешь с теми, кто их знает. Я уже на многое смотрел глазами Льют и Эрнестины и всей компании. Но многого еще не видел вовсе, такого, что можно увидеть только вашими глазами.

— Приятная теория, — ответила она уклончиво. — Вы хотите смотреть пейзажи, как географический вампир?

— Но без дурных последствий, которых можно ожидать от вампира, — быстро заверил он.

Она ответила не сразу. Она посмотрела на него честно и прямо, и он понял, что она взвешивает и обдумывает каждое слово.

— В этом я не уверена, — сказала она наконец, и его воображение сразу же заиграло, отыскивая внутренний смысл ее слов.

— Но мы так много могли бы сказать друг другу, — снова взмолился он. — Столько такого, что мы… должны сказать.

— Этого я и опасаюсь, — ответила она совершенно спокойно и снова посмотрела на него так же прямо и открыто.

«Опасается!» — эта мысль обожгла его, но он не успел ответить, а она, засмеявшись холодно и вызывающе, вошла в дом.

А Большой дом все пустел. Тетка Паолы, миссис

Тюлли, уехала, пробыв всего несколько дней, к великому разочарованию Грэхема, надеявшегося узнать у нее побольше о Паоле. Поговаривали, что она вернется и останется надолго, но та заявила, что сейчас, после своего путешествия по Европе, ей нужно объехать очень многих, и только позднее она сможет побыть здесь вволю.

Критику О'Хэю пришлось погостить несколько дней, чтобы оправиться от поражения, нанесенного ему философами. Вся затея была придумана Диком. Сражение началось рано вечером. Брошенное как бы невзначай замечание Эрнестины послужило Аарону Хэнкоку поводом бросить первую бомбу в самую гущу сокровеннейших убеждений О'Хэя. Дар-Хиал, верный и преданный союзник, напал на О'Хэя с фланга со своей цинической теорией музыки и захватил О'Хэя с тыла. Бой ожесточенно продолжался, пока горячий ирландец, вне себя от нападок этих искусных спорщиков, с искренним облегчением не последовал любезному приглашению Терренса Мак-Фейна успокоиться и отдохнуть в бильярдной, где под умиротворяющим действием искусно смешанных напитков и вдали от всяких варваров они по душам поговорили бы о настоящей музыке. А в два часа ночи совершенно

трезвый и твердо ступающий Терренс довел до кровати дико вращающего глазами и безнадежно опьяневшего О'Хэя.

— Не огорчайтесь, — утешала его Эрнестина впоследствии, а блеснувший в ее глазах огонек выдал ее участие в заговоре, — этого следовало ожидать. Эти болтуны-философы и святого доведут до пьянства.

— Я думал, что в руках Терренса вы будете в полной безопасности, — коварно извинялся Дик. — Вы оба — ирландцы! Но упустил из виду, что он в этом отношении прошел огонь и воду. Что бы вы думали: проводив вас, он зашел ко мне поболтать, и хоть бы что! Мимоходом упомянул, правда, что было немного выпито, но мне и не снилось, что он привел вас в… такое… состояние.

После отъезда Эрнестины и Льют в Санта-Барбара Берт Уэйнрайт с сестрой вдруг тоже вспомнили свой собственный давно покинутый очаг в Сакраменто. В тот же день приехало двое художников, пользовавшихся особым покровительством Паолы. Но их не было видно, целыми днями они бродили по горам или катались в небольшом экипаже, а то выкуривали одну трубку за другой в бильярдной.

Жизнь в Большом доме шла своим чередом

легко и свободно. Дик работал. Ивэн также. Паола оставалась в своем уединении. Мудрецы из арбутусовой рощи часто приходили пообедать и поговорить; ораторствовали они целый вечер, если только Паола не играла им на рояле. По-прежнему из Сакраменто или Уикенберга и других городов, расположенных в долине, неожиданно наезжали в автомобилях большие компании, но врасплох О-Чая и его помощника они не заставали. Грэхем видел, как через каких-нибудь двадцать минут по приезде двадцати нежданных гостей подавался прекрасный обед. Бывали и такие вечера, хотя редко, когда садились за стол втроем: Грэхем с Паолой и Диком, а после обеда мужчины, поболтав часок, расходились, а Паола, поиграв тихонько на рояле, успевала исчезнуть еще раньше.

Но в один лунный вечер, когда гостей нагрянуло больше обыкновенного и все расселись по карточным столикам, случилось, что Грэхему партнеров не хватило. Паола сидела за роялем. Он подошел к ней и уловил, что глаза ее радостно вспыхнули, но только на мгновение. От него не ускользнуло, что она сделала легкое движение, как бы собираясь встать ему навстречу, но он тут же обратил внимание на полное самообладание,

с которым она передумала и осталась спокойно сидеть на месте.

Она моментально пришла в себя и была такой же, как всегда, хотя — пришло ему в голову, пока он с ней говорил и напевал с ней ее песни, — что значит, как всегда? Он, в сущности, так мало ее знал! Он пробовал с нею то один, то другой романс, сдерживал свой высокий баритон в угоду ее легкому сопрано, и пение у них пошло так хорошо, что с другого конца комнаты игравшие в карты кричали «бис».

— Да, — сказала она ему в перерыве между двумя романсами, — меня прямо тоска берет, так хочется опять побродить с Диком по белу свету. Если бы можно, хоть завтра! Но Дику пока нельзя. Знаете, что он сейчас надумал? Будто у него мало дела, он намерен революционизировать весь рынок, по крайней мере, калифорнийский и тихоокеанский, и заставить покупателей покупать у нас здесь, в имении.

— Да это уже делается, — сказал Грэхем, — я в первый же день встретил здесь покупателя из Айдахо.

— Это все не то, Дик имеет в виду сделать это основательно, чтобы они приезжали en masse в определенное время; тут дело не просто в

аукционе, хотя он говорит, что и это будет для приманки. А главное — трехдневная ежегодная ярмарка, где он будет единственным продавцом. Он каждое утро проводит теперь по нескольку часов, совещаясь с мистером Эгером и мистером Питтсом. Эгер — его агент по оптовой торговле, а Питтс отвечает за выставку.

Она вздохнула и провела пальцами по клавишам.

— Если бы только мы могли уехать — в Тимбукту, Мокпхо или на Иерихон.

— Никогда не поверю, что вы были в Мокпхо, — засмеялся Грэхем.

Она кивнула.

— Как там говорят: «Дайте мне перекрестить мое сердце, умереть мне». Ведь мы были в Мокпхо уже давно, чуть ли не во время нашего медового месяца, на нашей яхте.

И Грэхем стал вспоминать с нею Мокпхо, силясь сообразить, не умышленно ли она в разговоре постоянно упоминает о муже.

— А мне казалось, что для вас здесь прямо рай!

— Конечно! Еще бы! — стала она его уверять с несколько излишним жаром. — Но не знаю, что на меня нашло последнее время. Меня просто что-то толкает в путь. Это весенняя лихорад-

ка. Боги краснокожих и их влияние… Если бы только Дик не засиживался до такой степени за своей работой и не связывал бы себя всеми этими проектами! Вы не поверите, за все годы, что мы женаты, единственной моей серьезной соперницей была земля. У него душа верная, а это имение — его первая любовь. Он все это надумал и пустил в ход до того, как со мной встретился, он тогда и не знал о моем существовании.

— Давайте споем это, — предложил вдруг Грэхем, поставив перед ней какие-то новые ноты.

— Да ведь это «По следам цыган», — стала она отказываться. — Это меня еще больше расстроит. — Но тут же запела:

За паттераном цыган плывем,
Туда, где солнце заходит,
Легкий челнок — и мы вдвоем —
Нас в далекое море уводит…

— А что значит «паттеран цыган»? — остановилась она. — Я раньше думала, что это значит цыганское наречие, и мне всегда казалось странным, что значит «идти за каким-то языком», будто это какая-то филологическая экскурсия.

— Если хотите, это действительно наречие, — ответил он, — но смысл слов всегда один и тот же:

«по этому пути я проходил». Паттеран делается из двух веточек, определенным образом скрепленных крест-накрест и брошенных по дороге, где проходили цыгане. Но они обязательно должны быть сделаны из разных деревьев или кустов. Так, например, здесь этот «паттеран» можно бы сделать из мансаниты и арбутуса, из дуба и сосны, из мамонтового дерева и лаврового, из ольхи и сирени. Это — знак, его цыганка подает цыгану, возлюбленный — возлюбленной.

И он запел:

И снова назад, по тому же пути,

Простившись с далями морскими,

По заветным следам, не блуждая, иди…

И пройдешь вселенную с ними…

Она кивнула головой в знак того, что понимает, несколько мгновений тревожно смотрела на играющих и, очнувшись от минутной рассеянности, быстро заговорила:

— Одному Богу известно, сколько во многих из нас цыганской крови. У меня ее больше, чем нужно. Дик, несмотря на свои буколические наклонности, прирожденный цыган. Из того, что он рассказывал о вас, видно, что у вас это есть.

— В сущности, белая раса и есть подлинно цыганская раса: мы — короли цыган, — развил ее мысль Грэхем.

И пока они пели бесшабашные слова на удалой дразнящий мотив, он смотрел на нее и поражался, удивлялся ей и удивлялся себе. Не место ему тут, возле этой женщины, в доме ее мужа. А все же он тут, хотя ему давно уже следовало бы уехать. Он уже не так молод, а сейчас оказалось, что он только познает себя.

Это — волшебство, безумие, он должен сейчас же бежать отсюда. Он и прежде, при встречах с другими женщинами, испытывал ощущение колдовства и безумия и умел вырываться. «Что же? Неужели я размяк с годами? — спрашивал он себя. — Или такого безумия я не знал? Ведь это означает предательство по отношению к дорогим воспоминаниям, глубоким чувствам, так ревностно до сих пор охраняемым».

И все же он не бежал. Он стоял рядом с ней, смотрел на золотисто-бронзовый венец ее волос, на очаровательные завитки над ушами и пел с ней песню, обжигающую его, как огонь, песню, которая, конечно, была связана с ним и с ней, какой она была сейчас, когда переживала то, что нечаянно выдала ему.

«Она — чародейка, колдунья, ее голос выдает всю силу ее колдовства», — подумал он, прислушиваясь к ее хватающему за душу голосу, так не похожему на голоса других женщин, голосу единственному. И он знал, уже без всякого сомнения, что и ее, пусть слегка, коснулось охватившее его безумие, что она чувствует то же, что и он, что они друг другу близки.

Голоса их сливались в одном общем трепете, и сознание этого пьянило его; голос его незаметно усилился, а в последних строфах в нем послышалась безумная смелость; они пели:

Дикий сокол живет для седых облаков,
А олень для простора равнины;
И так создано было во веки веков,
Что для женщины — сердце мужчины.
Пусть в забытом шатре догорают огни,
Ведь для женщины — сердце мужчины;
Завтра счастье нас ждет на краю земли,
И мы будем земли властелины.

Когда замерли последние звуки, он взглянул на нее, ожидая, не посмотрит ли и она на него,

но она просидела с минуту неподвижно, опустив глаза на клавиши. Когда же она обернулась, то на него уже глядело лицо маленькой хозяйки Большого дома, лукаво улыбающееся, с шаловливо смеющимися глазами.

— Пойдемте, — услышал он, — подразним Дика, он проигрывает! Я никогда не видела, чтобы он выходил из себя за картами, но если ему долго не везет, то он огорчается до смешного. А азарт он обожает, — продолжала она, направляясь к столу. — Для него это один из способов отдохнуть. Это для него развлечение, а раза два в год, за хорошей партией поккера, он готов просидеть хоть всю ночь и играть, пока не поднимется солнце.

Глава XVIII

После вечера, когда Паола спела «По следам цыган», она вышла из своего уединения. Зато Грэхему стало невыносимо трудно продолжать работать у себя в башне, куда по целым утрам из ее флигеля доносились отрывки песен и оперных арий или смех с крытой веранды, и наставления собакам и, наконец, часами звуки рояля из музыкальной комнаты. Но Грэхем решил брать пример с Дика и посвящал утренние часы работе, так что с Паолой он редко встречался раньше второго завтрака.

Она заявила, что бессонница миновала и что она готова на все развлечения и экскурсии, какие только придумает Дик. К тому же она пригрозила ему, что если он не пойдет ей навстречу и сам не будет участвовать в развлечениях, то она созовет полный дом гостей и покажет ему, что значит веселиться. Как раз в это время тетя Марта — миссис Тюлли вернулась на несколько дней, и Паола снова принялась объезжать Дадди и Фадди в своем высоком кабриолете. Дадди и Фадди были далеко не смирные рысаки, но миссис Тюлли, несмотря на свой почтенный возраст и полноту,

ничего не боялась, когда правила Паола.

— Так я из всех женщин на свете доверяю только одной Паоле, — говорила она Грэхему. — Она единственная, с кем можно ездить. Она лошадей знает в совершенстве. Еще ребенком она страстно любила их. Удивляюсь, как это она не сделалась цирковой наездницей!

Грэхем часто болтал с ней и очень многое от нее узнал. Миссис Тюлли не могла наговориться об отце Паолы, Филиппе Дестене. Он был намного старше ее, и в детстве она видела в нем какого-то сказочного принца. У него была широкая, царственная натура; все, что он делал, заурядным людям казалось сумасбродством. Он постоянно попадал в самые удивительные приключения и тут же совершал какие-нибудь необыкновенные рыцарские подвиги. Понятно, что с таким характером он сумел нажить себе целые состояния и так же легко спустить их в пору золотой горячки сорок девятого года. Он был родом из старинной семьи колонистов Новой Англии, но прадед его был француз, попавший туда после кораблекрушения и выросший среди моряков-хлебопашцев.

— У нас в каждом поколении французская кровь дает о себе знать, но только на одном из нас, не больше, — объясняла миссис Тюлли Гр-

эхему. — В своем поколении французом был Филипп, а теперь Паола унаследовала те же качества в полной мере. Хотя Льют и Эрнестина ее сестры, никому бы и в голову не пришло, что в них хоть капля общей крови. Вот почему Паола, вместо того чтобы поступить в цирк, неудержимо стремилась во Францию. Ее тянула старая кровь Дестенов.

Грэхема посвятили также и в события, происходившие во Франции. Филиппу Дестену к концу не повезло: он умер, когда колесо его фортуны покатилось вниз. Эрнестина и Льют были тогда еще совсем маленькими, и сестры Дестена охотно взяли их к себе на воспитание. Но Паола, доставшаяся миссис Тюлли, задала нелегкую задачу, «все из-за того француза».

— Ну, конечно, она настоящая дочь Новой Англии, — как бы защищала ее миссис Тюлли, — тверда, как скала. В вопросах чести, прямоты и верности на нее положиться можно вполне. Девочкой она ни за что не солгала бы, разве чтобы кого-нибудь выручить. Тут вся ее пуританская натура куда-то улетучивалась, и она лгала с такой же великолепной уверенностью, как, бывало, ее отец. Он был так же обаятелен, как и она, и так же смел. Подобно ей, он всегда готов был посме-

яться, та же живость! Но, помимо ее веселости, у него было какое-то особое мягкое добродушие, он всегда покорял себе сердца. Зато в тех редких случаях, когда это ему не удавалось, он наживал жесточайших врагов. Равнодушно мимо него не проходил никто. Общение с ним обязательно вызывало или любовь, или ненависть. В этом смысле Паола на него не похожа, вероятно, потому, что как женщина она не обладает способностью сражаться с ветряными мельницами; у нее нет ни одного врага во всем свете; ее все любят, разве какие-нибудь завистницы не могут простить ей такого замечательного мужа.

Грэхем слушал; тут же откуда-то из-под длинных сводов через открытое окно доносился голос Паолы, и в звуках его была затаенная страсть, которой он никогда впоследствии не мог забыть. Вдруг она расхохоталась, а миссис Тюлли улыбнулась Грэхему и закивала головой.

— Это смеется Филипп Дестен, — пробормотала она, — как заразителен смех Паолы! Каждый, услышав его, непременно тоже улыбнется! И Филипп точно так же смеялся. Паола всегда очень любила музыку, живопись и рисование, — продолжала миссис Тюлли. — Будучи еще совсем маленькой девочкой, она оставляла всюду кар-

тинки и фигурки, разрисованные на клочках бумаги, нацарапанные на деревяшках или вылепленные из глины и песка. Она любила все и всех, и ее все любили. Животных она не боялась никогда, а относилась к ним с каким-то особым почтением: это было ее врожденное благоговение перед прекрасным. Она готова была поклоняться герою, в котором ценила красоту или храбрость. И она никогда не перестанет благоговеть перед красотой того, что любит, будь то концертный рояль, прекрасная картина, красивая кобыла или чудесный пейзаж.

В Паоле пробудилось желание создавать прекрасное, творить самой. Но она долго не могла решить, на чем остановиться: на музыке или на живописи. В разгаре занятий музыкой под руководством лучших преподавателей в Бостоне она иногда не могла удержаться и проводила целые часы за рисованием. А от мольберта ее тянуло к скульптуре. И вот, при всей своей страсти ко всему прекрасному, преисполненная стремления к красоте, она впала в мучительные сомнения и колебания: в чем ее настоящее призвание, да есть ли у нее вообще талант? Я ей посоветовала хорошо отдохнуть и увезла на год за границу, и что же? У нее оказались великолепные спо-

собности к танцам! Но все-таки она постоянно возвращалась к музыке и к живописи. Нет, это было не легкомыслие. Ее беда была в том, что она очень талантлива…

— Ее таланты слишком разнообразны, — уточнил Грэхем.

— Это точнее, — согласилась миссис Тюлли, восторженно улыбаясь. — Но от талантливости до гениальности очень далеко, я до сих пор еще не могу сказать, есть ли в ней хоть искра гениальности. Нельзя не признать, что ничего крупного ни в одной области она не создала.

— Но ведь гениальное творение — она сама, — заметил Грэхем.

— В этом все дело, — согласилась миссис Тюлли все с той же восторженной улыбкой. — Она чудесная, совершенно необыкновенная женщина, нисколько не испорченная, такая непосредственная. А в конце концов, разве важно только создавать? Мне лично дороже любая ее сумасшедшая выходка — да, да, я уже слышала, как она плыла в бассейне на большом жеребце, — чем все ее картины, будь даже каждая из них произведение мастера. Но сначала мне трудно было понять ее. Дик часто ее называл вечной девочкой, но если бы вы знали, какой величавой

она может быть! Я бы скорее сказала, что никогда не видела такого взрослого ребенка. Ее встреча с Диком была величайшим для нее счастьем. Тут она впервые нашла себя. Вот как это случилось.

И миссис Тюлли рассказала, как они провели тот год в Европе, как Паола в Париже снова взялась за живопись, как она, наконец, пришла к убеждению, что успех достигается только путем борьбы и что теткины деньги ей просто помеха.

— И она настояла на своем, — вздохнула миссис Тюлли. — Она попросту прогнала меня, отправила меня домой. Согласившись принять лишь самое скудное месячное жалованье, она поселилась в Латинском квартале с двумя другими американками, совершенно самостоятельно. И вот тут она встретила Дика. И он был хорош! Вы никогда не отгадаете, чем он тогда занимался. Он содержал кабачок, не из этих модных, а настоящий студенческий, в своем роде очень изысканный, публика была избранная. Но они все были сумасшедшие. Дик, видите ли, тогда только что вернулся откуда-то издалека, с конца света, после очередного фантастического приключения, и теперь решил, как он выражался, что довольно пожил и что теперь пришло время подумать о том, что такое жизнь.

Паола меня туда раз повела. Они уже были тогда женихом и невестой — накануне порешили, и он уже сделал мне визит, и все такое… Отца его, Счастливчика Ричарда Форреста, я знавала и о сыне его слышала много. С точки зрения света, Паоле лучшей партии было не найти. Это был настоящий роман. Паола встречалась с ним, когда команда Калифорнийского университета во главе с ним победила команду Стэнфордского. А в мастерской, где она жила с двумя американками, они уже познакомились как следует. Она не знала, миллионер ли Дик или вынужден содержать кабачок оттого, что дела его плохи, но ей это было безразлично. Она всегда следовала зову своего сердца. Вы вообразите! Дик — недосягаемый Дик и Паола, которая за всю свою жизнь даже не флиртовала! Их, наверное, неудержимо повлекло друг к другу, ведь все решилось за одну неделю. Хотя Дик корректнейшим образом нанес мне визит, как будто они с моим мнением хоть сколько-нибудь считались!

Но вы послушайте, что это был за кабачок у Дика! Это был кабачок философов — маленький душный подвал в самом сердце Латинского квартала, и всего один только стол! Хороший кабачок! Но что за стол! Большой, круглый, из белых некра-

шеных досок, даже без клеенки, весь в винных пятнах от напитков, пролитых философами, — за столом их могло усаживаться человек тридцать. Женщины в него не допускались. Только для меня с Паолой сделали исключение.

Вы здесь встречались с Аароном Хэнкоком? Он был одним из философов и по сей день хвастается, что остался Дику должен по счету больше всех его клиентов. И они все там собирались, эти молодые сумасшедшие мыслители, и стучали кулаками по столу и философствовали на всех европейских языках. Дик всегда любил философов.

Но Паола испортила все удовольствие. Не успели они пожениться, как Дик снарядил свою шхуну, и мои молодые отплыли справлять медовый месяц в Гонконг.

— А кабачок закрыли, и философы остались без приюта и без диспутов! — заметил Грэхем.

Миссис Тюлли от души рассмеялась и покачала головой.

— Он обеспечил его капиталом, — сказала она, едва переводя дух и покачиваясь от смеха. — Или как-то частично, что ли, уж я не знаю, какое было соглашение. Только не прошло и месяца, как полиция закрыла его, приняв его за клуб анархистов.

* * *

Сколько ни слышал Грэхем о разносторонних интересах Паолы, он все же удивился, встретив ее как-то раз одну у окна, поглощенную тончайшим рукоделием.

— Люблю вышивать, — пояснила она, — самые дорогие вышивки в магазинах для меня ничто в сравнении с моей собственной работой, по моим собственным узорам. Дика это раздражало. Он — за целесообразность во всем и все говорил о пустой трате энергии и времени. Он считал, что рукоделие не для меня и что любая крестьянка за гроши сделает то же, что я. Но мне удалось убедить его в своей правоте.

Это все равно, что игра на рояле. Конечно, я за деньги могу купить лучшую музыку, но сесть за рояль и извлекать из него звуки своими собственными пальцами доставляет совершенно иную, более ощутимую радость. Тут все чудесно, и не имеет значения, следуешь ли за другими исполнителями или вкладываешь в музыкальное произведение что-то свое. Для души тут всегда радость.

Возьмите вот эту маленькую кайму из лилий на этой оборке — ничего подобного нет во всем ми-

ре. Идея моя, и только моя, и я одна наслаждаюсь, создавая форму и придавая идее жизнь. Конечно, в магазинах можно найти и более интересные идеи, и лучшее исполнение, но это не то. А это все мое! Это все я нашла и создала. Кто посмеет сказать, что вышивание не искусство?

Она умолкла, но ее смеющиеся глаза настойчиво подчеркивали вопрос.

— И кто посмеет сказать, — согласился Грэхем, — что заниматься украшением женщины не есть самое достойное и самое привлекательное искусство.

— Я прямо благоговею перед хорошей портнихой или хорошей модисткой, — воскликнула она совершенно серьезно. — Они настоящие художники и имеют, сказал бы Дик, большое значение для мировой экономики.

А другой раз, зайдя в библиотеку за какими-то справками об Андах, Грэхем натолкнулся на Паолу, грациозно склонившуюся над лежащим на большом столе огромным листом бумаги и заваленным увесистыми папками с архитектурными проектами. Она усердно чертила план бревенчатого дома, просторной избы для философов из арбутусовой рощи.

— Трудно, — вздохнула она. — Дик говорит, что

если строить, то надо строить на семерых. У нас их теперь четверо, но он решил, что их обязательно должно быть семеро. Он говорит, что не надо никаких душей и ванн, потому что слыханное ли дело, чтобы философы принимали ванны? И он совершенно серьезно предлагает построить семь печей и семь кухонь, потому что философы вечно ссорятся именно из-за таких предметов.

— И Вольтер, кажется, ссорился с каким-то королем из-за свечных огарков, — вспомнил Грэхем, любуясь ее легкой небрежной позой. Тридцать восемь лет! Быть не может! Она казалась почти девочкой, раскрасневшейся от усердия школьницей! И ему вспомнилось замечание миссис Тюлли, что она никогда не видела более взрослого ребенка.

Он не мог надивиться. Неужели это она, еще недавно под дубами, у коновязи, несколькими словами выразила свое опасение по поводу возможного осложнения в их отношениях? «Этого я опасаюсь», — сказала она тогда. Чего она опасалась? Сказала ли она эти слова случайно, не придавая им значения? Но ведь трепетала же она и тянулась к нему, когда они вместе пели «По следам цыган», — это он знал наверняка, но разве он не видел, как она увлекалась игрой Доналда

Уэйра? Однако Грэхем не долго обманывал себя, он чувствовал, что с Доналдом Уэйром дело обстояло иначе. И при этой мысли он улыбнулся.

— Что вас развеселило? — спросила Паола. — Я сама знаю, что я не архитектор. Но посмотрела бы я, как бы вы уместили семерых философов, не нарушая при этом ни одного из фантастических условий, поставленных Диком.

Сидя у себя в башне с нераскрытыми книгами об Андах, Грэхем думал все о том же. «Какая это женщина? — говорил он себе, покусывая губы. — Это настоящий ребенок. Или… — на этой мысли он задумался, — возможно, что вся эта непосредственность наиграна? Неужели она действительно опасается? Вполне возможно. Даже наверняка. Она женщина светская. И людей знает. Она очень умна. Ее серые глаза неизменно производят впечатление уравновешенности и силы. Вот именно — силы!». Он вспомнил ее, какой она была в первый вечер, ослепительная и сверкающая, как тонкая драгоценная сталь. Ему вспомнилось, что тогда же он мысленно сравнил ее силу со слоновой костью, с резным перламутром, с плетенкой из девичьих волос.

А теперь, после короткого разговора у коновязи, пережив впечатление от цыганского романса,

всякий раз, когда они смотрят друг на друга, глаза их полны взаимного невысказанного влечения.

Тщетно перелистывал он листы книг в поисках нужной ему справки, наконец попытался обойтись без нее, но писать он не мог. Его охватило невыносимое беспокойство. Он разыскал расписание поездов, обдумал подходящий час для отъезда, потом снова передумал, вызвал по телефону конюшню и попросил оседлать Альтадену.

Утро было чудесное, раннее лето в Калифорнии! Над дремлющими полями не слышалось даже дуновения ветерка, перекликались перепела и жаворонки. Воздух был насыщен опьяняющим дыханием сирени, и, когда Грэхем ехал вдоль сиреневых изгородей, он услышал гортанное ржание Горного Духа и серебристый ответ Принцессы Фозрингтон.

Почему он здесь верхом на лошади Дика Форреста, спрашивал себя Грэхем. Почему он до сих пор не едет на станцию, чтобы успеть на отмеченный им в расписании поезд? Он ведь не привык к такой нерешительности, размышлял он с горечью. «Но... — и при этой мысли все в нем загоралось огнем: — Жизнь человеку дана одна, а эта женщина — единственная в мире».

Он посторонился, чтобы пропустить стадо ан-

горских коз; их было несколько сот, все самки. Пастухи-баски гнали их медленно, с частыми передышками, потому что при каждой был маленький козленок. За оградой паслось много кобыл с новорожденными жеребятами, и была минута, когда Грэхем едва успел свернуть на боковую дорожку, чтобы избежать столкновения с тридцатью годовалыми жеребцами, которых переводили с одного пастбища на другое. Их волнение передалось всем обитателям этой части имения, и воздух наполнился резким лошадиным ржанием, призывным и ответным, а Горный Дух, выведенный из себя одним видом и голосами стольких соперников, носился как бешеный по загону, снова и снова провозглашая своим трубным голосом, что другого такого мощного и поразительного коня, как он, не бывало, нет и не будет никогда во всем лошадином царстве.

К Грэхему с боковой дорожки неожиданно выехал Дик на Фурии. Лицо у него сияло от восторга перед бурей страстей, разыгравшейся в подвластном ему животном мире.

— Вот она, плодовитость, — нараспев воскликнул он, здороваясь и сдерживая свою золотисто-рыжую, гнедую кобылу; но она плясала и гарцевала, злобно скаля зубы, то стараясь укусить

ногу Форреста или Грэхема, то роя копытами землю, то с досады на свое бессилие брыкаясь задней ногой по воздуху.

— Сильно, однако, эта молодежь разозлила Горного Духа, — засмеялся Дик. — Вот, послушайте, что говорит его песня:

«Внемлите! Я — Эрос. Я попираю копытами холмы, мой зов заполняет все широкие долины! Кобылы слышат меня и волнуются на своих мирных пастбищах, ибо они меня знают. Трава растет все роскошнее и роскошнее, земля наливается, наливаются и деревья. Пришла весна — весна моя. Я здесь властелин, я царствую над весной. Кобылы помнят мой голос, как до них помнили их матери. Внемлите! Я — Эрос, я попираю копытами холмы, а широкие долины возвещают о моем приближении своим эхом!»

Глава XIX

После отъезда миссис Тюлли Паола свою угрозу исполнила и наводнила дом гостями. Казалось, она вспомнила всех, кого уже давно следовало пригласить, и автомобиль, выходивший к поездам на станцию за восемь миль, редко возвращался пустым. Наезжали певцы, музыканты, художники, множество девиц с целой свитой молодых людей, мамаши, тетки и другие пожилые дамы. Все они внесли оживление в Большой дом, постоянно организовывались экскурсии. А Грэхем задавал себе вопрос, не нарочно ли позвала Паола весь этот народ? Что до него, то он окончательно забросил работу над книгой и проводил каждое утро в плавании, катании верхом и весело развлекался вместе с неугомонной молодежью.

Ложились поздно, вставали рано; Дик, который обычно строго соблюдал свои правила и не выходил к гостям раньше двенадцати часов, как-то просидел в бильярдной за поккером целую ночь. Грэхем тоже играл, а к утру был вознагражден неожиданным посещением Паолы; она созналась, что провела «белую» ночь, хотя вид у нее был свежий и по цвету лица невозможно было до-

гадаться, что ни минуты не спала. Грэхем должен был сделать над собой усилие, чтобы не слишком часто смотреть на нее, пока она готовила шипучие смеси для освежения и подкрепления уставших игроков. Затем она уговаривала их сыграть последнюю партию и пойти выкупаться перед завтраком.

Теперь Паола никогда не оставалась одна. Грэхему приходилось только бывать с ней на людях. Молодежь беспрерывно танцевала танго и другие модные танцы, но она танцевала редко и всегда только с юнцами. Но как-то раз она согласилась пройтись с ним в старомодном вальсе.

— Полюбуйтесь на предков в допотопном танце, — шутливо бросила она молодежи, выступая по паркету; и все действительно остановились и стали смотреть на них. Выйдя на середину зала, они сразу же приноровились друг к другу. Грэхем уже раньше уловил в ней исключительную чуткость, делавшую ее незаменимым товарищем в любой игре, и сейчас она совершенно естественно подчинилась его инициативе: казалось, что по залу плывет один сложный живой организм, действие которого безукоризненно. Не прошло и нескольких минут, как они усвоили плавный ритм, и Грэхем почувствовал, что Паола вся

отдалась вихрю танца; тогда они пустились на разные ритмические варианты — паузы, синкопы, повороты, глиссады, и, хотя ноги их от пола не отрывались, Дик очень точно выразил общее впечатление: «плывут! парят!». Звучал «Вальс Саломеи», и по мере того, как затихали и замедлялись звуки музыки, замирал и их танец, и наконец они остановились.

Слова, аплодисменты значения уже не имели. Они разошлись молча, ни разу не взглянув друг на друга. Дик поучал молодежь:

— Ну, юнцы, скороспелки и всякая мелюзга, видите, как мы, старики, танцевали! Я, конечно, не против новых танцев. Они великолепны. Но все же не мешало бы и вам поучиться прилично вальсировать. А то ваш вальс — один позор. Мы, старики, как-никак кое-что умели, что и вам бы не помешало.

— Например? — спросила одна из девиц.

— А вот я скажу. От молодого поколения несет газолином, но это ничего…

Крики негодования заглушили его голос.

— И от меня несет, я отлично знаю, — продолжал он, — но вы совершенно забыли прежние добрые, честные способы передвижения. Из вас, милые барышни, ни одна не сможет одолеть

Паолу в ходьбе, вас же, юноши, мы с Грэхемом загоняем так, что вам будет одна дорога — в больницу! Я отлично знаю, что вы здорово разбираетесь в машинах и умеете одеваться так, что и королеве угодите. Но ни один из вас не умеет как следует ездить верхом на настоящей лошади. А чтобы править парой добрых рысаков — где уж вам! А много ли вас, желторотых, так бойко маневрирующих по бухте на моторных лодках, станет у руля старомодного шлюпа или шхуны и выйдет в открытое море?

— Ну, так что же! Так или иначе, но мы попадаем, куда нам надо, — возражала все та же девица.

— Этого я не отрицаю, — ответил Дик, — но у вас не всегда красиво выходит. Вот, например, никто из вас на такое не способен: Паола, с вожжами в руках, держа ногу на тормозе, придерживает бешеную четверку лошадей на крутом спуске с горы.

Как-то раз, в жаркое утро, под прохладными сводами длинной крытой веранды, Грэхема, сидевшего за чтением, окружило человек пять гостей; Паола была с ними. Когда они поговорили и отошли, он вернулся к своему журналу, и чтение его так поглотило, что он не заметил, как

все кругом затихло. Он поднял глаза. Все ушли, кроме Паолы. Он слышал смех, доносившийся с дальнего края длинной веранды. Но Паола! Он перехватил ее взгляд, прямой, обращенный прямо на него. В нем таились сомнения, вопрос, почти страх; и все же в это мгновение он успел заметить, что это был взгляд испытующий и, как подсказало ему воображение, взгляд человека, заглядывающего в только что раскрывшуюся перед ним книгу судьбы. Веки ее дрогнули, и она густо покраснела. Дважды она хотела заговорить, но, как бы захваченная врасплох, она явно не знала, что сказать. Грэхем вывел ее из тягостного состояния, заговорив совершенно спокойно:

— Знаете, я только что читал хвалебную оценку де Врие деятельности Лютера Бербанка, и мне кажется, что Дик в мире домашних животных играет такую же роль, как Бербанк в растительном мире. Вы с ним творите жизнь, как бы своими руками лепите новые, полезные и прекрасные формы.

Паола, успевшая к этому времени овладеть собой, рассмеялась.

— Боюсь, — непринужденно продолжал Грэхем, — что, когда я вижу, что вами достигнуто, мне остается только оплакивать даром истрачен-

ную жизнь. Почему же я ничего не создавал? Я очень вам завидую.

— Мы действительно ответственны за рождение множества живых существ, — сказала она, — дух замирает от одной мысли об этой ответственности.

— У вас тут действительно все так и дышит плодовитостью, — улыбнулся Грэхем. — Цветение никогда и нигде раньше не производило на меня такого впечатления. Здесь все преуспевает и множится.

— Ах, вот что! — вдруг воскликнула Паола, как бы вспомнив что-то. — Я покажу вам моих золотых рыбок, я ведь их также развожу и тоже с коммерческой целью. Я снабжаю торговцев Сан-Франциско редчайшими видами и даже отправляю в Нью-Йорк; я самым серьезным образом зарабатываю деньги и хочу сказать, что получаю доход. Это видно из книг Дика, а он аккуратный бухгалтер. Вы у него не найдете ни молоточка, не внесенного в инвентарь, ни подковы, не указанной в книге расходов. Вот почему у него так много бухгалтеров! У нас дошли до того, что стоимость рабочего часа ломовой лошади вычислена с точностью до одной тысячной цента.

— Вернемся к вашим золотым рыбкам, — на-

помнил Грэхем, раздраженный постоянным упоминанием о Дике.

— Так вот, Дик заставляет своих бухгалтеров с такой же точностью контролировать и мои операции с золотыми рыбками. Мой счет учитывает каждый рабочий час, использованный на них в доме или в имении, вплоть до почтовых марок и письменных принадлежностей. Я плачу проценты за помещение, он берет с меня даже за воду, как будто я квартиронаниматель, а он городская водопроводная компания. При этом мне все же начисляется до десяти процентов прибыли, а иногда и до тридцати, но Дик смеется и утверждает, что если вычесть содержание управляющего, то окажется, что я зарабатываю очень мало, если не работаю в убыток, потому что на такую маленькую прибыль мне не нанять дельного управляющего. И все же, благодаря именно таким методам, Дик преуспевает в своих предприятиях. Он никогда ничего не начинает, не уяснив заранее до малейшей детали, что именно он желает получить, разве только, когда он задумает просто провести эксперимент.

— Да, он действует только наверняка.

— Я никогда не видела человека, столь уверенного в себе, — с жаром подхватила Паола, — и

никогда не знала человека, действительно имевшего на это такое право, как он. Я его хорошо знаю. Он гений, но не в обычном смысле слова: он уравновешен и нормален, что несовместимо с гениальностью. Такие люди встречаются реже, и они выше гениев. Я думаю, что Авраам Линкольн был человеком такого типа.

— Должен признаться, что не совсем улавливаю вашу мысль, — сказал Грэхем.

— Ну, я, конечно, не хочу сказать, что Дик так же велик, как Линкольн, — торопливо продолжала она. — Дик, конечно, чудесный человек, но не в этом дело. Они схожи своей уравновешенностью, нормальностью, отсутствием блеска. Возьмите меня, я — то, что принято называть гением. Я никогда не знаю, как и почему у меня выходит то, что я делаю. Так я создаю эффекты в музыке, так же и ныряю. Хоть убейте, а я не объясню, как я ныряю, как делаю мертвую петлю, а Дик, наоборот, никогда ничего не делает, если заранее не знает, как ему за это взяться. Он все делает обдуманно и спокойно. Он вообще чудо, но никогда и ни в чем он не совершал ничего чудесного, выдающегося. Я-то его знаю. Ни в одном виде спорта он не установил рекорда, ни разу не был чемпионом. Но и посредственностью он также никогда не был.

Такой он во всем. Он — точно цепь, все звенья которой выкованы совершенно одинаково, нет ни более массивного кольца, ни более слабого.

— Боюсь, что я похож на вас, — сказал Грэхем. — Я тоже — существо более обыденное, менее крупное в том, что вы называете гением. Я тоже при случае загораюсь и способен на многое такое, о чем никогда и не думал. И не считаю ниже своего достоинства склониться перед тайной.

— Дик ненавидит тайну. Ему недостаточно знать — «как». Он всегда пытается понять и «почему». В тайне он видит вызов. Она действует на него, как красный лоскут на быка. Так его и тянет сорвать все покровы, вырвать сердце у тайны, узнать — «как» и «почему», чтобы тайны больше не существовало, чтобы тайна стала фактом, подлежащим обобщению и научно доказываемым.

В назревавшем положении многое было сокрыто от самих трех действующих лиц. Грэхем не знал, с какими отчаянными усилиями Паола пытается не отрываться от мужа, занятого по горло тысячей планов и проектов и все реже появлявшегося среди гостей. К завтраку он выходил, но потом снова возвращался к себе и редко участвовал в прогулках. Правда, Паола знала, что он получает множество длинных шифрованных

телеграмм из Мексики и что дела на рудниках осложнились. Она видела многих агентов и представителей иностранного капитала в Мексике, которые часто неожиданно приезжали для совещания с Диком. Он жаловался, что они отнимают у него самые драгоценные часы, но не объяснял, по каким именно делам они приезжают.

— Как бы мне хотелось, чтобы ты не был так занят, — вздохнула она как-то утром, сидя у него на коленях, когда ей удалось ровно в одиннадцать часов застать его одного.

Правда, он не был совсем свободен: из-за нее бросил диктовать письмо на диктофон, а вздохнула она из-за осторожного покашливания Бонбрайта, уже входившего с новой пачкой телеграмм.

— Поедем с тобой сегодня днем одни, бросим всю компанию, я буду править Дадди и Фадди, — взмолилась она.

Он покачал головой и улыбнулся.

— Ты увидишь за завтраком любопытную компанию, — пояснил он, — никому не говори, но тебе мне хочется рассказать. — Он понизил голос, и Бонбрайт деликатно отошел в другой угол комнаты. — Нефтяники из «Тэмпико»; лично Сэмюэл — президент «Насиско» и Уншаар — большая

шишка, тот самый, который организовал покупку железной дороги на Восточном побережье, чтобы лишить «Насиско» всякой поддержки, затем Матьюссон, представитель палмерстоновских интересов, по эту сторону Атлантического океана, ты, верно, помнишь всю эту английскую компанию, которая боролась с «Насиско» и с Пирсоном, да еще несколько человек. Понимаешь, как плохи дела в Мексике, раз все они забыли о своих распрях и собрались на совещание. И это все нефтяники, а я там тоже участвую, и они хотят использовать мои рудники. В воздухе нависло что-то грозное, и нам надо сплотиться и действовать дружно или бросить все дела в Мексике. Сознаюсь, я нарочно устранился, а теперь заставил их всех приехать ко мне на поклон, ведь тогда, три года тому назад, они готовы были потопить меня.

Он ласкал ее, целовал, называл нежными именами, но она видела, как глаза его нетерпеливо ищут фонограф с неоконченным письмом.

— Итак, — заключил он, крепче прижимая ее к себе, но тем самым, как ей показалось, намекая на то, что ей пора уходить. — Вот чем придется заняться днем. Долго никто из них не останется, они все уедут до обеда.

Она как-то необычно резко соскользнула с его колен, освободилась из объятий и стояла перед ним, выпрямившись, со сверкающими глазами, с побледневшими щеками, с полным решимости лицом, точно собираясь сказать нечто чрезвычайно важное, но тут позвонил телефон, и он потянулся к трубке.

Паола вся как-то поникла, неслышно вздохнула, а, выходя из комнаты, видела, как Бонбрайт торопливо подходил к столу с телеграммами, и тут же услышала слова мужа:

— Это невозможно! Так или иначе он обязан найти выход из положения, или дела кончены. Какой там договор! Будь дело только в нем, он, конечно, мог бы его нарушить, но он забыл об очень интересной переписке, которая у меня вот тут. Да, да, она представит интерес для любого суда. Я пришлю вам всю пачку и эти вырезки сегодня к пяти часам. И скажите ему от меня, что, если только он попытается проделать эту штуку, я его согну в бараний рог. Не пройдет и года, как ему придется распродавать свои пароходы… Да… Алло! Вы слушаете? Разыщите-ка эту справку. Я убежден, вы увидите, что Междуштатный коммерческий комитет может его прихлопнуть по двум статьям.

Ни Грэхем, ни Паола не понимали, что Дик, проницательный, умный Дик, умевший видеть и ощущать еще не случившееся и строить догадки и гипотезы из неуловимых оттенков и намеков, подтверждаемых лишь последующими событиями, уже почуял то, что еще не случилось, но что могло случиться. Он не слышал кратких знаменательных слов Паолы у коновязи; он не видел, как Грэхем перехватил ее глубокий, ищущий взгляд, устремленный на него с веранды. Дик ничего не слышал и мало видел, но чувствовал он многое и, опередив Паолу, смутно понял то, что она поняла позже.

Единственным, на чем он мог строить свои предположения, был тот вечер, когда они пели, а он играл в бридж. От него не ускользнуло, как, пропев «По следам цыган», они сразу же отошли от рояля и направились к карточным столам; он помнил, что, подняв глаза на Паолу, подошедшую подразнить его тем, что он проигрывает, он заметил на лукавом, задорном лице ее что-то необычное. И тогда, отвечая им в том же тоне и скользнув смеющимися глазами по Грэхему, он и в нем заметил то же самое. «В нем сейчас страшное напряжение, — мелькнуло в голове Дика, — но почему? Есть ли связь между этим

напряженным состоянием и внезапностью, с которой Паола отошла от рояля?». И все время, пока эти вопросы мелькали у него в мозгу, он как ни в чем не бывало смеялся, тасовал карты, сдавал их и даже выиграл партию.

Но вместе с тем он продолжал убеждать себя в нелепости и несообразности того, что ему смутно почудилось. Случайная догадка, нелогичное сопоставление самых ничтожных фактов и больше ничего, благоразумно решил он. Верно только то, что и жена, и друг весьма привлекательны. И лишь изредка возвращаясь к этому воспоминанию, он не мог ответить на всплывший в его голове вопрос: почему они в этот вечер оборвали пение? Почему у него создалось впечатление, что произошло что-то неожиданное? Откуда это напряжение у Грэхема?

Бонбрайт, записывая как-то утром под диктовку телеграмму, не знал, что Дик подошел к окну не случайно, а потому, что его привлекли слабые звуки копыт по дороге. Последнее время Дик уже не первый раз так подходил к окну, с кажущейся небрежностью, бросая рассеянный взгляд на кавалькаду, молодцевато подъезжавшую к коновязи. Но в это утро он еще прежде, чем показались первые наездники, знал, кого увидит.

— Брэкстону опасность не грозит, — продолжал он диктовать, не меняя интонации, с глазами, устремленными на дорогу, откуда должны были показаться всадники. — Если дойдет до разрыва, он может уехать в Аризону через горы. Повидайте немедленно Коннорса. Брэкстон оставил Коннорсу все необходимые указания. Коннорс будет завтра в Вашингтоне. Сообщайте малейшие подробности передвижений. Подпись.

На дороге показались рядом, во главе кавалькады, Лань и Альтадена. Дик не ошибся, он в этом был уверен. Сейчас же за ними раздались веселые крики, смех и звук многих копыт.

— Эту телеграмму, пожалуйста, зашифруйте, — твердо продолжал Дик, заметив, что Грэхем ездок приличный, но отнюдь не замечательный, и что надо распорядиться дать ему лошадь потяжелее Альтадены. — Отправьте две копии Джереми Брэкстону, по обеим линиям, все-таки есть шанс, что хоть одна из них дойдет.

Глава XX

Волна гостей снова отхлынула от Большого дома. К завтраку и обеду снова собирались только Грэхем, Дик и Паола. Но в эти вечера, пока мужчины с часок болтали, прежде чем идти спать, Паола уже не играла на рояле, а сидела рядом с вышиванием, прислушиваясь к их разговору.

У обоих было много общего, жизнь они прожили во многом похожую, и взгляды у них были сходные. Философия их была несколько жестка, сентиментальностью они не страдали, оба были реалистами. Паола недаром прозвала их «медными гвоздями».

— Да, да, — смеялась она, — я отлично понимаю, почему у вас такие взгляды. Вы оба удачливы. Вы здоровы. Удачливы в физическом смысле. У вас есть сила сопротивления, вы выносливы. Вы устояли там, где другие, менее стойкие, погибали. Вас не берут и африканские лихорадки, от которых другие мрут, как мухи. Возьмите несчастного, о котором вы сейчас говорили: он заболел воспалением легких и не выдержал, пока вы его несли вниз, к морю. Почему вы не заболели воспалением легких? Неужели потому, что более достойны

или вели более добродетельный образ жизни? Или не так рисковали и принимали больше мер предосторожности?

Она покачала головой.

— Совсем не потому. Просто вам больше везло — я хочу сказать, вы и родились удачно, потому что были здоровы, вы и до рождения были здоровые. Возьмите Дика, ведь он похоронил трех своих товарищей и двух инженеров в Гваякиле от желтой лихорадки. Почему же желтая лихорадка не убила Дика? И та же самая история с вами, широкоплечий и широкогрудый мистер Грэхем! Почему во время вашего последнего путешествия в болотах умерли не вы, а ваш фотограф? Ну-ка, исповедуйтесь, сколько он весил? Что, плечи у него были широки? Грудь крепкая, легкие крепкие? Ноздри широкие? Силы сопротивления много?

— Он весил сто тридцать пять фунтов, — огорченно согласился Грэхем. — Но производил впечатление человека вполне крепкого и здорового. Смерть его меня поразила, кажется, больше, чем его самого. Но дело не в весе; при одинаковых условиях сопротивляемость выше именно у таких. А все-таки вы попали в точку. У него не было сопротивляемости вовсе. Вы понимаете,

что я хочу сказать?

— Если хотите, все дело в качестве мускулов и свойствах сердца, позволяющего некоторым чемпионам выдерживать подряд, скажем, двадцать, тридцать или сорок раундов, — согласился и Дик. — Возьмите хоть сейчас, в Сан-Франциско несколько сот юношей мечтают победить на ринге. Я многих видел. Вид у них отличный, здоровый, сложены прекрасно, молоды, натянуты, как струны, и горят желанием добиться своего, а между тем из десяти человек девять не выдерживают больше десяти раундов. Не то чтобы их побеждали другие. Они как бы взрываются изнутри. Их мускулы и сердца сотканы не из первосортных тканей. Они просто не созданы для того, чтобы двигаться с большой быстротой и с чрезмерным напряжением столько, сколько нужно для десяти раундов. Некоторых из них взрывает уже после четырех или пяти. И ни один из сорока не выдержит в течение часа двадцати раундов при одной минуте отдыха и трех минутах борьбы. Найти парня вроде Нелсона, Ганса или Волгаста, способного выдержать сорок раундов, — это редкость, их на десять тысяч — один.

— Вы понимаете, к чему я веду, — подхватила Паола. — Смотрю я на вас. Обоим вам уже по

сорок лет. Уж довольно нагрешили. Преодолели столько препятствий, столько рисковали, стольких потеряли на пути. Повеселились, побесились. По всему миру побродили.

— Разыграли дурака, — посмеялся Грэхем.

— И попьянствовали, — добавила Паола. — Подумайте! Ведь и алкоголь вас не прошиб, слишком вы выносливы. Другие под столом валяются, или в больнице, или в могиле, а вы шествуете по своему триумфальному пути с песнями, и ткани ваши все так же свежи, и даже по утрам голова не болит! Я и веду к тому, что вы везунчики! Мускулы ваши налиты кровью. И отсюда ваша философия. Вот почему я и зову вас «медными гвоздями», вот почему вы и проповедуете реализм, и практикуете реализм, смахивая с пути людей помельче и не таких счастливых, которые и пикнуть в ответ не смеют, потому что они, как вот те, о которых только что говорил Дик: их взорвало бы изнутри после первого же раунда, если бы только они посмели состязаться с вами.

Дик только свистнул, как бы растерявшись.

— Вот почему вы проповедуете Евангелие сильного, — продолжала Паола. — Будь вы слабыми, вы бы проповедовали Евангелие слабого и подставляли бы другую щеку. Но вы оба сильные

великаны, и, если вас ударят, вы другой щеки не подставите.

— Ни в коем случае, — спокойно перебил ее Дик, — мы тотчас заорем: «Голову долой!». Она нас разгадала, Ивэн, это верно. Философия — как религия, но это то же, что человек, и создается по его образу и подобию.

Пока продолжался разговор, Паола вышивала, и перед ее глазами витали образы этих прекрасных мужчин, сидевших рядом с ней; она восхищалась ими, удивлялась и раздумывала обо всем, что происходит, не чувствуя под собой такой твердой почвы, как они, а, наоборот, сознавая, что она как бы соскальзывает, расставаясь с убеждениями, усвоенными и принятыми за свои так давно, что они до сих пор всегда казались ей ее собственными.

И позднее, как-то вечером, она высказала свои сомнения:

— Самое странное в этом то, — сказала она в ответ на замечание, сделанное Диком, — что стоит нам только пофилософствовать о жизни, как нам становится еще хуже, чем без всякого мудрствования. Философствование нас сбивает с толку, по крайней мере, женщину; тут приходится так много слышать обо всем и против всего, что ни-

чего абсолютного нам не остается. Вот, например, жена Менденхолла — лютеранка. Она ни в чем не сомневается. Для нее все раз навсегда установлено в определенном порядке и неизменно, ни о каких астрономических явлениях и ледниковых периодах она и не знает, а если бы и знала, то и это никоим образом не подействовало бы ни на ее поведение, ни на ее взгляды.

А вы оба вбиваете «медные гвозди», Терренс отплясывает античный греческий эпикурейский танец, Хэнкок машет мерцающими покрывалами метафизики Бергсона, Лео низко преклоняется перед красотой, а Дар-Хиал рассуждает о своей софистической пластике, исключительно добиваясь одобрения своему остроумию. Что же, вы не видите? Из этого следует, что ничего устойчивого в человеческих суждениях нет. Нет добра. Нет и зла. И мы брошены, без компаса, без весел, без карт, и так мы плывем по морю идей. А это — можно? А от этого надо воздержаться? А что — дурно? А что такой-то поступок действительно добродетелен? У миссис Менденхолл на все такие вопросы тотчас же найдется ответ. А у философов есть?

Паола разочарованно покачала головой и продолжала:

— Нет, у них и есть только идеи. Они сейчас же начинают говорить и говорят, и говорят, и говорят. И со всей их эрудицией ни к каким выводам они не приходят. То же и со мной. Я слушаю еще, и еще, и говорю, и говорю, как сейчас, а убеждений у меня все нет. Нет мерила.

— Нет, мерило есть, — возразил Дик, — старое вечное мерило истины.

— Целесообразность? Ты бьешь теперь по своему любимому «медному гвоздю», — улыбнулась Паола, — а Дар-Хиал помашет руками и начнет доказывать, что все «медные гвозди» только иллюзия, а Терренс — что «медные гвозди» — грязная, ненужная и совершенно несущественная вещь, а Хэнкок — что небесный свод Бергсона вымощен медными гвоздиками, но гораздо высшего качества, нежели твои, а Лео будет утверждать, что во всей вселенной один только «медный гвоздь» и есть и что гвоздь этот — красота и что вовсе он не медный, а золотой.

— Поедем сегодня кататься верхом, Багряное Облако, — предложила Паола мужу. — Прочисти мозги от паутины, и пусть адвокаты и рудники, и рогатый скот делают, что хотят…

— С удовольствием, Паола, — ответил он, — но не могу. Я обязательно должен поехать на берег

Бьюкэй, меня только что, перед завтраком, туда вызывали. У них там беда с плотиной: нижний пласт дал трещину. Должно быть, на динамит не поскупились.

Три часа спустя, возвращаясь из Бьюкэя, Дик обратил внимание на то, что Паола в первый раз поехала кататься вдвоем с Грэхемом.

Приехали Уэйнрайты и Когланы в двух автомобилях. Они собирались на неделю к Русской реке и остановились на день в Большом доме. Паола затеяла прогулку и повезла их в горы, заявив, что сама будет управлять четверкой. Выезжать надо было рано утром, и Дик отлучиться из дому не мог. Он только вышел проводить всю компанию, на минуту оторвавшись от работы с Блэйком. Он лично хотел убедиться, что все в запряжке в полной исправности, и по-своему пересадил всех, настаивая на том, чтобы Грэхем сел на козлах рядом с Паолой.

— Надо, чтобы в случае чего у нее под рукой была надежная мужская сила, — пояснил он. — Я сам видел, как прут от тормоза как-то сломался на откосе с весьма неприятными последствиями для пассажиров: двое или трое из них сломали себе шеи.

Под общий веселый говор Паола, подав коню-

хам знак, чтобы пустили лошадей, перебрала вожжи и, дав возможность посвободнее приладить шеи в хомутах лошадям, пустила четверку. Общая болтовня и прощание с Диком занимало всех, гости радовались, что утро чудное, что оно сулит такой же чудный день, и весело откликались на шутки симпатичного хозяина, напутствовавшего их добрыми советами и пожеланиями. Но Паола чувствовала неприятное возбуждение, какую-то смутную печаль и как будто сожаление, что Дик не поехал с ними. А у Грэхема веселое лицо Дика вызвало минутное раскаяние в том, что он уже давно не сбежал на другой конец света, а сидит здесь, рядом с этой женщиной.

Веселость мгновенно погасла на лице Дика, как только он повернул обратно к дому. Через десять минут он кончил диктовать, и Блэйк поднялся, чтобы уходить, но постоял, помялся и заговорил несколько робким, как бы виноватым тоном:

— Вы меня просили, мистер Форрест, чтобы я вам напомнил о корректуре вашей книги о шортхорнах. Издатели вчера второй раз телеграфировали, просят поспешить.

— Я не смогу этим заняться, — ответил Дик, — пожалуйста, откорректируйте сами, а затем

передайте мистеру Мэнсону, чтобы он проверил самые факты, скажите ему, чтобы он обязательно тщательно проверил родословную Короля Девона, и отправьте.

До одиннадцати часов Дик обычно принимал управляющих и экономов. И только через четверть часа после этого ему удалось покончить с заведующим выставками, мистером Питтсом, принесшего ему интересный макет каталога первого его собственного ежегодного аукциона и оптовой торговли, которую предстояло открыть в самом имении. К этому времени подошел мистер Бонбрайт со своей кипой телеграмм, но они не успели переговорить обо всем, как подоспело время завтрака.

Оставшись наедине только теперь, уже через несколько часов после того, как он проводил гостей, Дик прошел к своему спальному портику, к барометрам и термометрам. Но он вышел посмотреть не на них, а на смеющееся личико в круглой деревянной оправе.

— Паола, Паола, — проговорил он вслух, — неужели через столько лет ты еще удивишь и себя и меня? Неужели ты потеряешь голову теперь, в твои годы?

Он надел гетры и прикрепил шпоры, собираясь

ехать верхом после завтрака, и как бы озвучил занимавшие его мысли, обратившись к женскому личику в деревянной оправе.

— Что ж, надо сыграть партию. — И затем, через несколько минут, уже собираясь уходить: — В открытом поле… без всяких поблажек… на равных условиях.

— Честное слово, если я отсюда не уеду, придется поступить к вам в пансионеры и примкнуть к философам из арбутусовой рощи, — сказал Грэхем Дику, улыбаясь.

Это было в предобеденное время, когда обычно собирались что-нибудь выпить, но сегодня, кроме Паолы и Грэхема, никто из участников экскурсии еще не появлялся.

— Если бы все философы, вместе взятые, написали хоть бы одну книгу! — вздохнул Дик. — А вы, дружище, обязаны вашу книгу закончить. Я вас за нее усадил, и уж я должен проследить за тем, чтобы вы ее довели до конца.

Паола тоже пригласила Грэхема еще погостить у них, но довольно вяло, и ее стереотипные вежливые слова прозвучали музыкой в ушах Дика, сердце его радостно забилось. А что, если он ошибся? Ведь для таких двух опытных людей, как Паола и Грэхем, к тому же далеко не

легкомысленного возраста, безумные страсти невозможны, немыслимы. Это не какие-нибудь влюбчивые молокососы!

— За книгу! — предложил он тост. — Прекрасный коктейль, Паола, ты превзошла себя, а О-Чая своему искусству не научила. Его коктейль никогда с твоим не сравнится. Да, пожалуйста, еще.

Глава XXI

Грэхем ехал по покрытым мамонтовыми деревьями каньонам; он знакомился с Селимом, массивным вороным мерином, которого дал ему Дик вместо более легкой Альтадены. Присматриваясь к добродушным замашкам не лишенного игривости нового своего коня, он напевал «По следам цыган». Невольно уносясь мыслями за настоящими цыганами и вспоминая истории идиллических любовников, он, сам не зная зачем, просто ради шутки, вспоминая, как они вырезают инициалы на деревьях, отломал ветку лавра и веточку мамонтового дерева. Потом он поднялся на стременах, чтобы достать стебель папоротника, и связал крест-накрест обе веточки. Соорудив свой паттеран, он бросил его перед собой на тропу и с удовольствием убедился, что Селим переступил через него, не растоптав; Грэхем даже обернулся и не терял его из виду до следующего поворота. «Это доброе предзнаменование, — подумал он, — что лошадь его не задела». Папоротника было сколько угодно, кусты лавра и ветки мамонтовых деревьев хлестали его по лицу, а он продолжал все так же рассеянно собирать паттераны и

разбрасывать их по дороге. Через час, доехав до поворота каньона, откуда, как он знал, начинался крутой и неудобный перевал, он остановился и повернул обратно.

Селим тихо заржал. Совсем близко раздалось ответное ржание. Дорога в этом месте была широка и удобна; Грэхем пустил Селима рысью и, описав широкую дугу, нагнал Паолу на Лани.

— Алло! — окликнул он ее. — Алло! Алло! — Она остановилась и подождала его.

— Я только что собралась повернуть обратно, — заметила она. — А вы почему повернули? Я думала, вы поедете дальше.

— А вы знали, что я еду впереди вас? — спросил он, любуясь открытым мальчишеским взором ее глаз, устремленных на него.

Она засмеялась.

— После второго паттерана я уже не сомневалась.

— А я про них забыл, — виновато засмеялся он. — Почему же вы повернули обратно?

Она подождала, пока Лань и Селим перешагнули через ствол валявшейся поперек дороги ольхи, чтобы взглянуть Грэхему в глаза, когда будет отвечать.

— Потому что я не хотела ехать по вашим

следам, да и ни по чьим следам, — быстро поправилась она. — После второго же я повернула обратно.

Он не нашелся что ответить, воцарилось неловкое молчание. Им обоим было не по себе, они знали, что их состояние известно обоим, хоть и не высказано словами.

— Это у вас такая привычка бросать паттераны? — наконец спросила Паола.

— Первый раз в жизни, — ответил он. — Но тут такой подходящий материал, что просто жаль было не использовать его, а к тому же меня преследовала эта песня.

— И меня она преследовала сегодня с утра, — сказала она, осторожно объезжая лозу дикого винограда, нависшую над дорогой совсем близко от нее.

И Грэхем, глядя на ее лицо, на венец каштановых волос с золотистыми отблесками, на лебединую шею, снова ощутил знакомую ноющую боль в сердце, тоску и томление. Ее близость действовала на него. Ее короткая светлая амазонка из тяжелого шелка вызвала у него мучительные воспоминания: он снова видел, как она плывет на Горном Духе, ныряет с сорокафутовой высоты, идет вдоль длинного зала в темно-синем платье

средневекового покроя, поддерживая коленом тяжелые складки.

— О чем вы думаете? — прервала она его мысли.

Он ответил, не задумываясь:

— Я благодарю Бога за одно: вы еще ни разу не упомянули имени Дика.

— Вы его так не любите?

— Будьте справедливы, — серьезно ответил он. — Как раз я люблю его, иначе…

— Иначе что?

Голос ее звучал смело, хотя она смотрела прямо перед собой на настороженные уши Лани.

— Не понимаю, почему я все еще здесь. Мне давно следовало бы уехать.

— Почему? — спросила она, не сводя глаз с ушей лошади.

— Будьте честны, будьте великодушны, — снова почти крикнул он. — Нам едва ли нужны слова.

Она повернулась к нему, и щеки ее вспыхнули; ни слова не говоря, она посмотрела на него в упор. Быстрым движением она приподняла руку с хлыстом как бы с тем, чтобы прижать ее к груди, но тут же уронила ее на колени. Но он видел, что ее глаза радостно испуганы. Ошибки быть не могло. В них был страх, но была и радость. И

тут, руководимый верным инстинктом, свойственным не очень многим мужчинам, он взял повод в другую руку, придвинулся к ней совсем вплотную, свободной рукой обнял ее, притянул к себе, так что обе лошади даже качнулись, и прижался губами к ее губам. Ошибки не было: он с восторгом почувствовал, что и она отвечает ему и жестом, и поцелуем.

Но в следующее мгновение она уже оторвалась от него. Краска схлынула с ее лица. Она снова подняла хлыст, чтобы ударить его, и тут же опустила его на пораженную Лань. И так внезапно и сильно вонзила в ее бока обе шпоры, что кобылка, застонав, поскакала.

Он прислушался к замирающему на лесной дорожке стуку копыт о мягкую землю, а голова у него кружилась от стучавшей в висках крови. Когда топот копыт замер, он не то соскользнул, не то упал с седла на землю и присел на мшистый бугорок. Он понял, что чувство его сильнее, чем он считал до той решительной минуты, когда он держал ее в своих объятиях. Что же, жребий брошен!

Он выпрямился так порывисто, что вспугнул Селима, который отскочил, насколько позволяла длина повода, и фыркнул.

«То, что случилось, не было задумано, — размышлял он. — Это неизбежно. Следовательно, так и должно быть».

Теперь он четко понимал, что, если бы он не откладывал своего отъезда и не замешкался бы здесь, он мог бы все предупредить. Но отныне отъезд уж ничему не поможет. Страшно, мучительно и радостно было то, что сейчас уже не оставалось никаких сомнений. Слов не требовалось: его губы были еще полны воспоминанием о ее губах. Она ему все сказала. Он возвращался к этому поцелую, на который она ответила, и вся жизнь его сосредоточилась в этом воспоминании.

Он нежно погладил рукой свое колено, коснувшееся ее, и душа его наполнилась благодарностью. Ему казалось чудом, что его полюбила эта удивительная женщина. Ведь это не девчонка! Это женщина умная и сознательная. А ведь она затрепетала в его руках, и ее губы оживились, целуя его. Он понимал, как много сам дал в этом поцелуе, а после всех минувших лет он и не знал, что был способен на это. Он встал, будто собираясь сесть на Селима, ласкавшегося у его плеча, но остановился и задумался.

Теперь уже отпал вопрос об отъезде. Он решен бесповоротно. Конечно, у Дика есть свои права. Но

и у Паолы есть свои. А имеет ли он право уехать теперь, после случившегося, если только она не уедет вместе с ним? Уехать теперь — значит поцеловать и проститься. Ведь, конечно, раз уже так случается, что двое мужчин могут полюбить одну женщину и что в создавшийся треугольник обязательно проникает предательство и коварство, то, конечно, нужно выбрать меньшее из зол, то есть предать мужчину, а не женщину.

«Мы живем в мире реальностей, — размышлял он, медленно направляясь к дому, — и Паола, и Дик, и я — реалисты и к тому же сознательные люди, смело глядящие в глаза жизни. Тут не помогут ни церковь, ни закон и никакие постановления. Мы сами должны все решить. Кому-нибудь, конечно, будет больно. Но боль из жизни не изгнать. Прожить удачно — это довести боль до возможного минимума. Слава Богу, и Дик так думает. И все трое в это верят. Да и нового тут нет ничего. Задачи бесчисленных треугольников так или иначе разрешались бесчисленными поколениями. Значит, будет решена и эта задача. Все человеческие начинания и проблемы всегда как-нибудь разрешаются…»

Он снова мысленно вернулся к радостному воспоминанию, снова протянул руку и прикоснулся

к колену и снова ощутил на устах ее дыхание. Он даже на мгновение остановил Селима и взглянул на изгиб локтя, на который она на минуту оперлась.

Грэхем встретился с Паолой только за обедом и нашел ее совершенно не изменившейся. Даже своими заостренными сознанием происшедшего глазами он не мог различить в ней и следа ни великого события этого дня, ни гнева, которым загорелись ее глаза, когда она подняла руку с хлыстом, чтобы ударить его, и тут же ее опустила. Она по-прежнему оставалась маленькой хозяйкой Большого дома. И даже, когда глаза их случайно встречались, ее глаза были ясны, в них не было ни тени смущения, ни намека на тайну. Очень облегчало присутствие нескольких новых гостей — дам, приятельниц ее и Дика, приехавших на несколько дней.

На следующее утро Грэхем встретился с ними и с Паолой в музыкальной комнате у рояля.

— А вы не поете, мистер Грэхем? — спросила миссис Гофман, редактор дамского журнала, издаваемого в Сан-Франциско.

— Бесподобно, — шутливо ответил он ей. — Ведь я правду говорю, миссис Форрест? — обратился он за поддержкой к Паоле.

— Совершенно верно, — с улыбкой подтвердила Паола, — это видно хотя бы из того, что он великолепно сдерживает свой голос, чтобы не совсем заглушить мой.

— Теперь уж вам ничего не остается, как доказать истинность ваших слов, — сказал он. — На днях мы как-то пели один дуэт, — он вопросительно взглянул на Паолу, но напрасно он ждал немого указания: она его не дала. — Ноты в гостиной, я пойду и принесу.

— Это «По следам цыган», вещь очень захватывающая, — услышал он, как она говорила дамам, пока он выходил из комнаты.

Сейчас они пропели песню не с таким удовольствием, как первый раз; в их голосах не было прежнего трепета и огня; они сознательно сдерживали себя; исполнение было более завершенным; оно больше соответствовало идее композитора; личной интерпретации не было. Но пока Грэхем пел, он все думал и знал, что Паола думает о том, как в их сердцах бьется другой дуэт, о котором не догадывается никто из присутствующих, зааплодировавших им, когда они закончили.

— Пари держу, что лучше вы не пели никогда, — похвалил и он, обращаясь к Паоле.

В голосе ее он расслышал новые ноты. Он звучал громче, полнее, в нем было больше бархатистой звучности, которой и следовало ожидать от прекрасных форм ее шеи.

— А теперь я вам расскажу, что значит паттеран, потому что уверена, вы не знаете, — предложила она гостям.

Глава XXII

— Ну, Дик, мой мальчик, ваша мысль совершенно в духе Карлейля, — говорил Терренс Мак-Фейн отеческим тоном.

За обедом на этот раз присутствовали и мудрецы из арбутусовой рощи, так что, считая Паолу, Дика и Грэхема, за столом сидело семь человек.

— Определить точку зрения — еще не значит опровергнуть ее, — возразил Дик. — Я это отлично знаю, но это еще ничего не доказывает. Поклонение героям — вещь прекрасная. Но я говорю не только как схоластик, а как практик-скотовод, для которого применение менделевских методов скрещивания пород — просто избитая истина.

— И неужели я должен прийти к заключению, — вмешался Хэнкок, — что готтентот ничем не хуже белого?

— Ну вот, в вас и заговорил Юг, Аарон, — возразил с улыбкой Дик, — предрассудок, не врожденный, а привитый в раннем детстве, настолько силен в нас, что и всей вашей философии его не поколебать. Это то же, что западня манчестерской школы, в которую с раннего детства попал Герберт Спенсер.

— А, значит, Спенсер — то же самое, что и готтентот? — негодующе спросил Дар-Хиал.

— Дайте мне сказать, — ответил Дик. — Я думаю, что сумею пояснить свою мысль. Среднего уровня готтентот не многим отличается от белого человека среднего уровня. Разница вся в том, что средних готтентотов и негров гораздо больше, чем средних белых: огромный процент белых выше среднего уровня. Их-то я и называю передовыми людьми, и они-то и побивают рекорд в гонке с людьми среднего уровня их же расы. Заметьте, они отнюдь не способствуют видоизменению природы или развитию умственного уровня среднего человека; они только дают лучшее снаряжение, большие удобства, ускоряют коллективный темп движения расы. Дайте индейцу современную винтовку вместо лука и стрел, и он станет добывать несравненно больше дичи, сам же индеец от этого не изменится. Но вся индейская раса породила так мало людей выше среднего уровня, что сама за все свои десять тысяч поколений не смогла обеспечить себя столь необходимыми винтовками.

— Продолжайте, Дик, развивайте свою мысль, — поощрительно заметил Терренс, — я начинаю понимать, куда вы клоните; вы скоро пристыдите

Аарона со всеми его расовыми предрассудками и глупым тщеславием, порождаемым чувством мнимого превосходства.

— Эти люди выше среднего уровня, — продолжал Дик, — изобретатели, строители, сделавшие великие открытия, люди господствующие. Та раса, у которой таких господствующих сил мало, отводится в разряд низших рас. Она все еще пользуется луком и стрелами. Она не вооружена для жизни. А средний белый человек сам по себе — такое же животное, глупое, негибкое, косное и отсталое, как и всякий средний дикарь. Средний белый движется быстрее, так как в его среде господствующих единиц количественно больше и они дают ему лучшее снаряжение, организацию и закон. А какого великого человека, какого героя, — а под этим господствующим типом я понимаю именно героя, — произвела раса готтентотов? Гавайская раса дала одного — Камехамеха, негритянская раса в Америке дала только двух — Букера Вашингтона и Дюбуа, но в обоих есть и белая кровь.

Паола, казалось, была очень заинтересована разговором, по крайней мере, она и виду не подавала, что скучает; но Грэхем, внимательно за ней наблюдавший, видел, что она внутренне съе-

жилась. Наконец, под шум спора, завязавшегося между Терренсом и Хэнкоком, она вполголоса сказала Грэхему:

— Слова, слова, слова, — как много слов! Дик, должно быть, прав: он почти всегда прав, но признаюсь, что я никогда не могла применить все эти потоки слов к жизни, я хочу сказать, к моей жизни, то есть к тому, как я должна жить, что мне делать? — И все время, пока она говорила, она неотступно смотрела ему в глаза, так что у него не оставалось и тени сомнения в скрытом смысле ее слов.

— Я не вижу, — продолжала она, — как связать господствующие единицы и темп расового движения с моей личной жизнью. Они не говорят, что именно хорошо и что дурно для моего пути. А теперь, раз уж они разошлись, то и будут продолжать в том же духе целый вечер... Да, я отлично понимаю все, что они говорят, — поспешно остановила она его, — но мне это ничего не говорит. Слова, слова, слова, а я хочу знать, что мне делать с собой, что делать с вами, что делать с Диком?

Но Дика Форреста в этот вечер, очевидно, укусил бес многословия, и прежде чем Грэхем успел шепнуть Паоле ответ, он уже обернулся к нему, требуя каких-то данных о южноамериканских

племенах, с которыми тот сталкивался во время своих путешествий. Посторонний наблюдатель, взглянув на Дика, увидел бы в нем лишь счастливого человека, разгорячившегося спорщика. Не верилось ни Грэхему, ни даже Паоле, прожившей с Диком целых двенадцать лет, что от его будто случайных, рассеянных взглядов не ускользает ни одно движение их рук, ни перемена позы, ни один оттенок выражения на их лицах.

«Что это значит? — втайне дивился Дик. — Паола положительно нервничает и все сваливает на наш разговор. А Грэхем бледен. Голова у него работает плохо; он думает о чем-то другом, а вовсе не о том, о чем говорит. О чем бы это?».

А демон многословия, за которым Дик скрывал свои тайные мысли, казалось, целиком завладел им.

— Сегодня первый раз в жизни я готова возненавидеть четырех мудрецов, — сказала Паола вполголоса Грэхему, когда он, наконец, удовлетворил компанию своими сведениями.

Дик же, продолжая ораторствовать и хладнокровно развивая свою точку зрения, по-видимому, всецело поглощенный спором, видел, как Паола что-то тихо сказала, и, хотя до него не дошло ни одно ее слово, он заметил, что нервное

ее состояние усиливается, заметил и безмолвное сочувствие Грэхема и думал в действительности больше всего о том, чем заняты ее мысли, а своим слушателям громко говорил:

— И Фишер, и Спенсер согласны с тем, что среди низших рас лиц крупных индивидуальностей очень мало в сравнении с громадным разнообразием индивидуальностей, скажем, французского, немецкого или английского народа.

И никто за столом не подозревал, что Дик нарочно закинул удочку, изменив направление разговора. И Лео не догадался, что это Дик с каким-то сознательным сатанинским искусством, а вовсе не сам Лео изменил ход разговора тем, что спросил, какую роль играют в этих бегах на скорость женщины.

— Женщины спортом не занимаются, дружок, — ответил ему Терренс, подмигнув прочей компании. — Женщины консервативны. Они сохраняют устойчивость основного типа. Они закрепляют его и держатся за него, они — комок грязи, приставшей к колеснице прогресса. Если бы не женщины, то каждый из нас, мужчин, был бы господствующей единицей. Вы сравните мои слова с произведениями самого ученого и практичного Менделя, и вы убедитесь, что он

подтверждает мое мнение, хотя оно, может быть, и кажется вздорным.

— Прежде всего, — остановил его Дик, — уточним, о чем мы говорим, и поставим вопрос конкретно: что такое женщина? — спросил он серьезно.

— Древние греки говорили, что женщина — неудавшаяся попытка природы создать мужчину, — ответил Дар-Хиал, и в углах его рта заиграла насмешка, а его тонкие циничные губы дрогнули.

Лео был шокирован, он весь вспыхнул. По глазам его было видно, что он страдает от таких слов, и он с дрожащими губами с мольбой оглянулся на Дика.

— Ни то ни сё, — шутил Хэнкок. — Рука Божия, верно, протянулась только наполовину и оставила ее с половинкой души.

— Нет, — не выдержал юный поэт. — Не смейте говорить такие вещи! Дик, вы сумеете им ответить. Говорите же, убедите их.

— Я с удовольствием, — ответил Дик, — но этот спор о душах так же неясен, как и само понятие души. Все мы знаем, что часто ходим ощупью, чувствуем себя как бы потерянными, и что, в сущности, никогда мы так не теряем самих себя,

как когда нам кажется, что знаем, к чему пришли, и что мы все в себе полностью разобрались. А разве сумасшедший намного или только немного безумнее нас? А что такое идиот? Или слабоумный ребенок? Или лошадь? Собака? Москит? Лягушка? Клещ древесный? Вот вы, Лео, что скажете о вашей личности, когда вы спите и видите сны? Когда у вас морская болезнь, когда вы влюблены? Когда у вас расстройство желудка? Когда вашу ногу сводит судорога? Когда вас внезапно охватывает страх смерти? Когда вы сердитесь? Когда вы преисполнены красоты вселенной и думаете, что ваши мысли не выразить словами?

Если бы вы действительно думали, ваше ощущение красоты вселенной могло бы быть выражено в словах и высказано. Оно было бы ясно, резко и определенно. Вы бы могли вложить его в слова. Ваша личность была бы так же ясна, отчетлива и определенна, как мысли и слова. Итак, когда вам кажется, что вы находитесь в исключительном экстазе, что вы достигли вершины своего земного странствия, в действительности вы полны внутреннего трепетания и ваши органы чувств просто увлекают вас в безумную оргию, причем вы сами не различаете ни одного па в вашей пляске и совершенно не улавливаете

смысла вашей оргии. Вы сами себя не знаете. Ваша душа, ваша личность в этот момент — нечто смутное и неопределенное. Вполне возможно, что и лягушка, вздувающаяся, сидя на берегу пруда и квакая в темноте бородавчатому дружку, обладает в этот момент смутной и невыясненной индивидуальностью.

Личность — нечто такое смутное, что наши сами по себе неотчетливо разграниченные личности никак не могут охватить это понятие. Есть на свете люди — с виду мужчины, но личность у них женская, есть многосложные личности, а иные люди так себе — ни рыба ни мясо. Наши личности, если таковые есть, парят туманом и редки для них проблески света. Кругом туман, и все мы — туманности, запутавшиеся в тайнах.

— А может быть, это мистификация, а вовсе не тайна, мистификация, придуманная самим человеком? — сказала Паола.

— Вот изречение подлинной женщины, которая, по мнению Лео, отнюдь не — недоразвившаяся душа, — шутливо ответил Дик. — Дело в том, Лео, что и души переплелись и запутались, и ничего мы не знаем об одном, а о другом еще меньше.

— Но женщины прекрасны, — пробормотал

юноша.

— Ах, вот как! — вмешался Хэнкок, и его черные глаза коварно заблистали. — Итак, Лео, вы отождествляете женщину с красотой?

Губы молодого поэта шевельнулись, он кивнул.

— Возьмем живопись, и мы увидим, что за последние тысячи лет она, служившая отражением условий экономических и политических институтов всего человечества, лепила и окрашивала женщину как предмет людских желаний и позволяла…

— Перестаньте дразнить Лео, — вмешалась Паола, — будьте, наконец, искренни и скажите, что вы действительно знаете и во что верите.

— Тема о женщине — предмет священный, — торжественно провозгласил Дар-Хиал.

— Мы знаем тип мадонны, — сказал Грэхем, тоже вступая в разговор, чтобы поддержать Паолу.

— А также ученой женщины, — прибавил Терренс, которому Дар-Хиал одобрительно кивнул.

— Не говорите все сразу, — обратился к ним Хэнкок. — Рассмотрим сначала культ мадонны. Это был особый культ женщины, имеющий отношение к общему культу женщины, распространенному и до нашего времени и которому

верен и Лео. Мужчина — ленивое, прожорливое животное. Он терпеть не может, чтобы ему мешали, он любит покой, отдых. И вместе с тем с самого возникновения мира он посажен в одно седло с беспокойным, нервным и истерическим спутником по имени женщина. У нее свои настроения, слезы, тщеславие; она сердится и к тому же морально безответственна. Уничтожить ее он не мог, и поэтому ему пришлось мириться с ней, хотя она постоянно нарушала его покой. Что же ему оставалось делать?

— Он уже найдет что делать — такой хитрец, — вмешался Терренс.

— Он создал из нее небесный образ, — продолжал Хэнкок, — он идеализировал все ее хорошие свойства и так отстранил ее от себя, что ее дурные свойства уже не могли действовать ему на нервы и не мешали ему лениво покуривать свою трубку, созерцая звезды. А когда обыкновенная женщина пыталась ему мешать, он окончательно изгонял ее из своих мыслей и отныне помнил только о своей небесной возлюбленной — совершенстве, носительнице и хранительнице бессмертия.

— А потом наступила Реформация. Культ матери померк. А мужчина все еще сидел в одном седле с разрушительницей своего покоя. Как же

он тогда поступил?

— Ах он мерзавец! — усмехнулся Терренс.

— Он сказал: «Я сотворю из тебя мечту и иллюзию», — и так он и сделал. Мадонна была для него небесным существом, высшим идеалом женщины, и ее идеал он перенес на земных женщин, на всех женщин и забавлялся тем, что с тех пор верит в нее, как Лео.

— Вы обнаруживаете поразительно глубокое знание о зловредности женщины, особенно имея в виду, что сами не женаты, — заметил Дик. — Или это все теория?

Терренс расхохотался.

— Дик, дружище, Аарон только что читал Лауру Мархольм. Он знает наизусть каждую строчку — вот откуда это все.

— А за всем этим разговором о женщине мы еще не коснулись и края ее одежды, — заметил Грэхем, и Паола и Лео обернулись на него с благодарностью.

— Ведь есть же еще и любовь, — вздохнул Лео, — никто еще ни слова не говорил о любви.

— И о законах, о браках и разводах, о полигамии, о моногамии, о свободной любви? — затараторил Хэнкок.

— Но почему же, Лео, — спросил Дар-Хиал, — в

игре любви всегда преследует женщина, почему она — хищница?

— Это все неверно, — ответил юноша с видом спокойного превосходства. — Это глупости, придуманные Бернардом Шоу.

— Браво, Лео, — захлопала Паола.

— Значит, вы находите, что Уайльд не прав, утверждая, будто вся тактика женской атаки выражается в том, что она совершенно неожиданно и непонятно уступает? — спросил Дар-Хиал.

— Да разве вы не видите, — запротестовал Лео, — что со всеми вашими умными речами вы делаете из женщины чудовище, хищницу, — и он обратился к Дику, бросив на Паолу беглый взгляд, в котором светилась вся его чистая любовь к ней. — Что же она — хищница, Дик, что вы скажете?

— Нет, — тихо ответил Дик, и в голосе его послышалась мягкость, когда он заметил взгляд влюбленного мальчика. — Не скажу, чтобы женщина была хищным существом. Не скажу также, что на нее вечно нападают. И не согласен с тем, что она служит мужчине неизменным источником радости. Но что она приносит много радости мужчине, это так.

— И толкает его на много глупостей, — добавил

Хэнкок.

— И глупости бывают прекрасны, — торжественно заявил Дик.

— Но у меня еще вопрос, — сказал Дар-Хиал. — Лео, почему женщина любит того, кто ее бьет?

— И не любит того, кто ее не бьет? Так, что ли? — иронизировал Лео.

— Вот именно.

— Вот что, Дар-Хиал, отчасти вы правы, но не совсем. Вы приучили меня к точным определениям, хоть сами вы обходите их весьма хитро. Так вот, я заполню этот пробел. Мужчина, который бьет любимую женщину, — мужчина низшего типа. Женщина, любящая мужчину, который ее бьет, — тоже существо низшего типа. Мужчина благородный никогда не бьет любимой женщины, и женщина благородная, — глаза Лео невольно снова обратились к Паоле, — конечно, не может любить мужчину, который ее бьет.

— Правильно, — серьезно сказал Дик, — уверяю вас, я ни разу не бил Паолу.

— Итак, видите, Дар-Хиал, — продолжал Лео, покраснев, — вы совершенно не правы. Паола любит Дика, хотя он ее не бьет.

Точно развеселившись, Дик обернулся к Паоле, как бы ища у нее молчаливой поддержки послед-

них слов юноши, но в действительности он хотел увидеть, какое впечатление на нее произвели последние слова Лео.

И он в самом деле увидел в ее глазах что-то для него непонятное. Но лицо Грэхема оставалось бесстрастным, он по-прежнему казался заинтересованным в разговоре, но и только.

— Сегодня женщина несомненно обрела своего святого Георгия, — похвалил Грэхем Лео. — Лео, вы меня пристыдили. Я сижу спокойно, а вы боретесь с тремя драконами.

— И с какими драконами! — вмешалась Паола. — Они ведь и О'Хэя напоили, что же они с вами сделают, Лео!

— Никакие драконы в мире не устрашат истинного рыцаря любви, — вставил Дик. — А в данном случае, Лео, лучше всего то, что драконы гораздо более правы, чем вы думаете, а, в конечном счете, вы все же еще более правы, чем они.

— В моем лице вы имеете доброго дракона, молодой человек, — заговорил Терренс. — Этот дракон намерен отступиться от своих недостойных товарищей и перейти на вашу сторону. Отныне он будет именоваться святым Теренцием. И этот святой Теренций хочет задать вам презанимательный вопрос.

— Дайте сперва прорычать свое мнение другому дракону, — перебил Хэнкок. — Лео, именем всего, что есть в любви прекрасного и пленительного, я вас спрашиваю: почему мужчины убивают из ревности любимую женщину?

— Потому что им больно, потому что они теряют рассудок, — ответил тот, не задумываясь, — и потому, что они имели несчастье полюбить женщину низшего порядка, давшую им повод к ревности.

— Но любовь может заблуждаться, — бросил Дик. — Дайте нам более исчерпывающий ответ.

— Дик прав, — дополнил Терренс, — и я помогу вам вашим же собственным оружием. Любовь и людей высшего порядка приводит иногда в заблуждение, а тут-то выступает зеленоглазое чудовище — ревность. Вообразите себе, что самая совершенная женщина в мире перестает любить мужчину, который ее отнюдь не бьет, и влюбляется в другого мужчину, который ее тоже любит, а бить вовсе не намерен. Что же в таком случае? Имейте в виду, я говорю о людях высшего порядка, — ну-ка, обнажайте меч и бейте драконов.

— Первый человек не убьет ее и не обидит, — стойко ответил Лео. — Если бы он ее обидел, то он не был бы тем, каким вы его описываете, он был

бы представителем низшего типа.

— То есть, по вашему, он должен устраниться? — спросил Дик, занявшись сигаретой, чтобы не смотреть никому в лицо.

Лео с важностью кивнул головой.

— Сам бы отступился, а ей бы облегчил положение, да и был бы с ней очень мягок.

— Вот возьмем пример, — заметил Хэнкок. — Предположим, что вы влюблены в миссис Форрест, а она — в вас, и вы ее увозите в большом автомобиле.

— Я бы этого никогда не сделал, — воскликнул Лео с пылающими щеками.

— Послушайте, Лео, мне это не очень-то лестно, — заметила Паола.

— Да ведь это лишь предположение, Лео, — успокоил его Хэнкок.

На Лео жалко было смотреть, голос его дрожал, но он обернулся к Дику и твердо сказал:

— На это ответить должен Дик.

— И отвечу, — сказал Дик. — Я не убил бы Паолу и вас не убил бы, Лео. Надо вести игру честно, от риска не уклоняться. Что бы я ни переживал в душе, я бы вас благословил, дети мои. Но все же… — он остановился, и по смешливым морщинкам в уголках глаз можно было угадать, что

сейчас он настроился весело, — про себя я бы подумал: «Лео совершает жестокую ошибку, — ведь он Паолу не знает».

— Она мешала бы ему созерцать звезды, — улыбнулся Терренс.

— Нет, нет, Лео, я не стала бы мешать, обещаю вам! — воскликнула Паола.

— Напрасно обещаете, миссис Форрест, — уверил ее Терренс. — Во-первых, вы бы и не могли иначе; к тому же такое поведение являлось бы вашей прямой обязанностью, и, наконец, да будет мне позволено высказаться как авторитету: когда я был молод и влюбчив, мечтал о женщинах и заглядывался на звезды, то самым большим для меня счастьем было, если женщина, которую я боготворил, отрывала меня от отвлеченного созерцания.

— Смотрите, Терренс, — воскликнула Паола, — если будете говорить еще много таких же милых речей, то я возьму и убегу в автомобиле с вами и Лео!

— За чем же дело? — галантно отозвался Терренс. — Только, когда будете складывать ваши тряпки, оставьте место и для нескольких книг, чтобы нам с Лео было чем заняться в свободное время.

Завязавшаяся вокруг Лео словесная перестрелка постепенно затихла, и Дар-Хиал с Хэнкоком принялись за Дика.

— Что вы называете честной игрой? — спросил его Дар-Хиал.

— То же самое, что я говорил, и то же, что сказал и Лео, — ответил Дик, учитывая, что с Паолы уже давно как рукой сняло и скуку и раздражение и что она слушает с почти жадным вниманием. — На мой взгляд, — продолжал он, — и при моем характере не придумаешь большего душевного страдания, чем целовать женщину, которая только терпит ваш поцелуй.

— А что, если бы она вас обманывала ради прошлого, или из страха огорчить вас, или из жалости к вам? — доискивался Хэнкок.

— На мой взгляд, это было бы непростительным грехом с ее стороны, — отвечал Дик. — Тут она играла бы нечестно. Я представить себе не могу, какое может быть удовлетворение в том, чтобы удерживать любимую женщину хоть на одну минуту больше, чем ей самой того хочется. Где же тут была бы справедливость? Лео совершенно прав — пьяный слесарь способен кулаками разбудить и удержать любовь своей подруги, существа такого же ординарного, как и он сам. Но мужчина

более возвышенного типа, мужчина, одаренный хоть тенью разума, хоть проблеском духовности, не способен коснуться любви грубыми руками. Как и Лео, я бы всячески облегчил женщине ее путь и был бы с нею очень нежен.

— А что же в таком случае будет с единобрачием вашей западной цивилизации? — спросил Дар-Хиал.

— Значит, вы стоите за свободную любовь? — ввернул вопрос и Хэнкок.

— На это я отвечу одной избитой истиной, — сказал Дик. — Несвободной любви не бывает. Любовь есть любовь, поскольку она свободна. Конечно, не забывайте, что я говорю исключительно с точки зрения человека высшего типа, и пусть эта точка зрения и будет вам ответом, Дар-Хиал. Большинство людей необходимо приковывать к закону и труду с помощью единобрачия или какого-либо другого сурового и непреклонного института. Громадное большинство человеческого рода недостойно свободного брака и свободной любви. Для них свободная любовь означала бы просто свободу распущенности. Лишь только те нации достигли высокого уровня, которые сумели подчинить инстинкты народа, удержать их в дисциплине и порядке под влиянием идеи Бога

и государства.

— Вы, значит, не признаете брачных законов, — переспросил Дар-Хиал, — но для других вы их допускаете?

— Признаю для всех. Необходимость законного брака диктуется детьми, семьей, карьерой, обществом и государством. По той же причине я признаю и развод. Ведь все мужчины и женщины способны любить больше одного раза; у всех старая любовь может умереть, а новая родиться. Государство не властно над любовью, как не властны над ней ни мужчины, ни женщины. Влюбится человек — тут ничего не поделаешь. Он оказывается перед ней, трепещущей, вздыхающей, поющей, захватывающей любовью. А с распущенностью государство обязано бороться.

— Ваше представление о свободной любви что-то уж очень сложное, — заметил Хэнкок.

— Вы правы, но и человек, живущий в обществе себе подобных, — существо очень сложное.

— Но есть мужчины, которые не смогли бы жить без своей возлюбленной, — вдруг удивил всех Лео. — Умри она — умерли бы и они, как и если бы она, живая, полюбила другого.

— Ну, что же! И пусть умирают так же, как они умирали и до сих пор, — угрюмо ответил Дик. — В

их смерти никого винить нельзя. Так уж мы созданы, что сердца наши иногда заблуждаются.

— Но мое сердце никогда бы не заблудилось, — гордо заявил Лео, не подозревая, что его тайна известна всем, сидевшим за столом. — Я бы никогда не мог полюбить дважды.

— Правильно, юноша, — одобрил Терренс, — вашими устами говорит голос любящих всего мира. Радость любви именно в чувстве абсолютности, ведь так говорил Шелли? Или Китс? Поистине жалким любовником был бы тот, кто поверил бы, что есть где-либо на свете женщина, хоть на одну тысячную долю столь же очаровательная и пленительная, такая же обаятельная, великолепная, изумительная, как дама его сердца, и что он способен полюбить эту другую!

Выходя из столовой со всей компанией и продолжая разговор с Дар-Хиалом, Дик думал о том, поцелует ли его Паола на ночь или прямо от рояля убежит к себе? А Паола, говоря с Лео о последнем его сонете, который он дал ей прочесть, думала, можно ли ей, имеет ли она право поцеловать Дика? И ей вдруг страшно захотелось поцеловать его, хотя она и не знала почему.

Глава XXIII

В тот вечер, после обеда, разговоров было мало. Паола пела за роялем, а Терренс вдруг оборвал свою новую тираду о любви, прислушиваясь к чему-то новому, что ему послышалось в ее голосе, и потихоньку прошел к Лео, растянувшемуся во весь рост на медвежьей шкуре. Дар-Хиал и Хэнкок тоже перестали спорить и уселись поодаль друг от друга в глубоких креслах. Грэхем принял равнодушный вид; он казался погруженным в какой-то журнал, хотя Дик заметил, что он не переворачивал страницы. И от него также не ускользнул новый оттенок в голосе жены, и он задумался над этим и пытался найти объяснение.

Когда Паола закончила, мудрецы все наперебой стали объяснять ей, что наконец-то она пела с полным самозабвением, пела так, как они всегда от нее ожидали. Лео лежал неподвижно и молча, обеими руками подперев подбородок. Лицо его точно преобразилось.

— Это всё разговоры о любви, — засмеялась Паола. — Красивые мысли, которые развивали и вложили мне в голову Лео и Терренс… и Дик.

Терренс тряхнул своей длинной седеющей

гривой.

— Вы хотите сказать, вложили вам в сердце, — поправил он ее. — Сегодня вашим голосом поет сама любовь, и впервые я слышал всю его полноту. И больше никогда не смейте жаловаться, что голос у вас слабый. Он густой, округлый, точно канат, большой золотой канат для причала кораблей, груженных сокровищами с блаженных островов.

— За это я вам спою еще «Хвалу», — ответила она, — и мы отпразднуем поражение дракона, убитого святым Львом, святым Теренцием… и, конечно, святым Ричардом.

Дик не пропустил ни одного слова из разговора, но, не желая принимать в нем участие, подошел к скрытому в стене шкафчику и налил себе виски с содовой.

И пока Паола пела свою «Хвалу», он тихонько пил, полулежа на кушетке и невольно отдаваясь воспоминаниям. Один раз как-то, уже давно, он слышал у нее такой голос — это было в Париже, в дни, когда они так быстро полюбили друг друга, и потом еще раз во время медового месяца на яхте.

Немного погодя он пустым стаканом подозвал к себе Грэхема, приготовил ему и себе по стакану, а когда Грэхем выпил, предложил Паоле и ему

спеть «По следам цыган».

Но она отрицательно покачала головой и запела «Das Kraut Vergessenheit».

— Какая это была женщина! Это была ужасная женщина! — вырвалось у Лео, когда она умолкла. — А вот он был настоящим любовником. Она разбила его сердце, а он все равно ее любил. Другой раз он уже полюбить не сможет, потому что не сможет забыть своей любви к ней.

— А теперь, Багряное Облако, «Песню о желуде», — сказала Паола, улыбаясь мужу. — Поставь стакан, будь милым и «сажай желуди».

Дик лениво поднялся, задорно потрясая головой, точно встряхивая гривой, и тяжело затопал ногами, подражая Горному Духу.

— Пусть Лео знает, что не он один у нас поэт и рыцарь любви. Вы послушайте песню Горного Духа, Терренс, послушайте, сколько в ней исступленного восторга. Горный Дух не вздыхает по возлюбленной, нет, нет! Он воплощение любви и идет напролом и высказывается, не стесняясь. Слушайте!

Дик заполнил комнату мастерским подражанием исступленному, радостному, торжествующему ржанию жеребца и, как бы встряхивая гривой, топая ногами, затянул полуречитативом:

— «Внемлите! Я — Эрос. Я попираю копытами холмы, мой зов заполняет все широкие долины! Кобылы слышат меня и волнуются на своих мирных пастбищах, ибо они меня знают. Трава растет все роскошнее и роскошнее, земля наливается, наливаются и деревья. Пришла весна — весна моя. Я здесь властелин, я царствую над весной. Кобылы помнят мой голос, как до них помнили их матери. Внемлите! Я — Эрос, я попираю копытами холмы, а широкие долины возвещают о моем приближении своим эхом!»

Философы слышали эту песню Дика впервые и громко зааплодировали. Хэнкок хотел было воспользоваться песней как поводом для нового спора и только собрался развить биологическое определение любви, данное Бергсоном, как его остановил Терренс, заметивший огорченное лицо Лео.

— Пожалуйста, продолжайте теперь вы, — попросил Терренс Паолу. — Спойте нам еще про любовь, только про любовь; я лучше предаюсь размышлениям под аккомпанемент женского голоса.

Немного погодя вошел О-Пой и, дождавшись, пока Паола кончит петь, бесшумно подошел к Грэхему и подал ему телеграмму. Дик досадливо

нахмурился.

— Кажется, очень важная, — пояснил китаец.

— Кто принимал? — спросил Дик.

— Я… я принимал, — ответил тот. — Ночной дежурный в Эльдорадо вызвал к телефону. Он сказал, что важная. Я принял.

— Да, довольно важная, — подтвердил Грэхем, прочитав. — Есть сегодня поезд на Сан-Франциско, Дик?

— О-Пой, подождите-ка минуту, — позвал Дик, глядя на часы. — Какой поезд на Сан-Франциско останавливается в Эльдорадо?

— В одиннадцать часов десять минут, — последовал немедленный ответ. — Времени не так много. Позвать шофера?

Дик кивнул.

— Вам обязательно сегодня же? — спросил он Грэхема.

— Обязательно. Дело важное. Уложиться успею?

Дик еще раз утвердительно кивнул О-Пою, а Грэхему сказал:

— Успеете взять самое необходимое. — Он обернулся к О-Пою. — Что, О-Дай еще не ложился?

— Нет.

— Пошлите его в комнату мистера Грэхема,

пусть поможет. А мне скажите, как только автомобиль будет готов. Скажите Сондерсу, чтобы взял гоночный.

— Вот это малый… — заметил Терренс, когда Грэхем вышел из комнаты.

Все общество собралось вокруг Дика, только Паола продолжала сидеть у рояля, прислушиваясь к разговору.

— Он из немногих людей, с которыми я готов в огонь и в воду, в безнадежную атаку или куда угодно, — говорил Дик. — Он был на «Недермэре», когда он сел на мель у Панго во время урагана девяносто седьмого года. Панго — необитаемая песчаная коса, футов двенадцать над водой, и ничего, кроме кокосовых пальм. Среди пассажиров было сорок женщин, большей частью жены английских офицеров. У Грэхема болела рука, распухла — величиной с ногу, — от змеиного укуса.

Море было такое бурное, что никакая лодка не могла уцелеть. Две были разбиты в щепки, и обе их команды погибли с пассажирами. Затем четверо матросов вызвались стащить легкий линь на берег. И всех их, одного за другим, пришлось втаскивать обратно на судно уже мертвых. Пока отвязывали последнего, Грэхем, — со своей-то рукой, толщиной с ногу! — разделся и поплыл. И

добрался, несмотря на то, что удары песка переломили ему больную руку и вдавили три ребра. Он успел закрепить линь. Тут еще шестеро мужчин вызвались стащить канат по линю Ивэна и натянуть его на берегу.

Добрались четверо. Из всех сорока женщин погибла всего одна, да и то не утонула, а умерла от разрыва сердца.

Я его потом расспрашивал об этой истории, но он молчит с упрямством англичанина! Все, что я мог от него добиться, — это, что выздоровление шло без особенных осложнений. Он уверял, что морская вода, сильный моцион и перелом кости подействовали как бы противоядием и принесли руке только пользу.

В эту минуту в комнату вошел О-Пой, а с другой стороны — Грэхем; Дик заметил, что последний прежде всего поискал глазами Паолу.

— Все готово, — доложил О-Пой.

Дик встал, чтобы проводить гостя к автомобилю, но Паола, по-видимому, не собиралась выходить из дому; Грэхем направился к ней, чтобы проститься и, как полагается, выразить благодарность за гостеприимство и сожаление, что так спешно уезжает.

А она, взволнованная рассказом Дика, поджи-

дала его, невольно восхищаясь всей его благородной осанкой, легкой, горделивой посадкой головы, небрежно зачесанными волосами цвета обожженного на солнце песка, походкой, такой гибкой и свободной, при всей тяжести тела и ширине плеч; и пока он подходил к ней, она неотступно смотрела на продолговатые серые глаза со слегка опущенными веками, в которых ей всегда чудилось какое-то ребячливое упрямство. Она ждала, что оно исчезнет и глаза засветятся такой знакомой уже улыбкой.

Все, что он говорил, и ее ответ были довольно банальны, но в глазах его, когда он на секунду задержал ее руку в своей, было именно то выражение, которого она бессознательно искала, и она ответила тем же своими глазами. То же значение крылось и в его рукопожатии, и неожиданно для себя она тоже одну секунду задержала его руку и крепко сжала ее. Он был прав, им не требовались слова.

В то мгновение, когда их руки разжались, она быстро оглянулась на Дика; за двенадцать лет супружества она убедилась в его молниеносной наблюдательности, и почти сверхъестественная способность отгадывать факты по одним оттенкам и собирать их в выводы, поразительные по

своей меткости и основательности, внушала ей нечто вроде благоговейного ужаса. Но Дик, повернувшись, смеялся над какой-то выходкой Хэнкока и, выходя за Грэхемом, весело оглянулся.

Нет, подумала она, Дик не уловил их маленькой тайны. Да и много ли было тайного! Всего одна секунда. Свет промелькнул в глазах, мускулы пальцев дрогнули и тут же разомкнулись. Разве мог Дик это увидеть или почувствовать? Их глаза были от Дика скрыты так же, как и сомкнутые руки. Грэхем в эту минуту стоял к нему спиной. И все же ей было неприятно, что она сейчас же взглянула на Дика. Она чувствовала себя виноватой и мучилась этим, глядя вслед обоим выходящим мужчинам. Оба рослые, осанистые, русые. В чем же, собственно, она провинилась, спрашивала она себя. Что ей скрывать? И все же она была слишком честна, чтобы не посмотреть правде в лицо и не признаться самой себе, что у нее в сущности есть что скрывать. И ее щеки зарделись от одной мысли, что ее несет к обману.

— Я всего на несколько дней, — говорил Грэхем Дику, пожимая ему руку у автомобиля.

Дик обратил внимание на прямой, открытый взгляд его глаз, почувствовал твердость и сердечность пожатия его руки. Грэхем как будто хотел

еще что-то сказать, но промолчал.

— Ну, а когда вернусь, мне придется укладываться основательно.

— А книга? — запротестовал Дик, внутренне проклиная себя за обдавшую его при словах приятеля волну радости.

— Вот именно книга, — ответил Грэхем. — Надо ее кончать. Но я не могу работать так, как вы. Слишком здесь хорошо. Не могу засесть за работу. Сижу над ней, сижу, а злодеи-жаворонки все поют, и вот я уже вижу поля и лесистые горы, Селима. Просижу часок напрасно, позвоню и велю седлать Селима. А не это, так тысяча других соблазнов.

Он встал на подножку уже трогающегося автомобиля и прибавил:

— Ну, до свидания, дружище.

— Возвращайтесь и возьмите себя в руки, — уговаривал Дик. — А если иначе нельзя, так мы вам составим расписание на каждый день. Я буду вас запирать, пока не сделаете запланированное. А если за день не справитесь, так и просидите весь день взаперти. Вы у меня работать будете! Сигареты есть? Спички?

— Все есть.

— Ну, трогайте, Сондерс, — приказал Дик шофе-

ру. Автомобиль словно прыгнул в темноту из-под ярко освещенных ворот.

Вернувшись в дом, Дик застал Паолу за роялем; философы молча слушали; он прилег на кушетку и думал, поцелует она его сегодня на ночь или нет?

Такого обряда или обычая у них не было. Очень и очень часто он ее не видел до полудня. И очень часто она уходила к себе рано, совсем незаметно и не целуя мужа на ночь, боясь намекнуть гостям, что пора расходиться.

«Поэтому, — убеждал себя Дик, — если она не поцелует меня именно сегодня вечером, то из этого ничего не следует». И все же он ждал.

Она все пела и играла, пока он не заснул. Когда проснулся, он уже был один в комнате. Паола и мудрецы вышли потихоньку. Он взглянул на часы. Был час ночи. Она заигралась необыкновенно поздно. Он сообразил, что она вышла только сейчас. Его разбудило именно то, что музыка смолкла и никто в комнате не шевелился.

И все же он надеялся. Ему часто случалось вздремнуть под ее музыку, и всегда в таких случаях, кончив играть, она будила его поцелуем и отправляла спать. Но сегодня она этого не сделала. Впрочем, она еще могла вернуться. Он остался

и подремал еще. Когда он снова взглянул на часы, было уже два часа. Нет, не вернулась.

Он гасил электричество, а в голове его смыкалось в стройный ряд догадок и сомнений множество незначительных пустяков.

А у себя, в своем спальном портике, взглянув на барометры и термометры, он посмотрел на портрет Паолы в деревянной оправе; стоя перед ним, даже наклонившись к нему, он долго изучал ее смеющееся лицо.

— Что же, — бормотал он, натягивая на себя одеяло, подпирая подушки и протягивая руку за корректурами, — что бы ни случилось, мне придется сыграть свою роль до конца. — Еще раз он покосился на ее портрет. — А все же, маленькая моя женщина, лучше бы ты этого не делала, — вздохнул он на прощание.

Глава XXIV

Как нарочно, не считая случайных гостей, наезжавших к завтраку или к обеду, Большой дом был пуст. Тщетно Дик и в первый и во второй день после отъезда Грэхема распределял свою работу так, чтобы быть свободным на случай, если Паола предложит прокатиться днем верхом или поплавать.

Он заметил, что она избегает всех случаев, когда бы он мог ее поцеловать. Она кричала ему «спокойной ночи» из своего спального портика, через широкий внутренний двор. В первое утро к одиннадцати часам он приготовился к ее визиту. Когда пробило одиннадцать, он покончил с мистером Эгером и мистером Питтсом, несмотря на то что они еще не решили многих важных вопросов, касающихся ярмарки скота в имении. Что она встала, он знал, потому что слышал ее пение. Перед ним стоял поднос, заваленный письмами, которые он должен был подписать. Но он поджидал ее, сидя у себя за столом и раз в жизни свободный. Он вспомнил, что утренние посещения установила она и строго поддерживала этот обычай. Как очарователен, думал он, этот

ее нежный певучий привет: «С добрым утром, славный господин!» С каким наслаждением он держал в объятиях ее изящную фигурку в утреннем кимоно.

Вспомнил он также и то, как часто сам сокращал этот короткий визит, давая ей понять, что он очень и очень занят.

И вспомнилось ему, что не раз он видел тень легкой грусти, набегавшей на ее лицо, когда она уходила.

Четверть двенадцатого. А ее нет. Он снял трубку телефона, чтобы позвонить на молочную ферму, и, переговорив, не успел повесить трубку, как услышал голос Паолы, говорившей с какой-то дамой:

— Да бросьте вы его совсем, вашего мистера Уэйда. Забирайте всех маленьких Уэйдов и переезжайте к нам хотя бы на два-три дня.

Это было очень странно. Паола всегда радовалась, когда не было гостей и они хоть на день, на два, а то и больше остаются одни, и вдруг она уговаривает миссис Уэйд приехать из Сакраменто. Будто Паола не хочет оставаться с ним наедине. Точно старается защитить себя, окружить себя посторонними.

Он усмехнулся про себя при мысли, как ему

теперь стали дороги ее визит и ласка, теперь, когда она ему в них отказала! Ему пришло в голову увезти ее с собой в одну из тех дальних экспедиций, какие он с ней нередко предпринимал. Быть может, это развяжет узел, он будет все время с ней и снова приблизит ее к себе. Почему бы не поехать поохотиться на Аляску? Ей этого давно хочется. Или еще раз пространствовать на яхте по Южным морям? Теперь пароходы идут прямо от Сан-Франциско в Таити. Через двенадцать дней они могли бы высадиться в Папаэте. А что, интересно, держит ли там еще Лавиния свой пансион? Он уже видел себя и Паолу на веранде у Лавинии, под тенью манговых деревьев.

Он тяжело стукнул кулаком по столу. Нет, черт возьми, он не трус и не хочет убегать с женой из страха перед кем бы то ни было. Да и честно ли по отношению к ней увозить ее от того, к кому ее, возможно, влечет?

Правда, он не знает, к чему ее влечет, и не знает, как далеко зашли их отношения. А что, если это только весенний бред, который исчезнет вместе с весной? К несчастью, он не мог не вспомнить, что за все двенадцать лет их супружества она не проявляла ни малейшей склонности к такому бреду. Она ни разу не давала ему повода хотя бы

к минутному сомнению. Ею увлекались часто, и ей приходилось встречаться со многими мужчинами; она принимала их поклонение и даже ухаживания, но всегда оставалась верной себе, спокойной и ровной — женой Дика Форреста.

— С добрым утром, славный господин! — она выглядывала из-за двери, непринужденно улыбаясь ему глазами, и кончиками пальцев посылала ему воздушный поцелуй.

— С добрым утром, ясный месяц, — ответил он так же совершенно естественно.

Вот сейчас она войдет, думал он, он обнимет ее и поцелует.

Он протянул к ней руки, как бы приглашая. Но она не вошла. Вместо этого она вздрогнула, одной рукой собрала кимоно у груди и подобрала шлейф, как бы собираясь бежать, и тревожно посмотрела в глубину коридора. Ему, однако, ничего не послышалось, хотя слух у него был острый. Она снова обернулась к нему с улыбкой, опять послала ему воздушный поцелуй и исчезла. Десять минут спустя, когда вошел Бонбрайт, он все еще сидел неподвижно у письменного стола, но телеграммы стал слушать, хотя и рассеянно.

А она! А у нее на душе было хорошо! Дик слишком уже давно знал все ее настроения и понимал

теперь, как она себя чувствует, раз ее пение разносится по всему дому, под сводами и по крытому двору. Он не вышел из рабочего кабинета, пока не пробили к завтраку, а она не зашла за ним по пути в столовую, как это иногда бывало. Когда зазвонил гонг, он слышал, как ее пение замирает по направлению к столовой.

За завтраком почти все время разглагольствовал случайный гость, полковник Гаррисон Стоддард, служивший раньше в Национальной гвардии, а теперь оставивший службу и сделавшийся богатым коммерсантом; помешанный на вопросе об экономических взаимоотношениях в связи с социальным вопросом, он говорил о расширении закона об ответственности работодателей так, чтобы подвести под него и сельских батраков. Но Паола все-таки улучила минуту, когда он перестал, и сказала Дику, что она думает до обеда проехать в Уикенберг, к Мэзонам.

— Понятно, я не могу сказать точно, когда вернусь, — ты ведь их знаешь, а тебя я и звать не смею, хотя хорошо бы, если и ты поехал…

Дик покачал головой.

— Итак, — продолжала она, — если тебе не нужен Сондерс…

Дик кивнул головой в знак согласия.

— Я сегодня беру Каллахана, — сказал он, тут же составив себе план на день, раз уже не получалось провести его с Паолой. — Но я никак не возьму в толк, Паола, почему ты предпочитаешь Сондерса. Каллахан лучше водит и, конечно, надежнее.

— Может быть, именно поэтому, — улыбнулась она. — Чем надежнее, тем и едет тише.

— Не знаю, на гонках я бы держал за Каллахана против Сондерса, — настаивал Дик.

— А ты куда поедешь? — спросила она.

— Хочу показать полковнику Стоддарду знаменитую ферму с одним человеком и без лошадей! Автоматически обработанные десять акров! У меня там подготовлен ряд усовершенствований, и я уже целую неделю собираюсь поехать испытать их, но все недосуг. А затем повезу его смотреть нашу колонию — за прошлую неделю там пятеро прибавилось.

— Я думала, что там уже полный комплект, — бросила Паола.

— Да так и есть, — улыбнулся Дик во весь рот. — Это новорожденные. У одних целая двойня.

— Об этом вашем опыте немало умников перешептывается, а я позволю себе пока воздержаться от какого-либо суждения. Вы меня убедите вашей бухгалтерией, — отозвался и полковник Стод-

дард, довольный тем, что хозяин ему все покажет лично.

Но Дик едва слышал, что он говорит, под наплывом своих мыслей: Паола не упомянула, приедет ли миссис Уэйд с детьми, и даже не сказала, что она их пригласила. Впрочем, Дик старался успокоить себя тем, что и это ровно ничего не значит, что и ей и ему часто случалось приглашать гостей, не сговариваясь.

Было, однако, ясно, что в этот день миссис Уэйд не приедет, иначе Паола не уезжала бы за тридцать миль в долину. Вот в этом-то и дело. На это нельзя закрывать глаза. Она убегает, и убегает от него. Она боится оставаться с ним наедине, хочет избежать возможных неловких ситуаций, уже почти неизбежных; а коль она считает близость с мужем опасной для себя, отсюда следует единственный вывод, именно тот, которого он и боялся. Она устраивает и вечер, к обеду нарочно опоздает; может быть, привезет с собою всю компанию из Уикенберга. Возможно, приедет совсем поздно, с расчетом, что он уже спит. «Ну, что же, я ее планов расстраивать не буду», — упрямо решил он, отвечая полковнику Стоддарду:

— На бумаге опыт дает великолепные результаты, но остается возможность случайности, да

и ошибки, свойственные человеческой природе, не исключены. В них-то, по-моему, и кроется опасность, в этом-то и сомнения — в самой человеческой природе; но убедиться нельзя иначе, как проверив дело на практике.

— Дику уже приходилось рисковать, — заметила Паола.

— Но пять тысяч акров! И все оборудование, и весь оборотный капитал для двухсот пятидесяти фермеров, да еще по тысяче долларов каждому! — с ужасом воскликнул полковник Стоддард. — Представьте себе, что ваш опыт окажется неудачным, — еще несколько таких неудач — и придется обращаться к вашим рудникам.

— Это рудникам не помешает, — отшутился Дик.

Полковник Стоддард взглянул на него с недоумением.

— Именно так, — повторил Дик, — ведь рудники затоплены; вам известно положение в Мексике.

На утро второго дня, когда должен был вернуться Грэхем, Дик собрался выехать верхом до одиннадцати, чтобы не переживать еще раз испытанной накануне боли, когда Паола не вошла к нему в комнату, а окликнула только издали.

В коридоре он встретил О-Ха с целым снопом свежей сирени. Он явно шел по направлению к башне, но Дик пожелал удостовериться.

— Куда вы несете цветы, О-Ха? — спросил он.

— В комнату мистера Грэхема, он сегодня возвращается.

«Кто же об этом подумал? — старался угадать Дик. — О-Ха? О-Пой? Или Паола?». Он припомнил, что Грэхем несколько раз говорил при нем, что ему нравится их сирень. Он пошел дальше по направлению к башне. В открытые окна из комнаты Грэхема доносился голос Паолы, весело что-то напевавшей. Дик быстро прикусил нижнюю губу и продолжал свой путь.

«В этой комнате перебывало много знаменитых и даже выдающихся мужчин и женщин, но никогда, — подумал Дик, — она собственноручно не украшала ее цветами. Этим обыкновенно занимался либо сам О-Пой, большой мастер этого дела, или по его поручению это делали им же обученные слуги».

Его нагнал Бонбрайт и вручил ему несколько телеграмм, из них одну от Грэхема. Дик перечел два раза, хотя смысл ее был вполне ясен: его возвращение откладывалось.

Против обыкновения, Дик не стал ждать второ-

го удара гонга к завтраку. Он прошел в столовую, как только раздался первый удар, чтобы выпить коктейль, приготовленный О-Поем, он чувствовал, что ему нужно подбодрить себя после эпизода с сиренью. Но Паола его опередила. Он застал ее, так редко пьющую и никогда не пьющую в одиночестве, с пустым бокалом коктейля, который она как раз ставила на поднос.

«Значит, ей тоже понадобилось подбодрить себя к завтраку», — заключил он, кивнув О-Пою и подняв указательный палец.

— Поймал на месте преступления, — весело пригрозил он Паоле: — Попиваете себе втайне, сударыня, это признак очень серьезный. Не думал я, когда стоял с тобой перед алтарем, что моя жена окажется алкоголичкой!

Не успела она ответить, как в комнату вошел молодой человек, которого Дик приветствовал, предложив и ему выпить коктейль. Дик старался убедить себя, что Паола вовсе не чувствует облегчения от прибытия нежданного гостя. Но никогда раньше он не видел, чтобы она была так любезна с этим Уинтерсом, как сейчас, хотя встречалась с ним часто. Во всяком случае, за завтраком их будет трое.

Уинтерс, окончивший сельскохозяйственный

колледж и состоявший сотрудником «Тихоокеанской сельской прессы», постоянно пользовался покровительством Дика; сегодня он приехал к нему за справками для статьи о видах рыб в Калифорнии; Дик тут же подумал, что проведет день с ним вместе.

— У меня от Ивэна телеграмма, — сказал он Паоле, — приедет не раньше чем послезавтра в четыре часа.

— После всех моих трудов! — воскликнула она. — Теперь вся сирень завянет!

Дика словно обдало теплой волной. Вот это говорит его честная, откровенная, прямодушная Паола. Что бы ни случилось, чем бы игра ни кончилась, она поведет ее без мелких хитростей. Такой она была всегда — душа ее слишком прозрачна, обманывать она не сумеет.

Но все ж он хорошо сыграл свою роль, бросив на нее довольно рассеянный, вопрошающий взгляд.

— В комнату Грэхема, — пояснила она, — я велела снести целый сноп сирени и сама расставила ее; ты же знаешь, он так любит сирень.

К концу завтрака она так и не упомянула, что должна приехать миссис Уэйд, и Дик окончательно убедился, что она не приедет вовсе, потому что Паола спросила как бы случайно:

— А ты никого не ждешь?

Он покачал головой и спросил в свою очередь:

— А ты сегодня что-нибудь собираешься организовать?

— Ровно ничего. А теперь, пожалуй, и на тебя уже нельзя рассчитывать, раз ты должен дать мистеру Уинтерсу все эти справки.

— Да нет же, можно, — заверил ее Дик. — Я его поручу мистеру Хэнли, у него вся форель на счету вплоть до последней вылупившейся икринки, а окуней он всех зовет по имени. Вот что я тебе скажу, — он остановился как бы в раздумье, и вдруг лицо его осветилось: — Мне хочется передохнуть. Возьмем-ка винтовки и постреляем белок. Я на днях заметил, что их что-то много развелось на холмах над Малым Лугом.

Он не мог не заметить, что в ее глазах быстро вспыхнула тревожная тень и тотчас исчезла, а она захлопала в ладоши и сказала своим обычным голосом:

— Но только для меня ружья не бери…

— Конечно нет, если тебе не хочется, — промолвил он мягко.

— Нет, ехать я хочу, но стрелять нет охоты. Я возьму с собой книгу Ле Галльена, она только что вышла, между делом почитаю тебе вслух.

Помнишь, когда мы в последний раз охотились на белок, я тебе читала его же книгу.

Глава XXV

Паола на Лани и Дик на Фурии ехали настолько близко друг к другу, насколько это допускал необузданный нрав последней. Разговаривать Фурия позволяла только урывками. Прижав свои небольшие уши, оскалив зубы, она старалась ускользнуть из-под стесняющей ее узды и избежать шпор и то и дело норовила как-нибудь укусить или ногу Паолы, или стройный бок Лани; и при каждой неудаче белки ее глаз мгновенно розовели и снова бледнели. Она ни на минуту не переставала беспокойно встряхивать головой, пыталась взвиться на дыбы, быстро пригибала голову к коленям, плясала на месте, шла боком или кружилась.

— Последний год! Больше не буду с ней возиться. Она неукротима. Я уже два года мучусь с ней, а толку никакого. Знает она меня отлично, знает мои привычки, знает, что я ее хозяин, что ей приходится уступать и покоряться, но всего этого ей мало. Она все же питает упорную надежду, что когда-нибудь она меня поймает, и из страха пропустить этот прекрасный момент ни минуты не теряет даром.

— А когда-нибудь она, действительно, может тебя застать врасплох, — сказала Паола.

— Потому-то я от нее и отказываюсь. Не в том дело, что она меня утомляет, но рано или поздно, если только существует закон вероятности, она неизбежно добьется своего. Пусть в ее пользу один из миллиона шансов, но только Богу известно, когда выскочит этот самый роковой шанс.

— Удивительный ты человек, Багряное Облако, — улыбнулась Паола.

— Почему?

— Ты мыслишь статистикой, процентами, средними числами и исключениями. Хотела бы я знать, под какую именно формулу ты подвел меня, когда мы встретились?

— Ну тогда-то я о формулах не думал, — засмеялся он в ответ. — Тут уж все данные пасовали. Я не знал такой статистики, которую можно было бы применить к тебе. Я просто откровенно признался, что напал на удивительнейшее двуногое существо женского пола, что я хочу иметь это существо, хочу так, как в жизни ничего никогда не хотел.

— Ты и добился своего, — продолжала за него Паола. — Но с тех пор, Багряное Облако, позднее, наверное, ты немало построил на мне стати-

стики?

— Да, немало, — признался он. — Но надеюсь, что до последнего итога никогда не дойду.

Его оборвало на полуслове характерное ржание Горного Духа, и показался ковбой верхом на жеребце; Дик с минуту любовался красотой крупной свободной рыси великолепного коня.

— Надо удирать, — предупредил он Паолу, заметив, что Горный Дух, завидев их, перешел на галоп.

Они оба сразу пришпорили своих кобыл и понеслись; за ними раздавались успокаивающие окрики ковбоя, стук тяжелых копыт и дикое властное ржание, на которое мгновенно откликнулась Фурия, а тотчас за нею и Лань. Стало понятно, что настроение Горного Духа бурное. Они свернули на проселочную дорогу и, только проскакав с полсотни шагов, остановились и переждали пока опасность минует.

— Пока что, собственно говоря, от него никто никогда серьезно не пострадал, — заметила Паола, когда они снова выехали на дорогу.

— Если не считать того случая, когда он наступил конюху на ногу. Помнишь, бедняга пролежал тогда в постели целый месяц, — усмехнулся Дик, выравнивая ход снова заплясавшей Фурии и тут

же поймав на себе какой-то загадочный взгляд Паолы.

В этом взгляде он прочел и вопрос, и любовь, и страх — да, почти что страх или, по крайней мере, смущение; опасение, что-то похожее на растерянность, а главное — была какая-то пытливость, что-то выспрашивающее, до чего-то доискивающееся. Не совсем случайно, решил он, было ее замечание по поводу того, что он мыслит статистикой.

Он сделал вид, что ничего не заметил, и, достав блокнот, тут же внес заметку о неисправном стоке воды, мимо которого они проезжали.

— Пропустили момент, — заметил он. — Следовало бы ремонтировать уже месяц тому назад.

— А как обстоит дело с невадскими мустангами? — спросила Паола.

Она вспомнила, как в тот сезон, когда на пастбищах Невады травы взошли плохо, Дику пришло в голову, что уж если придется дать мустангам умереть с голоду, то лучше рискнуть переправить их на дальние, более суровые и дикие пастбища к западу.

— Пора их объезжать, — ответил он. — И я собираюсь на будущей неделе устроить целое пиршество по этому поводу, по старому обычаю.

Что ты на это скажешь? Зажарим свинью и сделаем все, что следует, и пригласим всех соседей.

— А потом ты же сам и не появишься, — возразила Паола.

— Я на день освобожусь. Согласна?

Она одобрительно кивнула головой, и они съехали с дороги, чтобы пропустить три трактора.

— Их везут на луга, — пояснил он.

Съехав с долины и минуя ряд вспаханных полей и рощ, они выехали на дорогу, забитую грузовиками, на которых везли камни с гор для шоссе; с высот доносился гул взрываемых скал.

— Ей, видно, надо побольше моциона, мне не до нее было в последнее время, — заметил Дик, с силой одергивая Фурию, снова оскалившую зубы на опасном расстоянии от бока Лани.

— А я просто бессовестно запустила Дадди и Фадди, — сказала Паола. — На корм им скупилась, а все-таки нет с ними сладу.

Дик слушал ее рассеянно, но не прошло и двух суток, как он с горечью вспомнил эти слова.

Они въехали в лесистую полосу; гул от взрывающихся скал замер, перебрались через небольшой перевал. Солнечные лучи окрашивали в своеобразные оттенки росшие здесь мансаниты и арбутусы. Они спустились мимо посадок моло-

дых эвкалиптов к Малому Лугу; еще не доехав, они сошли с лошадей и привязали их. Дик вынул из кобуры автоматическое ружье и вместе с Паолой осторожно подошел к рощице мамонтовых деревьев, окаймлявших луг. Они расположились в тени, откуда удобно было следить за противоположным концом его; в каких-нибудь двухстах ярдах от них начинался крутой спуск ближнего холма.

— Вон они, их там три, нет, четыре, — шепнула Паола, зоркими глазами разглядев белок среди молодых колосьев.

То были опытные, испытанные в житейской борьбе белки, научившиеся с бесконечной осмотрительностью различать отравленное зерно и стальные капканы, расставленные Диком. Они уцелели там, где погибли десятки их менее осторожных товарищей, но и этих было достаточно, чтобы снова расплодиться по всем склонам.

Дик зарядил ружье мелкими патронами и, растянувшись во весь рост, опираясь только на локти, оглядел всю лужайку. Когда он выстрелил, шума от взрыва не было, только щелкнул механизм, когда вылетела пуля, выскочил пустой патрон, в камеру скользнул новый, и взвелся курок. Большая бурая белка взлетела в воздух,

кувыркнулась и исчезла в зелени травы. Дик выждал, устремив глаза вдоль дула к норам, где виднелась широкая полоса серой земли, явно свидетельствующая о том, сколько здесь было съедено зерна. Когда снова показалась раненая белка, пытавшаяся проползти мимо открытого места в нору, ружье снова щелкнуло: она свалилась набок и больше не шевельнулась.

При звуке первого же щелчка все белки, кроме раненой, юркнули по норам. Теперь оставалось только ждать, пока их любопытство преодолеет осторожность. На это время и рассчитывал Дик. Лежа на земле и высматривая, не появится ли где слишком любопытная белка, он думал о том, не подойдет ли Паола что-нибудь сказать ему. Она — в тревоге, но справится ли она с ней сама, без его поддержки? Этого никогда не бывало. Всегда, рано или поздно, она приходила к нему и делилась тем, что ее тяготит. Конечно, рассуждал он, ничего подобного с ней никогда не происходило. Ей очень трудно рассуждать о том, что ее смущает, именно с ним. С другой стороны, соображал он, ведь она всегда так откровенна! За все годы, проведенные вместе, он этим восхищался, радовался такой откровенности. Неужели теперь она ей изменит? Так лежал он в раздумье. Паола

не заговаривала. Тревоги в ней не было заметно. Она не шевелилась. Он скользнул по ней взглядом: она лежала на спине с закрытыми глазами, раскинув руки, будто от усталости.

Из норки выглянула маленькая головка цвета серой сухой земли. Дик выждал несколько минут; уверившись, что опасность не грозит, маленький зверек вылез целиком, уселся на задние лапки и оглянулся, точно выискивая причину давешнего шума. Ружье снова щелкнуло.

— Попал? — спросила Паола, не открывая глаз.

— Попал! Какая толстая, жирная! Видно, я пресек в корне жизнь целого поколения.

Прошел еще час. Солнце пекло, но в тени было сносно. Дик прибавил к своей добыче третью белку. Книга лежала возле Паолы, но она не предлагала читать.

— Тебе нехорошо? — решился он, наконец, спросить.

— Нет, ничего; голова побаливает, пренеприятная невралгическая боль, как раз поперек глаз, вот и все.

— Верно, много вышивала? — поддразнил он.

— В этом неповинна, — ответила она.

Особой принужденности между ними не чувствовалось, но Дик, наблюдая за новой вылезшей

из норы необыкновенно крупной белкой и выжидая, пока она отползет по открытому месту футов на двадцать по направлению к полю, понял: «Нет, сегодня никаких разговоров не будет. И мы не будем ни ласкать, ни целовать друг друга в траве».

Намеченная им жертва доползла до края луга. Он нажал курок. Белка повалилась набок, на мгновение замерла, а затем побежала быстрыми, неловкими шажками к своей норе. Щелк, щелк, щелк, — затрещало за нею ружье, приподнимая маленькие облачка пыли около самой белки и лишь на волосок не попадая в нее. Дик стрелял так быстро, как только успевал нажимать палец на курок, — казалось, точно льется свинцовая струя. Он быстро перезарядил ружье. Паола сказала:

— Вот так пальба! Попал?

— Попал. Это, видно, патриарх, праотец всех белок, могущественный пожиратель зерна и корма молодых телят. Но целых девять длинных бездымных патронов на одну белку — это убыточно! Надо подтянуться!

Солнце опускалось. Ветерок замер. Дику удалось убить еще одну белку; он грустно оглядывался, не покажется ли еще. Он дал Паоле время и создал соответствующую обстановку, чтобы

вызвать ее на откровенность. Однако положение, вероятно, оказалось именно таким серьезным, как он и предполагал. Может быть, даже еще серьезнее, чем он думал: весь его мир рушился. Он чувствовал себя растерянным, потрясенным. Будь то другая женщина — не Паола! В ней он был так уверен. Ведь двенадцать лет совместной жизни давали право на уверенность.

— Пять часов, солнце низко, — сказал он наконец, вскочив на ноги и наклоняясь к ней, чтобы помочь ей подняться.

— Как я хорошо отдохнула! Это мне и было надо, — сказала она, направляясь к лошадям. — И глазам намного лучше. Хорошо, что я не стала читать тебе вслух.

— Ну, веди себя и дальше как следует, — предупредил Дик беспечным тоном, точно все обстояло благополучно. — Не смей читать ни строчки Ле Галльена. Мы прочтем это как-нибудь вместе в другой раз. Давай руку. Клянись Богом, Паола!

— Клянусь Богом! — послушно повторила она.

— И пусть злые гномы пропляшут на могиле моей бабушки, если…

— И пусть злые гномы пропляшут на могиле твоей бабушки, — повторила она торжественно.

На третье утро после отъезда Грэхема Дик

устроил так, чтобы к тому моменту, когда Паола, совершая свой утренний обряд, обычно заглядывала к нему, а теперь с порога бросала ему свой обычный привет «С добрым утром, славный господин!», быть занятым с заведующим молочной фермой. За завтраком Паолу выручили Мэзоны, прикатившие в нескольких автомобилях со своей шумной молодежью, и Дик заметил, что она организовала и вечер, удержав гостей на танцы и бридж.

Но в четвертое утро, в день ожидаемого возвращения Грэхема, Дик к одиннадцати часам сидел в своем рабочем кабинете один. Склонившись над столом и подписывая письма, он услышал, как Паола на цыпочках вошла. Он не поднял головы, но, продолжая подписывать, жадно прислушивался к легкому, нежному шелесту ее шелкового кимоно. Он почувствовал, как она наклонилась над ним, и затаил дыхание. А она, тихонько поцеловав его волосы и бросив свое: «С добрым утром, славный господин», незаметным движением уклонилась от его протянувшихся к ней рук и, бросив несколько ласковых слов, смеясь выбежала из комнаты. Он был не просто разочарован — его поразило счастливое выражение ее лица. Она не умела скрывать свое настроение, и сейчас

глаза ее блестели, и вид у нее был счастливый, как у ребенка. А ведь именно в этот день ожидали Грэхема, и Дик не мог не сопоставить с этим ее радость.

Он не пытался узнать, принесла ли она в башню свежей сирени, а за завтраком, за которым сидели трое студентов сельскохозяйственного колледжа, пока он выдумывал себе спешное дело на вечер, Паола заявила, что собирается поехать встречать Грэхема на станцию.

— На чем поехать? — спросил Дик.

— Необходим моцион Дадди и Фадди, — пояснила она, — и я не прочь прокатиться на них сама. Конечно, если ты свободен, то мы можем поехать куда хочешь ты, а он приедет на автомобиле.

Дик старался убедить себя, что она без всякой тревоги ждет его ответа, примет ли он ее приглашение или нет.

— Бедным Дадди и Фадди не поздоровилось бы, если бы я сегодня поездил на них, — засмеялся он, тут же намечая себе программу действия. — Мне до обеда придется проехать не меньше ста двадцати миль. Я возьму гоночный, и наглотаюсь же я пыли! И порастрясет же меня! У меня не хватает духу звать и тебя с собой. Нет, ты уж лучше отправляйся с Дадди и Фадди.

Паола вздохнула, но она была такой плохой актрисой, что в этом вздохе, в котором она силилась выразить свое сожаление, Дик не мог не почувствовать нотки облегчения.

— А далеко ли тебе надо? — живо спросила она его, и снова он обратил внимание на ее зарумянившееся лицо и на счастье, льющееся из ее глаз.

— Да к реке, там землечерпательные работы, Карлсон уверяет, что ему нужен мой совет, оттуда — вверх, к Сакраменто, а по дороге надо повидать Уинг Фо-уонга.

— Но, во имя всего святого, кто этот Уинг Фо-уонг? — улыбаясь, спросила она. — Что это за персона? Почему тебе обязательно нужно ехать к нему в такую даль?

— Это чрезвычайно важная особа, моя дорогая, у него не меньше двух миллионов состояния, нажитого на картофеле и спарже, выращенных в районе дельты. Я ему сдаю триста акров земли. — Дик обратился к трем студентам: — Эта земля лежит за Сакраменто, к западу от реки; вот вам хорошее доказательство того, что скоро действительно придет дефицит на землю. Когда я ее купил, это было просто болото и старожилы смеялись надо мной. Я за нее заплатил в среднем

по восемнадцати долларов за акр, это было не так давно. Вы ж знаете, что там за болота, ведь они никуда не годились, разве для уток. Землечерпательные и осушительные работы и платежи местным властям обошлись мне свыше трехсот долларов за акр. А сказать, за сколько я теперь сдаю эту землю в аренду? Мы с этим старым Уинг Фо-уонгом заключаем контракт на десять лет! По две тысячи за акр! Больше, чем если бы я сам занялся ею. Эти китайцы маги и волшебники по разведению овощей, а до работы жадны. Восьми часов рабочего дня они не признают. Они работают по семнадцать часов. Самый последний китайчонок тоже получает свою микроскопическую долю дохода, а Уинг Фо-уонг таким образом обходит закон о восьмичасовом рабочем дне.

Дик ехал один, хотя и очень быстро, но осторожно. Он не выносил несчастных случаев, за которые, по справедливости, должен был бы считать ответственным себя, впрочем, их никогда не бывало. С той же точностью и уверенностью, с которыми он брал со стола в руки карандаш, шевельнув пальцами ровно столько, сколько нужно, с той же уверенностью движений, с которой он открывал дверь, он управлял и более сложными машинами; так же управлял он сего-

дня и своим гоночным автомобилем, хотя дорога была часто загружена.

Но как ни утомлял он себя ездой, как ни развлекал деловыми переговорами с Карлсоном и с Уинг Фо-уонгом, его сознание занимало то, что Паола, против всех своих обычаев и вопреки заведенному порядку, поехала встречать Грэхема и будет с ним вдвоем всю дорогу, казавшуюся ему сейчас бесконечной — все восемь миль от Эльдорадо до имения.

— Да! — пробормотал он, но тут же сосредоточил все свое внимание на автомобиле, ускорил его ход с сорока пяти до семидесяти миль в час, вихрем пронесся слева от ехавшей в том же направлении деревенской телеги и ловко пересек правую сторону дороги почти под носом у другой машины, ехавшей ему навстречу. Тут он замедлил ход до пятидесяти миль и вернулся к своей прежней мысли: «Да! — присвистнул он, — воображаю, что бы подумала моя маленькая Паола, если бы я осмелился этак прокатиться с какой-нибудь хорошенькой барышней!»

Он живо представил себе, что было бы после такой поездки, и невольно улыбнулся: в самом начале их совместной жизни он имел случай удостовериться, до чего Паола ревнива. Она

не устраивала ему никогда сцен, не позволяла себе ни прямого замечания, ни вопроса, но с самого начала она, не скрывая, выказывала обиду, стоило ему оказать другой женщине хоть сколько-нибудь внимания. Он рассмеялся при воспоминании о миссис Дехэмени, хорошенькой брюнетке, вдове, приятельнице Паолы, а вовсе не его, которая как-то очень давно гостила у них в Большом доме. Паола заявила, что днем она кататься верхом не поедет, а за завтраком услышала, как они с миссис Дехэмени уговорились проехаться за рощу философов в заросли мамонтового дерева. И что же? Догнала же их Паола, только они тронулись, и они поехали втроем. Он тогда улыбнулся про себя, и Паола его рассмешила, но ему было приятно, потому что ни миссис Дехэмени, ни прогулка с ней не имели для него ни малейшего значения.

Так было с самого начала: он никогда не уделял внимания ни одной женщине, кроме Паолы. В этом отношении он был гораздо осторожнее ее. Ее он даже поощрял, давал ей полную свободу, гордился тем, что его жена привлекает к себе самых выдающихся мужчин; ему было приятно, что это ей доставляет удовольствие, занимает ее. Да, он был совершенно прав, размышлял он. Он

был так спокоен, так уверен в ней. Он не скрывал от себя, что он имеет на это больше прав, чем она: все двенадцать лет оправдали его отношение; он был в ней так же уверен, как во вращении Земли. «А теперь, — пришло ему в голову, — пожалуй, и в этом вращении можно усомниться. Да, может быть, она вовсе не круглая, а плоская. — Он завернул перчатку, чтобы взглянуть на часы. — Еще пять минут, и Грэхем выйдет из вагона в Эльдорадо». Сакраменто осталось справа, и Дик помчался домой — мили так и летели. Прошло четверть часа, мимо него пронесся поезд, который должен был доставить Грэхема. Уже за Эльдорадо он догнал Дадди и Фадди. Паола правила. Грэхем сидел рядом с ней. Дик, поравнявшись, убавил ход, окликнул Грэхема и весело крикнул ему, снова включив полную скорость:

— Вы уж извините, придется вам наглотаться пыли. Если доплететесь, Ивэн, до обеда успею еще обыграть вас в бильярд.

Глава XXVI

— Так больше продолжаться не может. Мы должны решиться теперь же, сейчас.

Они были в музыкальной комнате. Паола сидела за роялем, подняв лицо к Грэхему, склонившемуся над ней.

— Вы должны решить, — настаивал он.

Они сознавали, что в их жизни произошло событие громадной важности, но на их лицах не было счастья; они понимали, что должны решить, как быть дальше.

— Но я не хочу, чтобы вы уезжали, — говорила Паола, — я сама не знаю, чего я хочу. Будьте со мной терпеливы. О себе я не думаю. О себе я уже перестала думать. Но о Дике я должна подумать, должна подумать и о вас. Я... я так не привыкла к такому положению, — заключила она с печальной улыбкой.

— Но это необходимо, любимая моя. Дик не слепой.

— Да что же он может видеть? — спросила она. — Ничего, кроме того единственного поцелуя там, в ущелье, а этого он видеть не мог. Ну, можете ли вы еще хоть что-нибудь припомнить?

Ну-ка, подумайте.

— Тем хуже, что не могу, — ответил он ей в тон, но тут же снова стал серьезен. — Я схожу с ума, схожу с ума по вас, и на этом все и кончается. А как вы, не знаю; так же ли вы обезумели и обезумели ли вообще?

Он как бы невзначай уронил свою руку на лежавшие на клавишах ее пальцы. Она тихонько отдернула руку.

— Вот видите! — пожаловался он. — А ведь вы хотели, чтобы я вернулся!

— Да, я хотела, чтобы вы вернулись, — призналась она, по обыкновению глядя ему прямо в глаза, — хотела, — повторила она тихо, как бы в раздумье.

— Не понимаю, — нетерпеливо воскликнул он. — Да вы меня любите?

— Люблю, Ивэн, вы это знаете, но… — она запнулась и, казалось, старалась все взвесить, — но…

— Что? — сказал он повелительно. — Продолжайте…

— Но я и Дика люблю. Не смешно ли?

Он не отвечал на ее улыбку, глаза его омрачились той мальчишеской угрюмостью, которая ей всегда так нравилась.

— Все как-нибудь образуется, — старалась она

утешить его. — Должно образоваться! Дик говорит, что все всегда устраивается. Все проходит, все, что неподвижно, то мертво. А мы не мертвые.

— Я не упрекаю вас в любви к Дику, в том, что вы продолжаете его любить, — досадливо ответил он. — Говоря откровенно, я даже не понимаю, что вы находите во мне по сравнению с ним. Я говорю искренно. Он, по-моему, большой человек, Большое сердце. — Она наградила его улыбкой и одобрительно кивнула головой. — Но раз вы продолжаете любить Дика, при чем тут я?

— Но я и вас люблю.

— Это невозможно! — воскликнул он и, оторвавшись от рояля, быстро зашагал в другой конец комнаты и там занялся рассматриванием картины Кейта, точно он видел ее в первый раз.

Она поджидала его со спокойной улыбкой, его пылкость ей даже нравилась.

— Но не можете же вы любить двух одновременно, — бросил он ей.

— Люблю, Ивэн, в этом-то я и пытаюсь разобраться, а кого больше, не знаю. Дика я знаю так давно. Вы же… вы…

— Случайный знакомый, — сердито перебил он ее, шагая обратно.

— Дело не в этом, нет, нет. Это не то, Ивэн, вы раскрыли мне самого себя. Я вас люблю так же, как и Дика. Я вас люблю больше. Я… Я не знаю.

Она не выдержала и закрыла лицо руками. Он с неожиданной смелостью обнял ее за плечи; она не отстранила его.

— Вы же видите, — продолжала она, — что мне не легко. Все так переплелось. Здесь много такого, чего я понять не могу. Вы сами говорите, что теряетесь. Подумайте же обо мне, ведь я тоже растерялась. Вы… да стоит ли об этом говорить? Вы — мужчина, у вас мужской опыт и мужская натура, для вас это очень просто: «она меня любит или не любит» — одно из двух. А я запуталась, у меня сумбур в голове, мне не разобраться. Я — я не младенец, но такого со мной никогда не случалось, у меня нет никакого опыта в подобных вещах. Я любила только одного… а теперь вас. Вы и эта моя к вам любовь вторглись в идеальный брак, Ивэн…

— Я знаю… — сказал он.

— А я вот ничего не знаю, — продолжала она. — Мне нужно время для того, чтобы самой разобраться, и просто для того, чтобы все образовалось как-нибудь само по себе. Если бы не Дик… — Голос ее оборвался.

Грэхем невольно обнял ее крепче.

— Нет, еще нет, — тихо сказала она и тихо отвела руку Грэхема, на мгновение ласково прижав ее к своей. — Когда вы прикасаетесь ко мне, я не могу думать, — взмолилась она. — Я... я не могу думать.

— В таком случае я должен уехать, — пригрозил он, не шевельнувшись.

Она сделала протестующий жест.

— Такое положение невозможно, невыносимо. Я чувствую себя подлецом, но я знаю, что я не подлец. Я ненавижу обман. Ну, конечно, я могу солгать, но не могу я лгать такому человеку, как Большое сердце. Я предпочел бы подойти к нему прямо и сказать ему: «Дик, я люблю вашу жену. Она любит меня. Что вы на это скажете?»

— Ну, пусть так и будет, — сказала Паола, на минуту загоревшись.

Он решительно выпрямился.

— Хорошо. Сейчас же.

— Нет, нет! — воскликнула она, охваченная внезапным испугом. — Вы должны уехать. — Но снова голос ее упал, и она прошептала: — Я не могу вас отпустить.

Если у Дика еще и оставались сомнения в правильности его подозрений, то с возвращением

Грэхема последние сомнения исчезли. Подтверждений не требовалось. Достаточно было взглянуть на Паолу. Она была в состоянии радостного пробуждения, точно расцветающая во всей своей полноте весна. Ее веселый смех звучал счастливее обычного. В ее пении слышалась новая мощь, теплота, и вся она была полна, насыщена движением и деятельна. Она рано вставала, поздно ложилась. Она не берегла себя, как будто напиваясь шампанским своих чувств. Дику иногда казалось, что она ведет себя так нарочно, не смея задуматься над тем, что с ней. Он подмечал, что она худеет, но должен был признать, что от этого она становится еще прелестнее и что яркие краски, чарующая живость ее от этого обрели новую, нежную одухотворенность.

А в Большом доме все шло своим чередом, как всегда гладко и благополучно. Дик иногда задумывался над тем, сколько времени может так продолжаться, и пугался мысли, что придет время, когда все изменится. Пока он был уверен, что, кроме него, никто ни о чем не знает, не догадывается, но долго ли это продолжится? Нет, недолго, он в этом не сомневался. Паола слишком плохая актриса. И даже если она сумеет скрывать мелкие неприятные детали, то скрыть такое но-

вое чувство не сумеет ни одна женщина в мире.

Он знал, что его слуги — азиаты — исключительно понятливы; признавал, что они скромны и тактичны. Но можно ли полагаться на женщин? Женщины — как кошки. Даже лучшие из них торжествовали бы, найдя в сияющей чистотой, безупречной Паоле такую же дочь Евы, как они. Любая случайная гостья, приехавшая на день или даже на вечер, может догадаться о том, что переживает Паола! Что касается Грэхема, то Дик еще не совсем его понимал. Но женщина женщину разгадает. Паола в этом, как и во многом другом, не была похожа на всех. Он никогда не подмечал в ней этих свойств. Он никогда не видел, чтобы она подстерегала других женщин и ловила их на чем-нибудь предосудительном, разве только тогда, когда это касалось его.

И он снова усмехнулся, вспомнив эту смешную историю с миссис Дехэмени — «историю», разыгравшуюся, впрочем, только в воображении Паолы.

Дик думал о многом и, в частности, о том, что знает Паола о его сомнениях и догадках.

И Паола думала о том же, и вначале безуспешно. Она не замечала ни малейшей перемены в обычном его с ней обращении. Как и всегда, он

успевал выполнить всю очередную работу, как всегда, развлекался, пел свои песни, по-прежнему был веселым и бодрым. Ей казалось только, что к ней он как-то особенно нежен; иногда, впрочем, она с раздражением говорила себе, что это она только воображает. Но она недолго оставалась в сомнении. В обществе за столом или вечером за картами она наблюдала за ним из-под полуопущенных век, наблюдала, когда он этого и не подозревал, и всматривалась в него так пристально, что и в лице его и в глазах она, наконец, ясно прочла, что он знает. Грэхему она ничего не сказала, даже не намекнула. Это бы ничего не поправило. Это могло бы только побудить его уехать, а она честно сознавалась себе, что отъезда его не хочет.

Но почти полностью убедившись, что Дик знает или догадывается, она ожесточилась и решила сознательно играть с огнем. Если Дик знает, рассуждала она, почему он молчит? Он всегда обо всем высказывался прямо. Она этого и хотела, и боялась, но страх скоро исчез, осталось одно желание, чтобы он заговорил. Что бы ни случалось, всегда действовал, решал он. Грэхем определил положение как «треугольник». Пусть Дик решит эту задачу. Нет того, чего бы он не

сумел разрешить. Почему же он тянет?

И она продолжала жить без оглядки, стараясь заглушить мучившую ее двойственность, не углубляясь в размышления, отдаваясь захлестнувшей ее волне и уверяя себя, что она живет интенсивно, как никогда. Временами она даже не отдавала себе отчета в том, что думает, и гордилась тем, что двое таких выдающихся мужчин у ее ног. Гордость всегда была одним из основных ее свойств: она гордилась всяким своим искусством, достижением; так было с музыкой, с внешностью, так было с плаванием. Для нее легко изящно танцевать, элегантно, изысканно одеваться, было одинаково легко нырнуть ли грациозно и смело, как рискнет мало женщин, или спуститься в бассейн на Горном Духе и своей твердой волей успокоить и одолеть в воде огромного коня.

Она была подлинная женщина их расы, такого же типа, как и они, и испытывала удовлетворение, видя подле себя этих двух сероглазых статных мужчин. Она вроде бы нервничала, была возбуждена, находилась в лихорадочном состоянии, но дело было не в нервах. Иногда она совершенно хладнокровно сравнивала их обоих и сама не могла бы сказать, кому из них она хочет

показаться красивее и обаятельнее. Грэхема она держала крепко, но и Дика она давно привыкла держать и не хотела его выпускать и сейчас.

Гордость как бы щекотала и взвинчивала ее; она почти с жестокостью думала о том, что оба таких незаурядных мужчин страдают из-за нее; она не скрывала от себя, что если Дику все известно, — или с тех пор, как ему все известно, — то, вероятно, он тоже страдает. Она уговаривала себя, что у нее сильное воображение, что в любви она отлично разбирается и что к Грэхему ее влечет отнюдь не свежесть, острота и новые оттенки впечатлений, упорно отказываясь сознаться, что далеко не второстепенную роль в ее чувстве играет страсть.

В глубине души она чувствовала, что одержима каким-то безумием и что всему этому должен наступить конец — ужасный, если не для всех, то для одного или для двоих из них. Но ей нравилось маневрировать над пропастью, не особенно задумываясь над этим. Сидя в одиночестве перед зеркалом, она с шутливым укором качала головой, приговаривая «Ах ты, хищница! Хищница!» А в те редкие минуты, когда она все же позволяла себе глубже вдуматься в то, что происходит, она вынуждена была признать, что Бернард Шоу и

«философы», пожалуй, правы, разоблачая хищнические склонности женщин.

Она не соглашалась с мнением Дар-Хиала, будто женщина — не доделанный природой мужчина, но снова и снова на память ей приходили слова Уайльда: «Женщина побеждает, неожиданно сдаваясь». Разве она победила Грэхема, спрашивала она себя. Уже те немногие уступки с ее стороны казались ей и неожиданными и непонятными. Неужели она капитулирует? Он собирается уезжать. С ней или без нее, но он хочет уехать! Она удерживала его — как? Разве она давала ему какие-нибудь обещания на будущее? Она со смехом отгоняла все эти мысли, живя лишь сегодняшним днем, стремясь в заботах о внешности ощутить ту полноту жизни, которая, казалось, переполняет ее.

Глава XXVII

Мужчина и женщина, живущие под одним кровом, редко остаются на одном определенном неизменном расстоянии друг от друга. Мало-помалу, совершенно незаметно, Паола и Грэхем сближались. От долгих бесед, от прикосновений рук было недалеко и до менее невинных ласк; так случилось, что они оказались в объятиях, и губы их снова встретились в поцелуе. В этот раз Паола не вспыхнула гневом, а только сказала повелительно:

— Вы не должны уезжать.

— Я не должен оставаться, — отвечал Грэхем в тысячный раз. — Ну, конечно, мне приходилось и раньше целоваться потихоньку и в другом я бывал виноват, — признавался он. — Но тут не то: тут я имею дело с вами и с Диком.

— А я вам говорю, что все это как-нибудь образуется, Ивэн.

— Так уезжайте со мной, вот тогда и можно будет сказать, что образуется, тогда мы с вами все образуем. Уедем сейчас.

Она вся съежилась.

— Вспомните, — уговаривал ее Грэхем, — что

Дик говорил в тот вечер, за обедом, когда Лео боролся с драконами: что если бы даже от него убежала его собственная жена Паола, он был сказал: «Господь с вами, дети мои!».

— Оттого-то мне так и трудно, Ивэн. Он действительно Большое сердце, вы его точно назвали. Послушайте, понаблюдайте за ним. Он сейчас именно так нежен, как говорил в тот вечер, то есть нежен со мной. И больше того. Вы последите за ним…

— Он знает? Он говорил что-нибудь? — прервал ее Грэхем.

— Он ничего не говорил, но я уверена, что он знает или догадывается. Вы только понаблюдайте за ним. Он ни за что не станет соперничать с вами!

— Соперничать?

— Вот именно, он не хочет бороться. Вспомните наш вчерашний день; когда мы все приехали, он как раз объезжал мустангов. А тут, как сошел с лошади, так уже больше не садился. Между тем, он удивительный мастер этого дела. Вы тоже попробовали. Скажу откровенно: у вас выходило недурно, но до него вам далеко. Но он не желал затмить вас своим искусством. Уже одно это доказывает, что он обо всем догадывается.

Послушайте, разве вы не замечали в последнее время, что он никогда не вступает с вами в спор, как бывало раньше, как спорил со всеми, с кем не согласен? В бильярд он с вами продолжает играть, потому что в бильярд вы играете лучше его. Он фехтует с вами и готов драться на палках — в этом вы равны. Но на бокс или на борьбу с вами он не идет.

— В боксе и в борьбе он меня побеждает, — с огорчением пробормотал Грэхем.

— Вы только понаблюдайте за ним, и вы поймете, что я хочу сказать словом «соперничать». А со мной он обращается, как с жеребенком: он дает мне волю делать все по-своему и все разрушить, если я пожелаю. Ни за что на свете он не станет вмешиваться. Уж вы поверьте, я его знаю. Он желает жить согласно своему убеждению. Он бы отлично мог научить мудрецов практической философии.

Он хотел что-то сказать, но она перебила его.

— Нет, нет — вы слушайте, я хочу вам рассказать. Из библиотеки в рабочий кабинет Дика ведет потайная лестница, ею пользуемся только мы — он и я да еще его секретари. Дойдя доверху, вы уже оказываетесь в его комнате, среди полок с книгами. Я только что оттуда. Я шла к нему,

но услышала голоса. Конечно, речь о делах имения, решила я, они скоро уйдут. Я стала ждать. Разговоры, действительно, были о делах, таких интересных, как сказал бы Хэнкок, «просветительных», что я заслушалась. Вы понимаете, я хочу сказать, они действительно проявляли характер Дика.

Он что-то выговаривал жене одного рабочего — ведь всякие бывают дела. Я бы ее даже и не узнала, и имя ее мне ничего не говорило. Она выкладывала все свои несчастья жалобным голосом. Дик ее остановил.

«Оставим пока все это, — сказал он, — мне нужно знать одно: вы поощряли Смита в его ухаживаниях?»

Это не Смит на самом деле — это один из наших мастеров, он работает у нас уже восемь лет.

«Ах нет, — услышала я ее ответ. — Он с самого начала постоянно приставал ко мне. Я всегда старалась избегать встреч с ним. К тому же у моего-то характер бешеный, а я так дорожила этим его местом, ведь он уже год работает у вас и никаких жалоб на него не поступало. А до этого он пробавлялся только случайными работами и нам приходилось туго. Он не был виноват».

«Все это прекрасно, — прервал ее Дик, — его

характер и привычки к делу не относятся. Я хочу знать одно: вы совершенно уверены в том, что никогда не поощряли Смита?»

В этом она была так уверена, что затараторила на целых десять минут, описывая, как ее преследовал Смит, со всеми подробностями. Голос у нее был приятный, робкий и тихий, думаю, она привлекательная женщина. Мне очень хотелось заглянуть, посмотреть, как она выглядит.

«Ну, а вчерашняя история, — спросил Дик, — это было при всех? Я хочу сказать, что, кроме вашего мужа, вас и мистера Смита, например, соседи об этом знали?»

«Да, да, сударь; видите, он ведь не имеет права входить ко мне на кухню. Ведь мой муж вовсе не его подчиненный. Он меня обнял и хотел поцеловать, а тут как раз вошел муж. У мужа характер бешеный, но он не очень силен. Мистер Смит вдвое сильнее его. Потому-то муж и вытащил нож, а мистер Смит схватил его за обе руки, и пошла драка по всей кухне. Тут я поняла, что дело дойдет до убийства, выбежала, кричу, зову на помощь. Соседи уже скандал услышали. Ведь муж и Смит разбили окно и печку своротили, и когда их насилу разняли, вся кухня была полна дыма и золы. Я ничего не сделала, чтобы заслу-

жить такой срам. Вы ведь знаете, сударь, какие у баб язычки…»

Тут Дик прекратил ее излияния; на это у него ушло еще добрых пять минут, он никак не мог от нее отделаться. Она больше всего опасалась, что муж лишится места. А я ждала, что скажет Дик. Но он ничего не решил, и я догадалась, что теперь дело за мастером. Он вошел. Мне хотелось его увидеть, но я только слушала.

Дик приступил прямо к делу; он описал Смиту всю вчерашнюю сцену, весь скандал, и Смит признал, что действительно шума было много.

«Она говорит, что никогда вашего ухаживания не поощряла», — сказал Дик.

«Нет, она лжет, — ответил Смит. — У нее такая манера смотреть на вас, точно она зазывает… Она так на меня смотрела с самого начала. Но вчера утром я пришел к ней потому, что она меня позвала действительно, на словах, по-настоящему. Мужа мы не ожидали. Как только она его увидела, так и начала вырываться. Если она говорит, что не поощряла…»

«Бросьте это, — остановил его Дик, — это несущественно».

«Да нет, мистер Форрест, это очень существенно, ведь надо же мне оправдаться», — настаивал

Смит.

«Нет, это несущественно для другого, в чем вы оправдаться не можете», — ответил Дик, и я почувствовала в его голосе холодные жестокие нотки, какие у него бывают в таких случаях. Смит все не понимал. Дик объяснил ему: «Вы, мистер Смит, виноваты во вчерашнем инциденте, ваша вина — в нарушении общественного порядка, в том, что учинили скандал, дали волю женским языкам, и они, конечно, сейчас работают вовсю; вы нарушили порядок и дисциплину имения, а все это, вместе взятое, сводится к одному капитальному злу — к снижению уровня производительности работы имения».

Смит все-таки еще не понимал. Он думал, его обвиняют в том, что, преследуя замужнюю женщину, он посягнул на общественную этику, и старался смягчить свою вину, доказывая, что женщина сама его спровоцировала. Он просил о снисхождении потому, что «в конце концов, мистер Форрест, человек грешен, я, конечно, сознаюсь, что она меня одурачила и что я сам свалял дурака».

«Мистер Смит, — сказал Дик, — вы у меня работаете восемь лет, из них шесть как мастер-надзиратель. Вашей работой я был вполне

доволен. Вы, безусловно, умеете справляться с подчиненными. Частная ваша жизнь — дело ваше и меня не касается; это не мое дело, поскольку она не мешает вашей работе в моем имении; мне безразлично, будь вы даже мормон или магометанин. Все мои конюхи имеют право пропивать все, что имеют, даже самих себя, хоть каждую субботу. Это их дело. Но с той минуты, как они в понедельник утром являются в нетрезвом виде и их состояние отражается на лошадях — их пугают или понапрасну нервируют, — и в результате хоть незначительно понижает качество или количество положенной им на этот день работы, с той минуты их поведение — уже мое дело, и я с таким работником расстаюсь».

«Вы хотите сказать, мистер Форрест, — пролепетал Смит, — что мне надо уходить?»

«Вот именно, мистер Смит. Вам придется уйти; не потому, что вы посягнули на чужую собственность, — это дело ее мужа и ваше, — а потому, что вы стали причиной беспорядка, понизив производительность работы моего имения».

— Знаете что, Ивэн, — остановилась Паола, — из столбцов статистики имения Дик способен извлечь больше чисто человеческих, жизненных драм, чем любой писатель-романист из всего во-

доворота жизни большого города. Вот возьмите отчеты по молочным фермам. Тут только одни цифры — такая-то корова в такое-то утро или в такой-то вечер дала столько-то фунтов молока. Положим, он не хорошо знает личные обстоятельства доильщика данной коровы. Но он видит, что удой понизился. «Мистер Паркмен, — скажет он заведующему молочной фермой, — что, Барчи Ператта женат?» — «Да, сэр». — «Что, у него неприятности с женой?» — «Да, сэр».

Или, например, так: «Мистер Паркмен, Симпкинс у нас уже давно считается лучшим доильщиком, а вот последнее время он стал сильно отставать. Почему бы это?» Мистер Паркмен не знает. «У него что-то на душе. Вы поговорите по-отечески, разузнайте-ка. Надо снять тяжесть с его души». И Паркмен узнает: оказывается, сын Симпкинса, студент Стэнфордского университета, бросил учиться, повел разгульную жизнь и теперь сидит в тюрьме, его ждет суд за подлог. Дик поручил дело своим адвокатам, они замяли эту историю, взяли юношу на поруки, и количество молока, выдоенного Симпкинсом, тотчас же стало прежним. А лучше всего то, что юноша пришел в себя и исправился: Дик наблюдал за ним, помог ему закончить инженерное училище, и

теперь он работает у Дика на землечерпательных работах, зарабатывает сто пятьдесят долларов в месяц, женился, имеет хорошие перспективы, а отец его по-прежнему остался доильщиком.

— Вы правы, — сочувственно проговорил Грэхем, — недаром я назвал его Большим сердцем.

— Я называю его своей Скалой времен, — благодарно отозвалась Паола. — Он такой стойкий. Любую бурю выдержит. Вы его еще совсем не знаете. Он такой надежный, стоит, не пошатнется. Еще ни разу его не свалила жизнь. Бог улыбается ему, всегда улыбается. Никогда жизнь не ставила его на колени… До сих пор. Этого… этого я не хотела бы видеть. У меня бы сердце разорвалось от боли. А теперь, Ивэн, — рука ее потянулась к его руке, в робком движении чувствовалась нежная ласка, — теперь я боюсь за него. Вот почему я не знаю, как мне быть. Не ради себя самой я все медлю и колеблюсь. Будь он хоть в чем-нибудь гадок, узок, слаб, будь в нем хоть сколько-нибудь мелочности, будь он хоть раз в жизни побежден, — тогда, ну, тогда, любимый мой, нас с вами давно бы здесь не было.

Глаза ее вдруг наполнились слезами. Она успокоила Грэхема, снова пожав ему руку, и, стараясь овладеть собою, вернулась к своему рассказу:

— «Один ваш мизинец, мистер Смит, — сказал ему Дик, — ценнее и для меня, и для всех нас, чем ее муж со всем, что он может дать. Вот как его характеризуют: человек усердный, старается выслужиться, но не смышлен, не умен; в лучшем случае он — средний, посредственный работник. И все же увольнять придется вас, а не его, хотя мне очень, очень жаль это делать».

Да и обо многом еще они говорили, но главное я вам рассказала. Здесь — вся философия Дика, и он живет и действует в согласии с ней. Он предоставляет личности полную свободу. Как устраивает человек свою личную жизнь, это его дело, поскольку он никому не вредит. Он считает, что Смит имел полное право полюбить ту женщину и быть ею любимым. Я всегда от него слышала, что любовь нельзя ни удерживать, ни возбуждать. Я уверена, что, уйди я с вами, он бы действительно сказал: «Благословляю вас, дети мои». По его мнению, былая любовь не дает никаких прав на настоящее. Я помню, как он говорил, что каждый час любви окупается полностью, без остатка, для обеих сторон. Он говорит, что в любви не может быть обязательств, смеется над самой мыслью о таком обязательстве.

— Я согласен с ним, — сказал Грэхем. — «Вы обе-

щали всегда любить меня», — говорит обманутая сторона, точно это вексель на столько-то долларов. Доллары долларами и остаются, а любовь живет и умирает. Где взять то, что умерло? В этом мы все согласны, и что нам сейчас делать — ясно. Мы любим друг друга. Этого довольно; для чего откладывать хотя бы на минуту?

Пальцы его коснулись покоившихся на клавишах ее пальцев, и он, пригнувшись, стал целовать сначала ее волосы, потом медленно повернул к себе ее лицо, целуя ее в покорные губы.

— Дик любит меня не так, как вы, — сказала она, — я хочу сказать, не с такой страстью. Я так давно с ним, что, кажется, стала для него просто чем-то вроде привычки. И часто, очень часто до встречи с вами я спрашивала себя: что он любит больше — меня или имение?

— Но ведь это так просто, — настаивал Грэхем. — Следует только быть откровенными. Уедем!

Он притянул ее и поставил на ноги, словно собираясь тут же увезти. Но она отстранилась, снова села и обеими руками закрыла вспыхнувшее лицо.

— Вы не понимаете, Ивэн. Я люблю Дика, я всегда буду его любить.

— А меня? — резко спросил Грэхем.

— Об этом и говорить нечего, — улыбнулась она. — Кроме Дика, вы — единственный, кто целовал меня… так и кого я так целовала. И все-таки я не могу решить. Я знаю, что должна решить то, что вы называете «треугольником», но не в состоянии. Я сравниваю вас, взвешиваю, оцениваю. Я помню Дика и все наше прошлое, все эти прожитые годы. Вместе с тем я знаю, что чувствую к вам, спрашиваю свое сердце. И не знаю. Ничего не знаю. Вы — большой человек, моя любовь. Но Дик больше вас. Вы ближе к земле, — не знаю, как выразиться, — мне кажется, что в вас больше земного, чисто человеческого. И вот почему я и люблю вас больше… или, по крайней мере, так мне кажется.

Но подождите, — как бы возражая ему, продолжала она, не выпуская его руки. — Я хочу еще сказать. Я помню Дика, все наше прошлое, но я так же не забываю о нем, таком, какой он сейчас, и думаю, каким он будет потом. Я не могу примириться с мыслью, чтобы кто-нибудь пожалел моего мужа, чтобы вы жалели его, а ведь вы должны его жалеть, раз я сознаюсь, что люблю вас больше. Вот почему я так быстро беру обратно все свои слова. Вот почему я не знаю…

Я бы сгорела от стыда, если бы кто-нибудь пожалел Дика за какой-нибудь мой поступок. Право же, умерла бы. Ничего страшнее я не могу себе представить, как Дика, вызывающего жалость. Ни у кого на свете он не вызывал жалости. Он всегда парил надо всеми, яркий, светлый, цельный и неприступный. Больше того, он не заслуживает жалости, а виноваты мы… мы с вами, Ивэн.

Она вдруг оттолкнула его руку.

— Все, что мы делаем, каждое ваше прикосновение вызывает жалость к нему. Разве вы не видите, не понимаете, как все запуталось? А тут еще и моя собственная гордость. Сознание, что вы видите, как я нечестна к нему в мелочах, — она снова схватила его руку и тихонько поглаживала ее кончиками пальцев. — Это оскорбляет меня в моей любви к вам, принижает меня и не может не принижать меня в ваших глазах. Меня мучит мысль, что если я нечестна с ним, вот так, — она приложила его руку к щеке, — то вы имеете основание его жалеть, а меня осуждать.

Она сдерживала нетерпение руки, прижатой к ее щеке, и рассеянно, пристально ее разглядывала, потом повернула ее и нежно поцеловала в ладонь. В ту же минуту она была в его объятиях.

— Ну, вот видите, — укоризненно прошептала

она, освобождаясь.

— Зачем вы все это говорите про Дика? — спросил ее Грэхем в другой раз, на прогулке верхом, когда лошади их мирно шагали рядом. — Чтобы держать меня на расстоянии? Чтобы защитить себя от меня?

Паола кивнула в ответ и тут же прибавила:

— Нет, это не совсем так. Ведь вы знаете, что я вовсе не хочу вас держать на расстоянии… на слишком большом расстоянии. Я говорю потому, что Дик всегда у меня в мыслях. Ведь поймите, что двенадцать лет он один заполнял мою душу. Я все это говорю… должно быть, потому, что думаю о нем. Вы поймите! Ведь вы разрушаете идеальный брак!

— Понимаю, — ответил он, — и меня эта роль вовсе не прельщает. Мне бы следовало настоять на своем, если вы не хотите ехать со мной; но я тоже не могу этого сделать. Я стараюсь отгонять мысли о вас, думать о другом. Сегодня утром я написал полглавы и знаю, что получилась ерунда и придется писать заново. Что мне этнология и вся Южная Америка в сравнении с вами? Стоит мне подойти к вам, и руки сами собой тянутся обнять вас. И, видит Бог, вы сами этого хотите — этого вы не можете отрицать.

Паола собрала поводья и, пустив лошадь в галоп, кинула с лукавой улыбкой:

— Хочу, нарушитель законов, любимый, хочу!

Паола, уступая, боролась.

— Я мужа люблю — никогда не забывайте этого, — повторяла она Грэхему, тут же обнимая его.

— Ну, слава Богу, мы сегодня только втроем, — воскликнула однажды Паола и, взяв Дика и Грэхема за руки, повела их к широкому любимому дивану Дика. — Посидим здесь и будем рассказывать печальные сказки о смерти королей. Начинайте, милорды. Давайте говорить об Армагеддоне, пока не зайдет солнце.

Она была в веселом настроении, и Дик с удивлением заметил, что она закурила сигарету. Он мог бы сосчитать по пальцам, сколько папирос она выкурила за все двенадцать лет их совместной жизни, — она всегда курила только в обществе, чтобы поддержать какую-нибудь курящую гостью. А позже, когда он смешивал для себя и для Грэхема какой-то крепкий напиток, она снова удивила его просьбой дать ей тоже немножко.

— Это шотландский, — предупредил он ее.

— Ну, совсем маленький, — просила она, — тогда мы будем тремя добрыми товарищами и весь мир будет наш. А когда наговоримся, я спою вам

«Песнь валькирии».

Она говорила больше обыкновенного и старалась расшевелить мужа, чтобы он проявил себя во всем блеске. Дик это заметил и, уступая ее желанию, с обычным своим красноречием пустился в рассуждения о белокурых витязях.

«Она старается заставить его состязаться», — подумал Грэхем.

Но Паоле сейчас было не до того: она просто наслаждалась обществом их обоих, таких исключительных и таких преданных ей. «Сколько говорят об охоте на крупного зверя, — говорила она себе, — а ведь, пожалуй, ни одна маленькая женщина в мире не ловила зверя огромнее этого».

Она полулежала на диване, заложив ногу за ногу, так что, просто повернув голову, она могла видеть и Грэхема, комфортабельно расположившегося в большом кресле, и Дика, облокотившегося на подушки. И слушая их, она все время переводила глаза с одного на другого. Они говорили о жизненной борьбе и схватках, пользуясь холодной, железной, чисто реалистической терминологией, и собственные ее мысли незаметно принимали ту же окраску, и она уже начинала смотреть на Дика хладнокровно, без ноющей

жалости, терзавшей эти дни ее сердце.

Она гордилась им и понимала, что любая женщина могла бы подпасть под его обаяние, но она его больше не жалела. Они правы: тут — игра. Добежит тот, кто проворнее, в сражении побеждает сильный. Они уже участвовали во многих бегах, дрались в сражениях. Почему же нельзя и ей? Она все смотрела на них, и вопрос этот преследовал ее все настойчивее.

Эти двое мужчин не были отшельниками; они много жили в прошлом, явившись к ней, как из тумана. У них в свое время были дни и ночи, каких не дано переживать женщинам, подобным ей. Дик, по крайней мере, несомненно, — отголоски прошлого доходили и до нее, — во всех своих скитаниях по свету имел столько встреч, знал многих женщин! Мужчины остаются мужчинами, особенно такие, как эти! Ее обожгла ревность к тем неизвестным женщинам, которые наверняка встречались на их пути, и сердце ее ожесточалось. «Они взяли свое там, где оно лежало у них на пути», — вспомнились ей стихи Киплинга.

Жалость? К чему ей жалеть их больше, чем они жалеют ее, разве она заслуживает жалости? Все случившееся слишком огромно и слишком

естественно; тут не место жалости. Все трое ведут крупную игру, и все выиграть не могут. Увлекшись своим сравнением, она задумалась над вероятным исходом этой игры. Она до сих пор избегала подобных мыслей, но сейчас выпитое ударило ей в голову и придало смелости. И вдруг ей стало ясно, что впереди — неумолимый рок, пока еще неясный и неоформленный, но ужасный.

Ее вернул к действительности Дик: он протянул руку и водил ею перед ее глазами по пустому воздуху, точно отгоняя то, на что она смотрит.

— Что-то показалось? — подразнил он ее, когда она повернулась к нему.

Его глаза улыбались, но в глубине их она увидела нечто, заставившее ее сразу же прикрыть глаза длинными ресницами. Он знал! В эту секунду она уже окончательно убедилась, что он, несомненно, все знает. Вот что она прочла в его глазах и почему она опустила свои.

Она отшутилась, а когда он вернулся к прерванному разговору, она еще раз отпила из его недопитого стакана.

«Будь что будет, — говорила она себе, — но я доиграю эту игру до конца. Пусть это все сумасшествие, бред, но это жизнь, — я живу. Никогда

раньше не жила я так полно; игра стоит свеч, какая бы неизбежная расплата ни предстояла в конечном счете». Любовь? Любила ли она когда-либо Дика такой любовью, на какую способна сейчас? Не принимала ли она все эти годы нежную привязанность за настоящую любовь? Глаза ее затеплились, остановившись на Грэхеме, и она созналась себе, что он захватил ее всю так, как Дику это никогда не удавалось.

Она не привыкла к крепким напиткам, и сердце ее учащенно билось, а Дик, изредка поглядывая на нее, видел все: он понимал, почему лицо ее стало оживленнее, почему на щеках и на губах появились новые краски.

Он говорил все меньше, и разговор о витязях замер. Он взглянул на часы, выпрямился, зевнул, потянулся и заявил:

— Пора спать, довольно. Не выпить ли, Ивэн, на сон грядущий?

Грэхем кивнул. Оба они чувствовали, что надо как-нибудь подбодриться.

— А ты? — обратился Дик к Паоле.

Но она отказалась и стала убирать ноты. Грэхем опустил крышку рояля, а Дик поджидал в дверях, так что, выходя, он оказался в нескольких шагах впереди. По дороге Грэхем, по просьбе Паолы,

гасил электричество. Дик остановился у коридора, где Грэхему надо было поворачивать к себе в башню.

Оставалась одна лампа — Грэхем погасил ее.

— Да нет же, не эту, — услышал Дик голос Паолы. — Эту мы всегда оставляем на ночь.

Больше Дик ничего не слышал, но в темноте его бросило в жар. Он проклинал себя за то, что вспомнил, как, бывало, обнимал ее в темноте, потому что теперь он знал, что произошло в те краткие мгновения, пока не вспыхнуло электричество.

Когда они подошли к нему, у него не хватило духу взглянуть им в лицо. Ему не хотелось видеть честных глаз Паолы, прикрытых ресницами, и он занялся сигаретой, ломая себе голову, подыскивая слова, чтобы просто и непринужденно пожелать покойной ночи.

— Что книга? Какая сейчас глава? — крикнул он вслед удалявшемуся Грэхему, когда Паола взяла его за руку.

И так, держась за его руку, раскачивая ее, подпрыгивая и семеня ногами, со смехом, подражая маленькой девочке, держащей за руку взрослого, Паола шла за Диком, а он мучил себя вопросом, какую хитрость придумает она, чтобы и сегодня

увернуться от поцелуя на ночь.

Она еще ничего не придумала, и когда и им надо было расходиться по своим флигелям, она проводила его дальше до кабинета, все еще раскачивая его руку и болтая всякий вздор. Тут он сдался. У него не хватило ни сил, ни упорства выжидать, как она поступит дальше. Он прикинулся, будто что-то забыл, потянулся рукой к своему письменному столу и достал какое-то письмо.

— Я хотел отправить ответ на это с первым утренним автомобилем, — пояснил он и, сев к диктофону, принялся диктовать. С минуту она еще держала его руку. Потом он почувствовал пожатие ее пальцев и услышал шёпот: «Спокойной ночи».

— Спокойной ночи, маленькая женщина, — ответил он машинально, продолжая диктовать и будто не замечая ее ухода.

Глава XXVIII

На следующее утро, диктуя Блэйку письма и давая ему указания относительно необходимых ответов, Дик раз десять собирался сказать, что ему не до корреспонденции.

— Позвоните Хеннесси и Менденхоллу, — распорядился он, когда в десять часов Блэйк собрал все свои бумаги и встал, чтобы уйти. — Вы их найдете у конюшни для жеребцов. Скажите им, чтобы пришли не сегодня, а завтра утром.

Вошел Бонбрайт, чтобы, как всегда, стенографировать разговоры Дика в течение следующего часа.

— Да вот что еще, мистер Блэйк, — позвал его Дик. — Спросите Хеннесси, как себя чувствует Бесси; ей, старой, вчера вечером было очень плохо, — пояснил он Бонбрайту.

— Мистеру Хэнли необходимо видеть вас сейчас же, мистер Форрест, — доложил Бонбрайт и тотчас прибавил, заметив, как у Форреста раздраженно сдвинулись брови: — Речь о трубах на плотине, на реке. Он говорит, будто что-то не так на чертежах, будто серьезная ошибка.

Дик покорился и весь следующий час говорил

о делах по имению с заведующими и управляющими.

И только раз, посреди горячего спора о сравнительных достоинствах разных дезинфекций для овец, он отошел от письменного стола и остановился у окна, услышав звук голосов, лошадиный топот и смех Паолы.

— Вы возьмите отчет из Монтаны, я вам сегодня пришлю копию, — продолжал он, выглядывая в окно. — Оказывается, что это средство не годится. Это скорее болеутоляющее, но не дезинфицирующее. Ферментов не хватает.

Мимо него проскакало четыре лошади. Паола ехала между Мартинесом и Фрейлигом, старыми приятелями Дика, художником и скульптором, прибывшими с ранним поездом. Грэхем ехал четвертым на Селиме. В этом порядке компания скрылась с глаз, но Дик не сомневался, что она скоро разделится и дальше все поедут уже попарно.

Вскоре после одиннадцати часов, неспокойный и мрачный, закурив, Дик вышел на большой двор и горько усмехнулся, отметив, что Паола явно забросила своих любимых золотых рыбок. Он вспомнил о ее внутреннем маленьком дворике с бассейном, где она держала самых редких и рос-

кошных. Туда он и пошел через двери без ручек; кроме него, дорогу знали только Паола и слуги.

Этот двор был подарком Дика Паоле — подарком, единственным в своем роде, поистине царским, доступным только ему с его огромным богатством. Он предоставил ей возможность украсить его по собственному усмотрению и всячески настаивал на том, чтобы она совершенно не стеснялась в средствах; ему даже доставляло удовольствие подразнить своих бывших опекунов, перечисляя истраченные ею чеки. Дворик был выстроен вне всякой связи с общим планом и архитектурой Большого дома, но он был скрыт так глубоко, что общая гармония линий и красок от этого не нарушалась. Это было произведение искусства, впрочем, тщательно скрываемое. Там бывали только сестры Паолы и самые близкие друзья, в исключительных случаях туда допускался какой-нибудь художник. Грэхем слышал о существовании этого дворика, но даже его Паола не приглашала туда. Он был круглый и настолько маленьким, что от него не веяло холодом, обычным для больших площадей. Большой дом был построен из бетона, здесь же радовал глаз лишь прекрасный мрамор. Белизна окружающих дворик со всех сторон мраморных

сводов, украшенных тончайшей резьбой, смягчалась нежнейшим зеленоватым оттенком, так что солнце здесь не слепило. Вокруг стройных колонок вились бледно-алые розы, заползая на низкую плоскую крышу, откуда, у водосточных труб, вместо уродливых химер улыбались приветливые, лукавые младенцы. Дик медленно прошелся по полу из розового мрамора, и окружающая красота невольно тронула и умилила его.

Душой волшебного дворика был фонтан, составленный из трех сообщающихся между собой, расположенных на разных уровнях бассейнов белого мрамора, тонкого и почти прозрачного, как морская раковина. У этих бассейнов резвились изваянные искусной рукой бледно-розовые младенцы в натуральную величину. Некоторые через край верхнего бассейна заглядывали в нижний, один протягивал жадные ручки за золотыми рыбками; другой, лежа на спине, улыбался небу; третий, широко расставив толстенькие с ямочками ножки, лениво потягивался. Иные как будто собирались перейти воду вброд, другие играли на земле среди белых и алых роз, но все были чем-то связаны с фонтаном и где-нибудь касались его. Цвет мрамора был так удачен и скульптор так искусно выполнил свою задачу, что получилась

полная иллюзия жизни. Тут были не херувимы, а настоящие живые младенцы из плоти и крови.

Дик долго, с улыбкой всматривался в эту картину; докурив, он все еще стоял с остывшим окурком в руке. «Вот что ей нужно было, — думал он, — детей. Ведь это ее страсть. Если бы она это поняла...» Он вздохнул, ему пришла в голову новая мысль; он взглянул на ее любимое местечко, заранее уверенный, что не увидит на нём сложенной в кучку работы. Нет, теперь она не вышивала. Он не пошел в маленькую галерейку за сводами, где хранились ее любимые картины и гравюры и мраморные и бронзовые копии со всех ее любимых статуй европейских галерей. Вместо этого он поднялся наверх, мимо дивной Ники на площадке, где лестница раздваивалась, и прошел в ее покои, занимавшие весь верхний флигель. Но прежде, остановившись у Ники, он обернулся и еще раз взглянул на волшебный дворик. Отсюда он казался точно камеей, совершенством по замыслу, исполнению и колориту; он сознался, что, хотя это произведение искусства было осуществлено благодаря ему, создала она его сама — это был ее шедевр. Она давно мечтала о нем, и Дик дал ей возможность осуществить свою мечту. Теперь же, думал он, это ее дивное

творение не имеет для нее никакого значения. Корысти в ней нет, — это он знал, — и если он сам не может ее удержать, то на этих игрушках ее сердце не остановится.

Он бродил по ее комнатам, едва сознавая, на что смотрит, но оглядывая все с бесконечной нежностью. Как и все, исходящее от нее, эти комнаты носили свой особый отпечаток. Они были не такие, как у всех, они кричали о ней… И все же, несмотря на охватившее его настроение, он не мог не заметить, заглянув в ванную комнату, с углубленной в полу на римский лад ванной, что кран слегка подтекает, и запомнил, что на это следует указать водопроводчику.

Он взглянул и на мольберт, уверенный, что ничего нового на нем не увидит, но ошибся: перед ним стоял его собственный портрет. Он знал, что Паола иногда берет позу и контуры с какой-нибудь фотографии, а лицо заполняет на память. На этот раз она использовала очень удачный моментальный снимок с него, верхом. Снимок изображал Фурию, каким-то чудом оказавшуюся совершенно неподвижной, а на ней Дика, с шляпой в руке и чуть помятыми волосами. Лицо его было совершенно спокойно — он не знал, что его снимают, — он смотрел прямо

на фотоаппарат. Профессионалу-фотографу не удалось бы получить большего сходства. Снимок Паола отдала увеличить и по нему работала. Но портрет уже далеко опередил фотографию, и Дик ясно различал штрихи, приданные ею самой.

Вдруг он вздрогнул и всмотрелся внимательнее. Разве это его выражение глаз и всего лица? Он снова взглянул на фотографию, — там этого выражения не было. Он подошел к зеркалу, несколько отвлекся, а затем стал думать о Паоле и Грэхеме, — и на лице его и в глазах появилось то же выражение. Не довольствуясь своим открытием, он вернулся к портрету и проверил его. Теперь он видел, что Паола знает. Паола знает, что он все знает. Она подметила у него это выражение, схватила его в минуту, когда он этого не сознавал, унесла в своей памяти и передала на полотно.

Послышались шаги, и Дик увидел, что к нему из гардеробной подходит горничная Паолы, китаянка Ой-Ли. Она его сначала не заметила, как будто о чем-то глубоко задумавшись. Он обратил внимание на то, как печально ее лицо, и его поразило, что исчезла характерная у нее легкая приподнятость бровей, выражающая точно полное сочувствие, усердие. Тут было не усердие, это было ясно. Она была чем-то подавлена, страшно

подавлена. «Кажется, наши лица начинают выдавать нас», — подумал он.

— Доброе утро, Ой-Ли, — он спугнул ее. И в глазах ее, остановившихся на нем, он прочел сострадание. Значит, она знала! Из посторонних она была первая! Да, ведь этого можно было ожидать, она — женщина, и так часто бывает с Паолой наедине, кому, как не ей, угадать тайну своей хозяйки.

Губы Ой-Ли задрожали, и она заломила дрожащие руки, видимо, делая над собою усилие, чтобы заговорить.

— Мистер Форрест, — начала она, запинаясь, — вы, может быть, сочтете меня за глупую, но я все-таки хотела сказать. Вы очень добрый, вы были очень добры к моей старой матери. Вы ко мне добры давно… давно…

Она остановилась в нерешительности, облизала пересохшие губы. Затем дерзнула поднять глаза на него и продолжала:

— Миссис Форрест, она, мне кажется…

Но лицо Дика стало таким суровым, что она оробела и остановилась, покраснев, а Дик со стыдом сообразил, какие мысли она сейчас хотела высказать вслух.

— Очень хорошую картину пишет миссис Фор-

рест, — сказал он, чтобы дать ей успокоиться.

Китаянка вздохнула и по-прежнему с состраданием долго смотрела на портрет Дика.

Она снова вздохнула, но Дик уловил холодность ее тона, когда она ответила:

— Да, картина миссис Форрест очень хорошая.

Она бросила на него быстрый испытующий взгляд, затем повернулась к мольберту и показала на глаза:

— Нехорошо, — сказала она, и в голосе ее послышалось осуждение, жестокость и даже гнев.

— Нехорошо, — повторила она через плечо, еще более сурово, выходя из комнаты к спальному портику Паолы.

Дик выпрямил плечи, как бы готовясь встретиться лицом к лицу с тем, что над ним висело. «Ну, что ж, это — начало конца. Ой-Ли уже знает. Скоро узнают другие, узнают все». И он как будто даже радовался этому, радовался, что скоро кончится это мучительное выжидание.

Но, уходя, он насвистывал веселую песню, давая понять Ой-Ли, что, насколько ему известно, у него все обстоит благополучно.

В тот же день, пока Дик уезжал кататься верхом с Фрейлигом, Мартинесом и Грэхемом, Паола потихоньку пробралась в комнаты Дика. Войдя в

его спальный портик, она окинула взглядом ряды кнопок, доску со штепселями, соединяющими его со всеми частями имения и с большей частью Калифорнии, диктофон на подставке, аккуратно разложенные книги, журналы и сельскохозяйственные бюллетени отложенные для прочтения, пепельницы, папиросы, блокноты и термос.

Внимание Паолы приковала ее собственная фотография, единственная здесь, в портике. Она висела над барометрами и термометрами, то есть там, куда, как она знала, чаще всего смотрит Дик. Странная фантазия пришла ей в голову: она повернула смеющееся лицо к стене и перевела глаза от темной рамы к кровати и обратно, но сейчас же, будто испугавшись, снова повесила фотографию по-прежнему, смеющимся лицом к комнате. «Ей здесь место», — подумала она. И действительно, фотография как бы слилась со всем окружающим.

Потом ее глаза вдруг остановились на большом автоматическом револьвере в кобуре, висевшем на стене, недалеко от кровати, так, чтобы быть всегда под рукой. Она слегка потянула его: так она и думала, он вынимается легко — в этом Дик! На него можно положиться: как бы долго оружие ни лежало без употребления, он не позволит ему

залежаться в кобуре. Вернувшись в рабочий кабинет, Паола медленно прошлась, поглядывая то на множество картотек, то на карты и справочники, то на ряды реестров по скотоводству и коневодству в прочных переплетах. Наконец, она дошла до его сочинений — ряд брошюр и статей, целых десять томов! Она добросовестно вдумывалась в заглавия: «Маис в Калифорнии», «Организация ферм», «Сельскохозяйственная бухгалтерия», «Ширы в Америке», «Истощение чернозема», «Почвоведение», «Люцерна в Калифорнии», «Калифорнийские урожаи», «Шортхорны в Америке». Последней книге она ласково улыбнулась, вспомнив оживленную полемику, когда Дик разделял и защищал дойных и убойных коров против тех, кто отстаивал новый тип коров, выполняющих оба назначения.

Она ладонью погладила корешки книг, прижалась к ним щекой и так постояла с закрытыми глазами. «Ах, Дик, Дик...», — шептала она, и нарождающаяся мысль замерла и погасла в охватившей ее неясной печали, потому что у нее не хватило смелости додумать ее до конца.

Этот письменный стол такой особенный, типичный для Дика! На нем не было ничего лишнего, никакого беспорядка, ни следов рабо-

ты, только плоские проволочные корзиночки с написанными на машинке письмами, оставленными ему для подписи, и с толстой кипой желтых листков, на которых его секретари обычно записывали телеграммы, переданные по телефону из Эльдорадо. Она рассеянно просмотрела первые строки лежащей сверху телеграммы, но несколько слов неожиданно остановили ее внимание. Она перечитала еще раз, нахмурившись. А затем порылась в пачке, пока не нашла подтверждения: «Джереми Брэкстон убит, большого добродушного и веселого Джереми Брэкстона больше на свете не было». Его убили в горах, по дороге в Аризону, куда он пытался бежать с рудников. На него напала полупьяная, полуобезумевшая толпа мексиканских рабочих. Очевидно, Дику это стало известно два дня тому назад, но он не захотел огорчать ее. Кроме того, эта смерть означала и существенные денежные потери. Дела на рудниках серьезно ухудшались, а Дик молчал — в этом он весь!

Итак, Брэкстона уже нет в живых. В комнате вдруг стало свежее. Она почувствовала, что ее трясет. Такова жизнь — конец один, смерть. Снова ее охватил непонятный, смутный страх. Впереди… рок. Над кем он навис? Она не пыта-

лась предсказывать. Достаточно самого сознания: нависает рок. Оно переполняло ее душу, и самый воздух в рабочем кабинете был точно насыщен угрозой.

Глава XXIX

— У птиц есть особая чувствительность, — говорил Терренс, взяв с подноса А-Ха коктейль, — и такая же чувствительность у нашей маленькой хозяйки.

Это было за час до обеда, и Грэхем, Лео и Терренс Мак-Фейн случайно встретились в бильярдной.

— Нет, Лео, — предупредил ирландец молодого поэта, — хватит с вас одной этой. У вас уже и так щеки разгорелись. Еще одна — и вас развезет, вы не имеете права в вашей юной голове смешивать красоту с крепкими напитками. Предоставьте пить старшим; чтобы пить, нужно иметь какое-то сродство с напитком. У вас его нет. Что же до меня…

Он опорожнил рюмку и еще раз провел языком по губам.

— Бабье пойло, — презрительно покачал он головой. — Мне не нравится, не жжет, и вкуса в нем никакого. А-Ха, голубчик, — позвал он китайца, — вы мне смешайте-ка настоящий, в длинном-длинном бокале. — И он горизонтально вытянутыми четырьмя пальцами показал, сколько ему налить, а на вопрос А-Ха, какого ему

виски, ответил: — Шотландского, или ирландского, или бурбонского — это не важно, какой есть под рукой.

Грэхем кивнул китайцу и усмехнулся ирландцу.

— Меня вы не перепьете, Терренс. Я вашей проделки с О'Хэй не забыл.

— Вы должны понять, что это был просто несчастный случай, — ответил тот, — ведь всем известно, что раз человек не настроен пить, то спиртное на него действует, ударяет его, как обухом.

— А вы? — спросил Грэхем.

— Меня никаким обухом не прошибало. У меня не такой большой жизненный опыт.

— Однако, Терренс, — напомнил ему Лео, — вы что-то говорили о миссис Форрест и что-то, кажется, хорошее.

— Может ли быть иначе? — укоризненно сказал Терренс. — Ну да, я хотел сказать, что эта чувствительность свойственна птицам: не вульгарной, кривляющейся и подпрыгивающей трясогузке и не томной и важной горлице, а чувствительность веселая, вот как у диких канареек, которые купаются тут в фонтанах, всегда чирикая и распевая, расплескивая солнечные брызги, радостно пылая

всем своим золотым сердечком в счастливой грудке. Вот так и наша маленькая хозяйка. Я много наблюдал за ней. Для нее радость — все, и на земле, и под землей, и на небе; все обогащает ее дни: пурпур ли это, неожиданно окрасивший цветок мирта, которому положено быть светло-сиреневым, или покачиваемая ветром чудесная роза «дюшес», распустившаяся в солнечный день. Паола как-то сказала мне: «У этой розы цвет зари, Терренс, и форма поцелуя». Серебристое ржание Принцессы и звон колокольчиков овечьих стад в морозное утро, прелестные ангорские козочки, живой шелковой лентой спускающиеся с холмов, и лиловые заросли душистых люпинов вдоль изгородей, обожженные солнцем холмы, бурые, похожие на притаившихся львов, — все это ей в радость. Я даже видел, с каким почти чувственным удовольствием маленькая хозяйка подставляла руки и шею жарким лучам Божьего солнца!

— Она сама душа красоты, — восторженно прошептал Лео. — Глядя на нее, понимаешь, как мужчины умирают ради женщин.

— И как живут ради них и любят их, так они хороши, — добавил Терренс. — Слушайте, мистер Грэхем, я вам выдам секрет. Мы, философы из

рощи мамонтовых деревьев, мы, потерпевшие крушение и за ненадобностью выброшенные жизнью сюда в тихую пристань, где существуем щедротами Дика, мы все — братство влюбленных. А дама наших сердец одна — маленькая хозяйка. У нас все дни проходят в праздных беседах и грезах, мы палец о палец не шевельнули бы ни ради Бога, ни ради черта, но мы — рыцари, давшие клятву верности маленькой хозяйке.

— Мы за нее готовы умереть, — подтвердил Лео, тихонько склонив голову.

— Нет, друг, мы за нее готовы жить и бороться. Умереть — легко.

Грэхем внимательно слушал. Юноша, конечно, ничего не понимает, но в глубоких глазах кельта, испытующе всматривающихся в него из-под гривы седеющих волос, ясно чувствовалось, что он в курсе всей ситуации.

С лестницы послышались мужские голоса; когда Мартинес и Дар-Хиал вошли, Терренс уже перевел разговор:

— Говорят, в Каталине теперь прекрасная погода и великолепный улов.

А-Ха еще раз обошел гостей с коктейлями; подошли Хэнкок и Фрэйлиг, и А-Ха снова взялся за дело. Терренс выпивал свои порции с величе-

ственным бесстрастием, как крепкие смеси, так и все ликеры, какие бы ни подносил ему не менее его бесстрастный китаец, и тут же отечески увещевал Лео, распространяясь о гнусности и вреде алкоголя.

Вошел О-Дай с запиской в руке и остановился в нерешительности, не зная, кому ее вручить.

— Сюда, крылатый небесный вестник, — помахал рукой Терренс. — Это петиция, составленная в весьма изящных выражениях, — пояснил он, прочитав записку. — Приехали Эрнестина и Льют, вот их просьба. Слушайте! — Он прочел вслух — «О вы, благородные и великолепные олени! Две несчастные и смиренные кроткие лани, блуждающие по лесам в полном одиночестве, смиренно просят допустить их на время, остающееся до обеда, к стаду…»

— В этой метафоре есть и неподходящие термины, — заметил Терренс. — Но они поступили правильно. Ведь правило — это правило Дика, и правило отличное: никаких юбок в бильярдной без единодушного согласия мужчин. Готово ли стадо ответствовать? Все, кто за утвердительный ответ, пусть скажет «да». Кто против? Большинство — за.

— О-Дай, беги скорее и пригласи дам!

Обед в этот день прошел так, как протекали все обеды, на которых присутствовали философы. Дик спорил с обычным увлечением и вступил с Аароном в оживленную полемику о Бергсоне, нападая на последнего за его метафизику и проводя резко реалистическую точку зрения.

— Ваш Бергсон просто жулик, Аарон, — закончил Дик. — У него за спиной целый мешок метафизических фокусов из старого мешка средневековых колдунов; только эти фокусы у него все украшены и замаскированы новейшими научными открытиями.

— Это все правда, — согласился Терренс, — Бергсон действительно шарлатан. Потому-то он так популярен.

— Я отрицаю, — прервал его Хэнкок.

— Подождите немного, Аарон, у меня мелькнула мысль. Дайте мне схватить ее, прежде чем она улетит в синюю даль. Дик поймал Бергсона со всем его товаром, выкраденным прямо из хранилища науки. Вся его самоуверенность украдена из учения Дарвина об этике силы, основанной на приспособлении наиболее пригодных видов. Что же сделал со всем этим Бергсон? Он заправил это учение капелькой прагматизма Джемса, слегка окрасил его в розовый цвет известного упования

человеческого рода на потустороннюю жизнь и отлакировал его мнением Ницше, что наибольшего успеха достигает…

— Вы хотите сказать, Уайльда, — поправила Эрнестина.

— Одному Богу известно, что я бы присвоил эту мысль себе, если бы не вы, — вздохнул Терренс, низко поклонившись ей. — Наступит время — этот вопрос об авторстве будут решать букинисты. Лично я сказал бы, что в нем есть что-то от Мафусаила.

— Но я лично хотел сказать, прежде чем меня так мило прервали…

— Есть ли на свете кто-либо более в себе уверенный, чем Дик? — вызывающе спросил Аарон несколько позже, и Паола многозначительно взглянула на Грэхема.

— Я вчера только смотрел стадо годовалых жеребцов, — ответил Терренс, — и, имея перед глазами эту восхитительную картину, я спрашиваю…

— Но Хэнкок возражает вполне обстоятельно, — осмелился высказаться Мартинес. — Мир без тайны скучен и бесполезен. А Дик не признает тайны.

— Вы его не понимаете, — выступил в защиту

Дика Терренс. — Я знаю его хорошо, Дик признает тайну, но не ту разновидность ее, с которой знакомят детей. Никаким романтическим сказкам, с которыми носитесь вы, он не поверит.

— Терренс уловил мою мысль, — кивнул Дик. — Мир всегда будет полон тайны. Для меня человеческий мозг — не бóльшая тайна, чем реакция газов, дающая маленькую каплю воды. А если вы согласитесь с тем, что есть одна великая тайна, то все более сложные явления перестанут быть таинственными. Простая химическая реакция похожа на одну из тех аксиом, на которых строятся здания геометрии. Материя и энергия остаются вечными тайнами; они проявляются в тайнах пространства и времени. Проявление их не таинственно — таинственна только сама материя, из которой сотканы эти проявления. Материя и энергия, да еще и место действия явлений — пространство и время.

Дик замолчал, всматриваясь в бесстрастные лица А-Ха и О-Дая, подававших в эту минуту на стол прямо против него. «Они вряд ли болтливы — подумал он, — хотя много шансов за то, что и они интуитивно знают все, как и Ой-Ли».

— Вот вам, — торжествовал Терренс, — это-то в нем и прекрасно, он никогда не становится на

голову и не теряет равновесия. Он стоит крепко на твердой земле, он стоит на факте и на законе, и никакими фантазиями и химерическими измышлениями его не собьешь.

Как за обедом, так и после него, и вечером никто бы не догадался, что с Диком не все благополучно. В честь возвращения Льют и Эрнестины он положил конец тяжеловесным дискуссиям философов и пустился на всевозможные шалости, фокусы и проказы. Паола тоже заразилась его настроением и помогала ему в его проделках, от которых не поздоровилось никому.

Самая удачная из его затей была игра: представить нечто вроде поцелуйного обряда. Пощады не было никому из мужчин. Грэхему выпала честь пасть первой жертвой, чтобы потом быть свидетелем, как будут подвергаться испытанию остальные, которых Дик вводил в комнату поодиночке. Когда настала очередь Хэнкока и он за руку с Диком степенно дошел до середины комнаты, то его там уже ждала Паола с сестрами, стоя на выставленных в ряд стульях. Он окинул их подозрительным взглядом и настоял на том, чтобы сначала обойти их кругом. Но необычайного как будто ничего не было, разве только то, что на каждой из них была мужская фетровая шляпа.

— Что ж, ничего, красиво, — заявил Хэнкок, стоя перед ними и глядя на них.

— Действительно красиво, — заверил его Дик. — Вы видите перед собой лучшее в нашем имении, это его представители и они подарят вам приветственный поцелуй. Выбирайте, Аарон.

Аарон быстро перевернулся на каблуках из опасения, что ему с тылу грозит какая-нибудь скрытая опасность, и спросил:

— Они все три меня будут целовать?

— Нет, вы должны выбрать одну.

— А те, кого я не выберу, не будут на меня в обиде? — допрашивал Аарон. — А против бакенбард они не против? — задал он еще новый вопрос.

— Нет, не против, — заявила Льют. — Сколько раз мне приходило в голову, какое же ощущение, если поцеловать черные бакенбарды.

— Нам сегодня придется перецеловать всех философов, поэтому торопитесь, — заявила Эрнестина. — Сколько там народу ждет! Надо же мне узнать, как целуется поле люцерны!

— Кого же вы выбираете?

— Разве после всего сказанного еще остается место для выбора, — бойко ответил Хэнкок. — Конечно, выбираю даму моего сердца — маленькую хозяйку.

И в тот же миг, когда он поднял к ней лицо, Паола наклонила голову, и с загнутого вверх края ее шляпы, прямо в лицо ему, ловко нацеленной струёй, вылился добрый стакан воды.

Когда пришла очередь Лео, он тоже смело остановил выбор на Паоле, но чуть не испортил игру, благоговейно преклонив колени и поцеловав край ее платья.

— Так не годится, — крикнула ему Эрнестина. — Целовать надо по-настоящему. Протяните губы для поцелуя.

— Пусть последние будут первыми, поцелуйте меня, Лео, — взмолилась Льют, чтобы спасти его от замешательства.

Он взглянул на нее с благодарностью и протянул губы, но недостаточно закинул голову, и струя со шляпы Льют полилась у него по шее и по спине.

— Меня пусть поцелуют все трое, и да вкушу я тройной рай, — выпутался Терренс из затруднительного положения, и в награду за такую изысканную любезность к нему на голову полились разом три струи.

Дик расшалился, как ребенок. Беззаботнее его, казалось, не было человека в мире, когда он поставил Фрейлига и Мартинеса спиной к двери,

чтобы измерить их рост и разрешить спор о том, кто из них выше.

— Колени вместе… выпрямить! Головы назад!

А в ту самую минуту, как они головой коснулись двери, с другой стороны ее раздался оглушительный треск, и они отскочили. Дверь открылась, и вошла Эрнестина с палкой с наконечником от гонга в каждой руке.

В самом разгаре веселья явились Мэзоны, Уатсоны и вся их компания из Уикенберга.

Дик настоял на том, что и вновь прибывшие молодые люди заслуживают чести быть посвященными в поцелуйный обряд. Но от него не ускользнуло, что среди суматохи и взаимных приветствий многолюдного общества Лотти Мэзон воскликнула:

— Ах, добрый вечер, мистер Грэхем! А я думала, вы уже уехали.

И тогда среди шумного гама, размещая гостей и продолжая разыгрывать взятую на себя роль бесшабашного весельчака, он стал зорко ловить на лице Лотти остро испытующий взгляд, которым женщины пронизывают только женщин и который он теперь предвидел. Долго ждать ему не пришлось. Именно так Лотти и взглянула на Паолу через несколько минут, когда та, случайно

столкнувшись лицом к лицу с Грэхемом, что-то ему говорила.

«Пока не знает, — решил Дик, — Лотти не знает. Но она подозревает»; он был убежден, что при данных обстоятельствах ничто не порадовало бы ее сердце так, как если бы ей удалось открыть, что безупречная Паола — такая же слабая женщина, как и она.

Лотти Мэзон была высокая, видная брюнетка лет двадцати пяти, несомненно красивая и, как Дик имел случай убедиться, безусловно смелая. Еще совсем недавно завлеченный и, надо сказать, завлеченный умело, он позволил себе с ней легкий флирт, который, впрочем, не зашел так далеко, как ей бы этого хотелось. С его стороны ничего серьезного не было. Не допустил он и развития какого-либо серьезного чувства с ее стороны. Но все же и того, что было, хватило бы для Лотти, которая особенно внимательно могла наблюдать за Паолой и увидеть какие-то признаки подозрительного поведения с ее стороны.

— О да, он чудесный танцор, — говорила Лотти Мэзон полчаса спустя приехавшей с ними маленькой мисс Максуэлл. — Не правда ли, Дик? — обратилась она к нему, заметив, что он подошел к ним и слышал ее слова, и посмотрела

на него невинными бесхитростными глазами, в действительности — он отлично это знал — тут же внимательно его изучая.

— Вы о ком? Вы, вероятно, имеете в виду Грэхема, — откликнулся он без малейшего смущения. — Это правда. А что, не затеять ли танцы? Тогда мисс Максуэлл сможет сама оценить. Но у нас только одна дама, с которой он сможет полностью раскрыть свое мастерство и продемонстрировать свое искусство во всем блеске.

— Паола, конечно, — сказала Лотти.

— Разумеется. Конечно, Паола. Ведь вы, молодежь, и понятия не имеете о том, что значит вальсировать. Вам ведь негде было учиться.

Лотти обиженно тряхнула прекрасной головкой.

— Может быть, вы кое-чему и научились до того, как вошли в моду новые танцы, — поправился он. — Но, как бы там ни было, а я иду просить Ивэна и Паолу, а мы с вами протанцуем, и пари держу, что других пар не будет.

Но посреди вальса он вдруг остановился:

— Оставим их одних: стоит посмотреть.

Он стал, сияя от удовольствия, любуясь женой и Грэхемом, с удовлетворением отмечая, что Лотти поглядывает на него сбоку украдкой и подозре-

ния ее рассеиваются.

Потом стали танцевать все, вечер был теплый и двери во внутренний двор раскрыли настежь. То одна пара, то другая, танцуя, выходила туда и продолжала вальсировать вдоль длинных, залитых лунным светом сводов. Кончилось тем, что туда перекочевало все общество.

— Он совсем еще мальчишка! — заметила Паола, стоя с Грэхемом в стороне и слушая, как Дик всем и каждому расхваливает достоинства своего нового, ночного фотографического аппарата. — Вы слышали, как Аарон за столом жаловался на его самоуверенность и как Терренс прокомментировал это? С ним ничего страшного в жизни не случалось. Никогда никто его не побеждал. Его самоуверенность всегда оправдывала себя, и, как говорит Терренс, он всегда делал настоящее дело. Он знает, конечно, знает, и все-таки уверен в себе и уверен во мне.

Грэхему пришлось протанцевать с мисс Максуэлл, а Паола продолжала свои размышления, уже одна. В конце концов Дик не так уж страдает. Да этого и следовало ожидать. Он — человек хладнокровный, истинный философ, он примирится с ее уходом так же спокойно и бесстрастно, как примирился бы и с потерей Горного Духа, как

примирился со смертью Джереми Брэкстона и с потоплением рудников. «Нелегко, — говорила она себе, улыбаясь и внутренне вся отдаваясь пламенному влечению к Грэхему, — быть замужем за философом, который и пальцем не шевельнет, чтобы удержать тебя». И она снова подумала, что обаяние Грэхема заключается в его человечности, в его страстности. Это сближало их. Даже в первые их встречи в Париже Дик не вызывал в ней такой страсти. А ведь он был удивительный возлюбленный — со своим даром речи, со своим умением подойти к ней, с индейскими любовными песнями, так восхищавшими ее; но все это было что-то не то — не то, что она чувствовала к Грэхему и что Грэхем чувствует к ней. К тому же в те далекие времена, когда Дик такой блестящей звездой загорелся на ее горизонте, она ведь была так молода и неопытна в вопросах любви.

Эти мысли ожесточали ее против мужа и раздували чувство к Грэхему. Масса народа, общее веселье, возбуждение, близость и нежность прикосновений во время вальса, теплая ласка летнего вечера, лунный свет и запах цветов — все это разжигало ее страсть, и она с нетерпением выжидала случая еще хоть раз протанцевать с Грэхемом.

— Магния не надо, — пояснял Дик. — Это немецкое изобретение, достаточно полминуты при обычном освещении. Лучше всего то, что пластинку можно тут же и проявить точно так же, как и обыкновенный негатив. Недостаток, конечно, есть, — нельзя печатать с пластинки.

— Но если вышло удачно, то с пластинки можно снять обыкновенную копию, а уже с той печатать, — дополнила Эрнестина.

Она знала устройство аппарата, знала, что как только Дик нажмет грушу, из аппарата, точно Петрушка, выскочит громадная, длиной в двадцать футов, свернутая в камере пружинная змея. Тут же и другие, уже раньше видевшие фокус, стали просить Дика пойти за камерой и показать его всем.

Он пробыл дольше, чем думал, так как на столе у себя нашел оставленные Бонбрайтом телеграммы о положении в Мексике; они требовали немедленного ответа. И только покончив с ним, с фотографическим аппаратом в руке Дик вернулся кратчайшим, но не совсем обычным для него путем. Танцующие пары, скользя мимо сводов, скрывались в зале; он облокотился на одну из колонн и смотрел на них. Паола и Ивэн были последними. Дик стоял так близко, что мог бы

протянуть руку и дотронуться до них, но они его не заметили, хотя луна светила прямо на него. Они видели только друг друга.

Предпоследняя пара уже вошла в дом, музыка умолкла. Грэхем и Паола приостановились, и он хотел подать ей руку и повести ее, но она внезапным движением прижалась к нему. Из мужской осторожности он секунду колебался, но она, обвив его шею рукой, притянула его голову к себе и поцеловала его. Это была минутная вспышка страсти. В следующее мгновение они шли уже под руку, и Паола смеялась весело и непринужденно.

Дик ухватился за колонну и бессильно опустился на каменные плиты. Его душило; сердце, казалось, хотело выскочить. Он ловил воздух. А это проклятое сердце все поднималось и душило его; ему показалось, что он жует его зубами, глотает и, наконец, чувствует, как оно проходит обратно через горло вместе с живительным воздухом. Его знобило, он вдруг заметил, что покрылся холодным потом.

— Откуда это у Форрестов болезни сердца? — пробормотал он, все еще сидя на плитах, опираясь на колонну и платком обтирая мокрое лицо. Руки тряслись, его слегка тошнило; внутренне он весь еще вздрагивал. Если бы ее поцеловал

Грэхем, это было бы еще не то, рассуждал он. А тут Паола сама поцеловала Грэхема. Это была любовь и страсть. Он видел, и вся картина снова загоралась у него перед глазами; и он чувствовал, как сердце в нем снова точно срывается с места, и его снова охватывает то же удушье. Огромным усилием воли он овладел собой и встал на ноги. «Клянусь Богом, оно было у меня во рту, и я жевал его зубами, да, жевал!»

Он вернулся через крытый двор обходным путем и, бодрясь, вошел в освещенную комнату с камерой в руках, совершенно не предвидя, как его встретят.

— Да что с вами? Привидение увидели? — первая воскликнула Льют.

— Уж не больны ли? Что случилось? — забросали его вопросами остальные.

— Да в чем же дело? — ничего не понимая, спросил он в свою очередь.

— Да ваше лицо, что это за выражение! — ужаснулась Эрнестина. — Что-то случилось, в чем дело?

Он оглянулся, соображая, что ответить, и не пропустил быстрого взгляда, брошенного Лотти Мэзон на Паолу и Грэхема, как не ускользнуло от его внимания и то, что Эрнестина заметила

этот взгляд, и сама тоже глянула на них вслед за Лотти.

— Да, — соврал он, — плохие вести, только что получил телеграмму. Джереми Брэкстон умер. Он убит. Он попал в руки мексиканцев, пытаясь спастись от них в Аризоне.

— Брэкстон! — воскликнул Терренс. — Царство ему небесное, хороший был человек, — сказал Терренс, подхватив Дика под руку. — Пойдем, старина, вам надо подкрепиться, и я вам покажу, как это делается.

— Да нет, я ничего, — улыбнулся Дик, выпрямив плечи и выпятив грудь, как бы набираясь силы. — В первую минуту меня действительно пришибло. Я ни минуты не сомневался в том, что Джереми выпутается, а вот таки убили его, а с ним и двоих инженеров. Они было затеяли ужасную драку. Они стояли под прикрытием скалы и выдерживали натиск пятисот мексиканцев в течение суток. А мексиканцы на них бросили сверху динамит. Да что уж тут, всякая плоть есть трава, а прошлогодних трав не бывает. Что ж, пожалуй, Терренс, ваш совет дельный. Идем.

Но только они прошли несколько шагов, он обернулся и крикнул через плечо:

— Но только условие, чтоб это никому не ис-

портило вечер. Я сию минутку вернусь и буду снимать. Ты, Эрнестина, всех размести да смотри, чтобы освещение было поярче.

Терренс открыл скрытый в стене на другом конце комнаты шкафчик и расставил рюмки, а Дик зажег стенную лампочку и рассмотрел свое лицо в небольшом зеркальце, вделанном с внутренней стороны в дверцу шкафчика.

— Ну, теперь все как следует, лицо обыкновенное, — заявил он.

— Да просто тень набежала и прошла, — согласился Терренс, наливая ему виски. — Не мудрено расстроиться, ведь, жаль старых друзей.

Они чокнулись и молча выпили.

— Ну-ка еще, — сказал Дик, протягивая руку.

— Скажите, когда довольно, — невозмутимо ответил ирландец, наблюдая, как виски поднимается в стакане.

Дик выждал, пока он не наполнится до половины.

Они снова чокнулись и снова выпили, глядя в глаза друг другу, и Дик в душе был благодарен Терренсу за ту беззаветную преданность, которую он прочел в его глазах.

Вернувшись к гостям, он увидел, что Эрнестина бойко рассаживает группу, украдкой пытаясь

угадать по лицам Лотти, Паолы и Грэхема, что же происходит и что она почуяла. «Почему, — спрашивала она себя, — Лотти так быстро и пытливо взглянула на Грэхема и Паолу? А теперь и с Паолой творится что-то неладное. Она, видимо, чем-то озабочена, расстроена, и настолько сильно, что объяснить это одним известием о смерти Джереми Брэкстона нельзя». На лице Грэхема Эрнестина не могла прочесть ничего; он держался как всегда и немилосердно смешил мисс Максуэлл и миссис Уатсон.

Паола действительно была расстроена. Что же случилось в действительности? Почему Дик солгал, ведь он знал о смерти Джереми еще два дня тому назад! Никогда она не видела, чтобы чья-нибудь смерть на него так подействовала. Ей пришло в голову, что он мог выпить лишнее. За двенадцать лет их совместной жизни это случалось с ним несколько раз, но всегда с тем единственным результатом, что глаза его загорались особым блеском, язык развязывался, ему на ум приходили самые необыкновенные фантазии или он импровизировал новые песни. Уж не напился ли он с горя по Джереми в бильярдной комнате с твердоголовым Терренсом? Она как раз перед самым обедом застала там всю компанию в

сборе. Об истинной причине происшедшей в нем перемены она совершенно не догадывалась хотя бы потому, что за ним не водилось привычки подсматривать.

Он подошел, громко смеясь какой-то шутке Терренса, и, знаком подозвав Грэхема, заставил Терренса повторить ее. Посмеявшись вместе с ними всласть, он приготовился снимать группу. Из камеры выскочила длинная-предлинная змея, и визг перепуганных дам несколько рассеял нависшее было над обществом мрачное настроение; оно перешло в необузданное веселье, когда Дик организовал великолепный турнир.

Суть заключалась в том, чтобы в течение пяти минут перенести со стула на стул, поставленных на расстоянии в общем двенадцати ярдов друг от друга, на столовом ноже наибольшее количество земляных орехов. Сначала он показал, как это делать, затем выбрал себе в партнеры Паолу, предложив всем посостязаться, включая Уикенберг и арбутусовую рощу. Заключались пари на множество коробок конфет; в конце концов выиграли все же они с Паолой против Грэхема и Эрнестины, оказавшихся лучшими после них игроками. Стали упрашивать Дика произнести речь на какую-нибудь тему, но победили другие, тре-

бовавшие от него песни о земляных орехах. Дик согласился и, отбивая такт на манер индейцев, не сгибая ног и прихлопывая по икрам, запел:

— Я — Дик Форрест, сын Счастливчика Ричарда, сына Джонатана Пуританина, сына Джона, морского разбойника, как и отец его Альберт, сын Мортимера, пирата, повешенного в цепях и умершего без отпущения грехов.

Я — последний из Форрестов, но первый из тех, кто носит земляные орехи. Ни один из моих предков не делал этого до меня. Я ношу орехи на ноже, на серебряном ноже. Орехами движет сам черт. Но я ношу орехи грациозно и быстро, и их очень много. Нет таких орехов, которых бы я не победил.

Орехи катятся. Орехи катятся. Как Атлас, поддерживающий земной шар, я не даю им падать. Не всякий человек может нести земляные орехи. Я одарен свыше. Я мастер этого искусства. Искусство это прекрасно. Орехи катятся, орехи катятся, а я вечно ношу их.

Аарон — философ, он не может носить орехи. Эрнестина — блондинка. Она не может носить орехи. Ивэн — спортсмен. Он роняет орехи. Паола — мой партнер, она играет с орехами. Только я — я, милостью Божьей и благодаря своему

собственному разуму, только я ношу земляные орехи.

Когда кому-нибудь моя песнь надоест, пусть он бросит в меня чем-нибудь. Я горд, я неутомим, я могу петь до бесконечности. Я буду петь до бесконечности.

Здесь начинается песнь вторая. Когда я умру, похороните меня в яме с земляными орехами. Пока я жив…

Долгожданный ураган подушек прекратил его пение, но не укротил его буйного веселья: не прошло и минуты, как он уже сидел где-то в углу с Лотти Мэзон и Паолой, замышляя заговор против Терренса.

Вечер продолжался среди танцев, шуток и игр. В двенадцать часов подали ужин, и гости стали разъезжаться только в два часа утра. Пока они одевались, Паола предложила съездить на следующий день к реке Сакраменто осмотреть засеянное там рисом опытное рисовое поле, новую затею Дика.

— А я придумал другое, — вмешался Дик. — Знаешь пастбища в горах над Сайкаморой? Там за последние десять дней зарезаны три годовалки.

— Неужели пумы? — воскликнула Паола.

— Две, по меньшей мере. Забрели с севера, —

пояснил он, обернувшись к Грэхему, — это и раньше бывало. Пять лет назад там убили троих. Мосс и Хартли будут нас там поджидать с собаками. Они выследили двух. Что скажете? Поедемте все. Сейчас же после второго завтрака.

— Можно мне Молли? — попросила Льют.

— А тебе Альтадену, — предложила Паола Эрнестине. В несколько минут лошадей распределили. Фрейлиг и Мартинес тоже согласились поехать, но заранее заявили, что они и наездники неважные и плохо стреляют.

Все вышли провожать гостей, а когда уикенбержцы укатили, постояли еще, сговариваясь относительно завтрашней охоты.

— Спокойной ночи, — сказал Дик, когда все вошли в дом. — А я пойду, погляжу на нашу старенькую Ольден Бесси. Хеннесси при ней. Помните же, девицы: к завтраку в амазонках, и смотрите, чтобы никто не опоздал!

Престарелая мать Принцессы была действительно очень плоха, но Дик не навестил бы ее в такой поздний час, если бы ему не хотелось побыть одному; он не чувствовал себя в силах остаться наедине с Паолой хотя бы на минуту после того, что видел.

Звук легких шагов по гравию заставил его обер-

нуться. Эрнестина догнала его и взяла под руку.

— Бедняжка Ольден Бесси, — сказала она. — Мне захотелось пройтись.

Дик, все еще выдерживая свою роль, посмеиваясь, припоминал разные забавные инциденты вечера.

— Дик, — начала она, как только наступило минутное молчание, — у вас какое-то горе. — Она почувствовала, как он весь вздрогнул и подтянулся, и продолжала торопливо: — Не могу ли я помочь? Вы знаете, что на меня можете положиться. Скажите.

— Хорошо, скажу, — ответил он. — Одно, и только одно вы можете для меня сделать. — Она благодарно прижала его руку к себе. — Я устрою так, что вы завтра получите телеграмму, не особенно серьезную, но все-таки такую, что вы с Льют тотчас же соберетесь и уедете.

— И это все?

— Для меня это будет большим одолжением.

— Так что вы и поговорить со мной не хотите, — настаивала она, огорченная тем, что он ее оттолкнул.

— Телеграмма вас застанет в постели. А теперь к Ольден Бесси идти незачем. Иди спать. Спокойной ночи.

Он поцеловал ее, дружески повернул по направлению к дому и пошел своей дорогой.

Глава XXX

По пути от больной кобылы домой Дик остановился, прислушиваясь к беспокойному топоту Горного Духа и его товарищей в конюшне для жеребцов. В тишине откуда-то с гор доносился звон одного-единственного колокольчика на шее у какой-нибудь одной пасущейся коровы. В лицо ему пахнуло чем-то ароматным, и легонький ветерок обдал его теплом. Все кругом было насыщено тонким запахом зреющих хлебов и слежавшейся травы. Снова затопали жеребцы, и Дик, дыша всей грудью и полный сознания, что никогда еще он не любил так сильно всю окружающую его благодать, поднял голову, обводя глазами весь звездный горизонт, замыкающийся горными вершинами.

— Нет, Катон, — подумал он вслух. — С тобой нельзя согласиться. Человек не уходит из жизни, как с постоялого двора. Он оставляет ее как свой дом, единственный, родной. Уходит — никуда. Просто в ночь и мрак.

Он было двинулся дальше, но его снова остановил топот жеребцов и снова с гор зазвенел колокольчик. Он глубоко вдохнул благоуханный

воздух, и в нем опять зашевелилась любовь к нему, любовь к этому прекрасному куску земли, который он считал отчасти своим созданием.

Дойдя до дома, он вошел не сразу; постоял, любуясь его смелыми, широко раскинутыми контурами. Войдя, он тоже не сразу направился на свою половину, а побродил по безмолвным комнатам, по дворам, по тускло освещенным коридорам. Он был в состоянии человека, готовящегося в дальний путь; зашел в волшебный дворик Паолы и залил его электричеством, сидя в мраморном кресле строго античной формы, выкурил сигарету, обдумывая свои планы.

Да, все будет сделано до тонкости чисто! Он на этой охоте устроит такой «несчастный случай», которым обманет абсолютно всех. Оплошности не будет. Завтра же в лесу над речкой Сайкаморой. Дед его Джонатан Форрест, суровый пуританин, тоже погиб на охоте от несчастного случая. Тут только первый раз в жизни Дику пришло в голову, что, может быть, это на самом деле вовсе и не был несчастный случай. Если же это не была случайность, то старик все мастерски задумал и исполнил. В семье никогда и разговора не было о том, что здесь могло быть иначе.

Он занес руку, чтобы погасить свет, и остано-

вился на мгновение поглядеть последний раз на мраморных младенцев, резвящихся в фонтане и среди роз.

— Прощайте, младенцы, — окликнул он их тихонько, — только и было их у меня, что вы.

Войдя в свой спальный портик, он посмотрел через большой двор на портик Паолы. Света не было. Может быть, она спит.

Сидя на краю кровати, он вдруг заметил, что один ботинок у него расшнурован и, усмехнувшись своей рассеянности, снова зашнуровал его. Стоит ли ложиться спать? Уже четыре часа утра. Ему захотелось полюбоваться последним восходом солнца. Все теперь — последнее. Разве он оделся не в последний раз? И вчерашняя ванна разве не была последней? Ведь вода не остановит тления смерти. Надо, однако, еще раз побриться. Хотя это пустое тщеславие: волосы не сразу перестают расти на покойниках.

Он достал из стенного шкафика копию завещания и внимательно перечитал его. Ему пришли в голову несколько новых мелких дополнений; он вписал их, поставив число на шесть месяцев раньше, на всякий случай. Последним его распоряжением было обеспечение мудрецов из арбутусовой рощи, причем капитал был рассчи-

тан на семерых членов.

Он посмотрел свои полисы на страхование жизни, проверяя в каждом оговорку о дозволенном самоубийстве; подписал все лежащие в корзинке письма, продиктовал на диктофон письмо издателю. Очистив стол, он наскоро составил общий приходо-расходный баланс, исключив из него доход с мексиканских рудников. Этот баланс он перенес на другой, в котором отвел больше места расходам, а приход урезал до крайности, и все же результат получался удовлетворительный.

Он разорвал исписанные цифрами листы и составил программу ближайших действий на рудниках. Он излагал ее с нарочитой небрежностью, в виде случайного наброска так, чтобы впоследствии, когда эту бумажку найдут, она не вызвала никаких подозрений. Таким же образом набросал он еще и программу скотоводства для своих широв на двадцать лет вперед и составил целую предполагаемую генеалогическую таблицу для Горного Духа, Принцессы и нескольких других лучших из их потомства.

Когда к шести часам утра вошел О-Дай с кофе, Дик дописывал последний пункт программы мероприятий по культуре риса.

«Хотя итальянский рис стоит испытать, так как

он созревает очень рано, я временно ограничусь на главных плантациях японскими сортами. Они дозревают в разное время, так что с теми же самыми рабочими и машинным составом можно засеять гораздо большее пространство, чем одним сортом».

О-Дай поставил кофе на стол, не подавая вида, что замечает что-либо особое, хотя и бросил взгляд на нетронутую постель, и Дик не мог мысленно не похвалить его за такое самообладание.

К половине седьмого зазвонил телефон, и он услышал усталый голос Хеннесси:

— Я так и знал, что вы уже встали, и хотел вас порадовать: Бесси выживет, но, действительно, она была на волоске. Ну, а теперь я иду отдохнуть.

Побрившись, Дик взглянул на душ, одну секунду постоял в нерешительности, но, в конце концов, упрямо нахмурился, и в голове его мелькнуло: «Стоит ли? Только потеря времени», но башмаки все-таки снял и заменил их тяжелыми, с высокой шнуровкой, более пригодными для охоты.

И опять он сидел за письменным столом, просматривая записи в блокнотах с планами на утреннюю работу, когда вошла Паола. Она не

проговорила своего обычного «С добрым утром, славный господин», а подошла к нему совсем близко и с тихой нежностью сказала:

— Сеятель желудей, вечно неутомимое, устали не знающее Багряное Облако! — Ему бросились в глаза темно-синие круги под ее глазами. Он встал, не дотрагиваясь до нее; да и она не порывалась приласкать его.

— «Белая» ночь? — спросил он, придвигая к ней стул.

— «Белая» ночь, — ответила она. — Ни секунды сна, хотя я очень старалась.

Говорить не хотелось ни тому, ни другому, но так трудно было отвести друг от друга глаза.

— Ты… ты и сам-то не очень хорошо выглядишь, — сказала она.

— Да, мое лицо, — кивнул он. — Я уже смотрел, когда брился, вчерашнее выражение не сходит.

— С тобой вчера что-то случилось, — робко закинула она, и он не мог не увидеть в ее глазах той же жалости, что и у китаянки Ой-Ли. — Это выражение все заметили. В чем дело?

Он пожал плечами.

— Уже сколько времени, как оно появилось, — ответил он уклончиво, вспоминая, что первый намек на это выражение он видел в портрете,

который с него писала Паола. — Ведь ты заметила? — как бы мимоходом спросил он.

Она молча кивнула, и вдруг ей пришла новая мысль. Он видел, как она у нее зародилась еще прежде, чем она сказала:

— Дик, может быть, у тебя роман?

Это было бы выходом. Это распутало бы все. И в ее голосе и на лице была надежда.

Он улыбнулся, медленно покачал головой и почувствовал, что она разочарована.

— Беру обратно, — сказал он, — со мной случилась история.

— Сердечная? — Она ждала его ответа с жадностью. И он ответил:

— Сердечная. — Но она не приготовилась к тому, что последовало. Он вдруг придвинулся к ней так близко, что коленями коснулся ее колен, и, наклонившись к ней, быстро и нежно взял ее обе руки и удержал их у себя на коленях.

— Не пугайся, моя птичка, — успокоил он ее. — Целовать тебя я не буду. Давно уже я тебя не целовал. Я хочу рассказать тебе об этой истории. Но прежде мне хочется сознаться тебе, как я горжусь собой. Горжусь, что люблю! В мои годы — быть влюбленным! Это невероятно, удивительно. И какой я влюбленный! Какой странный,

необыкновенный и во всех отношениях замечательный любовник! Всем книгам, всей биологии наперекор. Я — однолюб; я люблю одну женщину, только ее одну. После двенадцати лет обладания люблю ее безумно, так страстно и так нежно!

Руки ее слегка дрогнули в его руках, и он понял, что она ждала не того и что сейчас невольно пытается высвободиться, но он еще крепче удержал ее.

— Я знаю каждую ее слабость и всю, как есть, со всеми ее слабостями и со всею ее силой. Я люблю ее так же безумно, как любил ее вначале, в те безумные минуты, когда я впервые держал ее в своих объятиях.

Руки ее все пугливее трепетали в удерживающих их его руках, и бессознательно она их тянула и дергала, стараясь вырвать. В глазах ее был страх. Он понимал, что она чувствует, и догадывался, что с губами, еще горящими от поцелуев другого, она опасается горячих излияний Дика.

— Пожалуйста, не пугайся, родная, милая, прекрасная и гордая моя птичка. Вот смотри, я тебя отпускаю. Так ты и знай: я люблю тебя всей душой, все время думаю о тебе так же, как и о себе, больше, чем о себе. — Он отодвинул от нее стул, откинулся и увидел, что в глазах ее вспыхивало

новое, доверчивое выражение. — Я выложу тебе все мое сердце, — продолжал он, — но и ты должна мне выложить все, что у тебя на душе.

— Эта твоя любовь — что-то новое? — спросила она. — Рецидив?

— Пожалуй, да, рецидив, но не совсем.

— А я думала, что давно стала для тебя только привычкой, — сказала она.

— Я все время любил тебя.

— Но не безумно.

— Нет, — признался он, — но с уверенностью. Я был так уверен в тебе! Для меня это было нечто раз навсегда установленное и постоянное. В этом, признаюсь, я виновен. Но когда эта уверенность была поколеблена, вся моя любовь к тебе вспыхнула заново, а всегда она теплилась, как ровное, верное пламя.

— А что ты хотел сказать обо мне? — спросила она.

— К этому я подхожу. Я знаю, чем ты сейчас озабочена и что смутило тебя. Ты так честна, так глубоко честна в корне, правдива, что одна мысль делить себя между двумя тебе противна. Я в тебе не ошибся. Давно уже ты не позволяешь прикоснуться к себе. — Он пожал плечами. — И ведь ты знаешь, что я также давно не старался

коснуться тебя.

— Итак, значит, ты действительно знал с самого начала? — быстро спросила она.

Он утвердительно кивнул головой.

— Вполне возможно, — ответил он с видом человека, тщательно взвешивающего, — что я чутьем ощущал то, что надвигается, еще раньше даже, чем ты. Но в это мы вдаваться не станем.

— Ты видел… — начала она и не договорила, как бы пронзенная стыдом при мысли, что ее муж мог видеть их ласки.

— Не будем входить в унизительные подробности, не будем унижать себя, Паола. Ведь ничего еще не было и нет. Да мне и не надо было видеть; ведь у меня есть собственные воспоминания о том, как и я украдкой целовал в какие-нибудь краткие секунды помимо открытого прощания на сон грядущий! Когда налицо все признаки назревающей страсти, то нельзя уже скрыть нежных оттенков, звуков голоса, полных любви, бессознательной ласки глаз, брошенной в мимолетном взгляде, нельзя скрыть, когда голос невольно смягчается, когда что-то сдавливается в горле, тогда не нужно и видеть того поцелуя на ночь — он неизбежен; и при всем этом, помни, моя любимая, что я оправдываю тебя.

— Да и было… очень немногое, — робко промолвила она.

— Я бы очень удивился, если бы было иначе. Это была бы не ты. Ведь и то, что было, поразило меня. После двенадцати лет, прожитых вместе, это было неожиданно.

— Дик, — перебила она его, наклоняясь к нему и устремляя на него испытующий взгляд, и остановилась, подыскивая слова, но тут же перешла прямо к делу. — Можешь ты сказать, что за все наши двенадцать лет с тобой у тебя не было большего?

— Ведь я тебе уже сказал, что оправдываю тебя во всем, — смягчил он свой ответ.

— Но на мой вопрос ты не ответил, — настаивала она. — Конечно, я имею в виду не легкий флирт, не простое ухаживание, я хочу сказать: измена — в буквальном физическом смысле, когда-нибудь, давно, было же?

— Давно, — ответил он, — немного, и то очень-очень давно.

— Я часто об этом думала, — задумчиво сказала она.

— Я же тебе сказал, что оправдываю тебя во всем, — еще раз повторил он. — А теперь ты знаешь, в чем тебе искать оправдания.

— Значит, и у меня было и есть такое же право, — сказала она. — Хотя нет, Дик, я не имею его, не имею, — поспешно оговорилась она. — Но как бы то ни было, ты-то всегда проповедовал единство нравственной нормы обоих полов.

— Увы! Больше я этого не проповедую, — улыбнулся он. — Воображение — великий учитель, и за последние несколько недель мне пришлось изменить свои взгляды.

— Ты хочешь сказать, что требуешь, чтобы я была верна тебе? — Он утвердительно кивнул головой и сказал:

— Пока мы живем вместе.

— Но где же тут равенство?

— Никакого равенства нет. — Он покачал головой. — Ну, конечно, я знаю; это может показаться какой-то неустойчивостью во взглядах. Но только теперь понял я старую истину, что женщины не похожи на мужчин. Все, чему я научился из книг и теорий, разлетается в прах перед незыблемым фактом, что женщины — матери наших детей. Я еще надеялся иметь от тебя детей. Но с этим покончено, весь вопрос теперь в том, что у тебя на сердце? Свое сердце я тебе раскрыл. А тогда мы сможем решить, как быть дальше.

— Ах, Дик, — еле внятно проговорила она, когда

молчание стало невыносимым, — ведь я люблю тебя, я всегда буду любить тебя. Ты — мое Багряное Облако. Знаешь что? Ведь только еще вчера я зашла в твой спальный портик и повернула свой портрет лицом к стене. Это было ужасно. Как-то даже преступно. Я опять повернула его, — скорей-скорей!

Он закурил сигарету и молча слушал дальше.

— Все-таки ты не сказала мне, что у тебя на сердце. Не все сказала, — пожурил он ее.

— Я действительно люблю тебя.

— А Ивэна?

— Это совсем другое. Как ужасно — говорить так с тобою. И ведь я не знаю, не могу разобрать, что у меня на сердце.

— Любовь? Или любовное приключение? Непременно или то, или другое; одно из двух.

Она покачала головой.

— Разве ты не видишь, — спросила она, — что я и сама не понимаю? Ведь я женщина. Мне не пришлось, что называется, «перебеситься». А теперь, когда все это случилось, мне не разобраться. Вероятно, Бернард Шоу и все они правы. Женщины — хищные животные. Вы оба — крупная добыча, и я не знаю, как быть. Мне кажется, будто мне бросили вызов: я сама для себя загадка. Мое

поведение опрокинуло все мое мировоззрение. Ты мне нужен. Ивэн мне тоже нужен. Вы оба нужны мне. Нет, это не любовное приключение. Или если это и есть любовное приключение, то я этого не знаю, — нет, это не так, я знаю, что это не просто приключение.

— Так, значит, это — любовь.

— Но я люблю и тебя, Багряное Облако.

— Ты говоришь, что любишь его. Обоих ты любить не можешь.

— Могу, обоих люблю, обоих. Я с тобой честна и буду честна. Я должна все это распутать; я думала, ты мне поможешь. Потому-то и пришла к тебе сейчас. Должен же быть какой-нибудь исход.

Она поглядела на него просящими глазами.

— Один из двух: Ивэн или я. Другого выхода я себе не представляю.

— Вот и он то же говорит. Но я не могу с этим согласиться. Он хотел идти прямо к тебе, но я его не пустила. Он хотел уехать, но я его удержала здесь, как это ни было тяжело для вас обоих: чтобы видеть вас вместе и сравнивать вас, и взвешивать в своем сердце. И не пришла ни к чему. Вы мне нужны оба. Не могу пожертвовать ни тем, ни другим.

— К сожалению, как ты сама согласишься, —

начал Дик, и в глазах его невольно блеснул юмор, — хотя у тебя и появилась склонность к полиандрии, к многомужеству, мы-то, глупые мужчины, не можем примириться с таким положением.

— Не будь жесток, Дик, — грустно остановила она его.

— Прости. Я не хотел. Это я от боли, от своей собственной боли — новое усилие перенести все это с философским бесстрастием.

— Я сказала ему, что он единственный, кого бы я сравнила с мужем, но что мой муж — человек, все же еще более выдающийся, чем он.

— Ты это сказала из честности по отношению ко мне и к себе самой, — пояснил Дик. — Ты была моей, пока я не перестал быть для тебя самым великим человеком в мире. А теперь он для тебя лучше всех.

Она отрицательно покачала головой.

— Так дай я попробую помочь тебе разрешить твою задачу, — продолжал он. — Ты сама не понимаешь себя, своих желаний, ты не можешь решить; ты считаешь, что мы оба нужны тебе в равной мере?

— Да, — чуть слышно прошептала она. — Оба, хотя все-таки как-то по-разному.

— В таком случае, дело решенное, — отрезал он.

— То есть как?

— Очень просто: я проиграл, Грэхем выиграл. Разве ты не видишь, не понимаешь? При равных, впрочем, условиях, я имею над ним одно преимущество — все двенадцать лет, прожитые нами вместе, все двенадцать лет прошлой любви, все узы сердца и воспоминаний. Да, Боже мой, если бы все это было брошено в чашу весов Ивэна, ты не колебалась бы ни минуты. Ведь тебя жизнь еще никогда не сбивала с ног, и это переживание пришло так поздно, что тебе трудно с ним справиться!

— Но, Дик, ведь ты меня сшиб с ног в свое время.

Он покачал головой.

— Мне всегда было приятно это думать, и подчас я как будто бы этому и верил, но никогда не верил вполне. Нет, я тебя с ног не сшибал, никогда, даже и в самом начале, когда нас обоих как будто унесло вихрем. Положим, я тебя увлек. Но никогда ты не безумствовала так, как я, никогда волна не уносила тебя, никогда ты не поддавалась вихрю, как я. Я первый полюбил тебя…

— И любил царственно!

— Я полюбил тебя первый, Паола, и хотя ты и откликнулась, но не так. Я тебя с ног никогда не сшибал. А Ивэн, очевидно, сшиб.

— Как бы мне хотелось знать наверняка, — задумчиво проговорила она. — У меня сейчас именно такое чувство, точно меня сшибают с ног, и все же я не уверена. Все это несовместимо. Может быть, меня никто с ног и не сшибает. А ты не помогаешь мне ни чуточки.

— Ты, Паола, ты одна можешь разрешить задачу, — сказал он.

— Но если бы ты помог!.. Если бы ты постарался удержать меня, постарался бы хоть самую малость, — настаивала она.

— Я бессилен. У меня связаны руки. Я не могу протянуть их, чтобы тебя удержать. Ты не можешь делить себя на двоих. Ты была в его объятиях... — Он движением руки остановил ее. — Пожалуйста, прошу тебя, милая, не надо; ты была в его объятиях и ты трепещешь, как испуганная птичка, при одной мысли, что я приласкаю тебя. Вот видишь, твои поступки сами говорят против меня. Ты уже решила, хотя, может быть, и не сознаешь этого. Твое тело это решило. Его объятия ты терпишь, одной мысли о моих не выносишь.

Она медленно, но решительно покачала головой.

— И все же я не решаю, не могу решить, — упорствовала она.

— Но ты должна решить, ты обязана решить. Настоящее положение нестерпимо. И надо решить поскорее, потому что Ивэн должен уехать. Пойми же! Или ты должна уехать. Обоим вам здесь оставаться нельзя. Не спеши, дай себе срок или отправь Ивэна. Или вот что, поезжай погостить к тете Марте. Вдали от нас обоих ты, может быть, скорее к чему-нибудь придешь. И не отменить ли охоту? Я поеду один, а ты оставайся и потолкуешь обо всем с Ивэном. Или поедем все вместе, а ты переговоришь с ним по пути. Так или иначе, я вернусь домой поздно. Может быть, заночую где-нибудь с пастухами. А когда я вернусь, пусть уже Ивэна не будет. Уедешь ты с ним или нет — это тоже должно быть решено к тому же времени.

— А если я уеду? — спросила она.

Он пожал плечами, встал и взглянул на часы.

— Я просил Блэйка прийти сегодня пораньше, — пояснил он, делая шаг к двери и как бы намекая, что ей пора уходить. У двери она остановилась и прижалась к нему.

— Поцелуй меня, Дик, — не как… любовник, — прибавила она, слегка надорванным голосом — а на случай… если я… решусь уйти.

Шаги секретаря уже раздавались в коридоре. Паола все еще не уходила.

— С добрым утром, мистер Блэйк, — поздоровался Дик. — Простите, что я вас так рано поднял. Во-первых, будьте добры, протелефонируйте мистеру Эгеру и мистеру Питтсу, что сегодня я не могу их принять. И, пожалуйста, другим тоже отложите на завтра. Обязательно вызовите мистера Хэнли и скажите, что его проект дамбы на Бьюке я одобряю, пусть он начинает сейчас же. Но с мистером Менденхоллом и мистером Мэнсоном я переговорю. Жду их в половине десятого.

— Еще слово, Дик, — сказала Паола. — Помни, что это я его удержала. Он оставался не по своей вине и не по своему желанию; это я его не отпускала.

— Вот его ты с ног сшибла, — усмехнулся Дик. — Я никак не мог примириться с тем, что он остается здесь при таких обстоятельствах, я никак не мог согласовать это с тем, что я о нем знаю. Но раз ты его не пускала, а он сходит с ума, а раз речь идет о тебе, так с любым такое могло случиться, я понимаю. Он лучше многих людей, он более

чем порядочен. Таких, как он, немного. Ты с ним будешь счастлива.

Она подняла руку, чтобы возразить.

— Не думаю, что еще когда-нибудь я буду счастлива, Багряное Облако; я же вижу, какое у тебя стало лицо, и все из-за меня. А я была счастлива и довольна все эти наши двенадцать лет. Этого не забыть. Вот почему я и не могу решить. Но ты прав. Настало время, я должна… — Она запнулась и не произнесла слова «треугольник», которое он почти угадал на ее устах… — Положение! — голос ее постепенно замирал. — Мы поедем на охоту все вместе. Я поговорю с ним по пути, и пусть он уедет, что бы я ни решила.

— Только не будь опрометчива, Паола, — посоветовал он. — Ты ведь знаешь, что мне ни малейшего дела нет до всяких нравственных норм, я признаю их, лишь когда они полезны. А в данном случае они чрезвычайно полезны. У вас могут быть дети. Нет, нет, подожди, — остановил он ее. — В таких случаях скандал, даже давнишний, обходится им дорого. Если это будет обычный развод, то процесс займет слишком много времени. Я устрою все так, чтобы освободить тебя на вполне законном основании, так что ты будешь свободна на целый год раньше.

— Если я на это решусь, — откликнулась она с бледной улыбкой.

Он кивнул.

— Но, может быть, я и не приму такого решения. Я сама еще не знаю. А что, если это все сон, и вот я проснусь и войдет Ой-Ли и удивится, как долго и крепко я спала.

Она собралась уходить, медленно и неохотно пошла, а, пройдя шагов десять, вдруг резко обернулась.

— Дик, — позвала она его. — Ты сказал, что у тебя на сердце, но не сказал, что у тебя на уме. Не делай глупостей. Помни Дэнни Хольбрука. Смотри, чтобы на охоте не было несчастного случая!

Он покачал головой и подмигнул, точно находил такое увещевание крайне забавным, а в глубине души изумлялся ее чутью, тому, что она так чутко угадала его решение.

— Чтобы я все это бросил? — солгал он, широким жестом обнимая дом, имение и все свои проекты. — И мою книгу о скрещивании различных пород? И первый годовой домашний аукцион, и ярмарку племенного скота?

— Конечно, это было бы нелепо, — согласилась она, и лицо ее прояснилось. — Но, Дик, что касается моей нерешительности, то ты будь уверен,

от всей души прошу тебя… — Она остановилась, как бы ища слов, и продолжала жестом руки, подражая его жесту и как бы обнимая Большой дом со всеми его сокровищами: — Все это сейчас никакой роли не играет, знай.

— Неужели же я не убежден в этом! — искренно воскликнул он. — Женщины бескорыстнее тебя нет…

— Да, еще знаешь что, Дик, — перебила она его, как бы озаренная новой мыслью, — если бы я любила Ивэна так безумно, как ты думаешь, ты имел бы для меня так мало значения, что раз уже другого выхода нет, я бы должна была примириться с несчастным случаем на охоте. А вот, видишь, я не хочу. Вот тебе и загвоздка, обдумай-ка это.

Она сделала еще шаг и, по-видимому, все еще не желая уходить, обернулась и прошептала через плечо:

— Багряное Облако, мне страшно, страшно грустно… и как бы там ни было, а в душе я так счастлива, что ты меня все еще любишь.

Дик успел посмотреться в зеркало, прежде чем вернулся Блэйк. Он увидел, что вчерашнее выражение, так испугавшее накануне гостей, застыло. Теперь уже ничто не могло его смыть. «Ну что же, — подумал он, — нельзя жевать зубами

сердце, чтобы это не оставило следов». Он вышел в спальный портик, взглянул на портрет Паолы под барометром и тоже повернул его к стене, сел на кровать и долго смотрел на пустое место, потом встал и снова повернул портрет обратно, лицом к себе.

— Бедная девочка, — прошептал он, — не легко просыпаться так поздно!

Он долго смотрел, и вдруг глазам его ясно предстала все та же картина: она, залитая лунным светом, прильнула к нему, к Грэхему, тянется к его губам.

Он быстро встал и тряхнул головой, словно отгоняя призрак.

К половине десятого он покончил с письмами; на столе было чисто; оставалось только несколько записей со справками, которые могли ему понадобиться при разговорах с управляющими о шортхорнах и ширах. Он стоял у окна и, когда вошел Менденхолл, с улыбкой махал рукой отъезжавшим в автомобиле Льют и Эрнестине. И ему, и подошедшему вслед за ним Мэнсону Дик умудрился, совещаясь по очередным делам, как бы мимоходом внушить многое из своих широких планов на будущее.

— Мы должны зорко следить за потомством

Короля Поло, — сказал он Мэнсону. — У нас есть все данные ожидать лучшее, чем то, что мы получили от Нелли с Альбертом. В этом году у нас не вышло, но в будущем или в последующем, рано или поздно, Король Поло должен дать нам настоящего богатыря.

В дальнейшем разговоре и с Мэнсоном, и с Менденхоллом Дик упорно настаивал на возможно более широком, практическом применении его метода скрещивания.

После их ухода он по домашнему телефону вызвал О-Поя и приказал провести Грэхема в оружейную, чтобы он выбрал себе ружье и прочее снаряжение.

Он не знал, что к одиннадцати часам Паола поднялась по тайной лестнице и теперь стояла за книжными полками и прислушивалась. Она думала войти, но, услышав его голос, остановилась. Она слышала, как он по телефону говорил с Хэнли о строившейся плотине на Бьюке.

— Кстати, — раздавался голос Дика, — вы просмотрели отчеты с Мирамаре?.. Отлично. Вы не верьте им. Я с ними совершенно не согласен: вода там есть. Я нисколько не сомневаюсь, что нам удастся вырыть артезианский колодезь. Отправьте туда немедленно все, что нужно для буровых

работ. И пусть ищут. Почва великолепная, и мы в пять лет, не больше, должны в десять раз повысить ценность этой сухой дыры…

Паола тихонько вздохнула и, повернув обратно по винтовой лестнице, вошла в библиотеку.

«Неисправимое Багряное Облако, все сажает свои желуди! — думала она. — Вот он работает и спокойно обсуждает плотины и колодцы, чтобы в будущем насадить еще больше желудей! И все это сейчас, когда весь его личный мир рушится».

Дик никогда не узнал, что Паола подошла к нему так близко в своей смертельной тоске, подошла — и прошла своей дорогой. Он снова вошел в свой спальный портик уже не бесцельно, а чтобы в последний раз пробежать заметки в блокноте, лежавшем возле кровати. Все было в порядке. Оставалось еще только подписать то, что он в это утро продиктовал, ответить на несколько телеграмм… затем завтрак и — в горы на охоту. Что ж? Он все хорошо обдумал. Вся вина ляжет на Фурию. Он решил, что при нем должны быть свидетели, либо Фрейлиг, либо Мартинес. Но не оба. Довольно и одной пары глаз к моменту, когда мартингал порвется и кобыла взовьется на дыбы и свалится в кусты, подмяв и его. А тогда пусть свидетель услышит, как за этим «несчастным

случаем» последует и катастрофа — раздастся выстрел ружья.

Мартинес более нервный, чем скульптор, и потому, решил Дик, он будет более подходящим свидетелем; значит, надо обязательно устроить так, чтобы на узкой тропе, где Фурия должна стать козлом отпущения, с ним будет один Мартинес. Он наездник плохой, тем лучше. Пусть Фурия, обдумывал Дик, хорошенько побесится за минуту или две до катастрофы. Это придаст всему большую правдоподобность. Кстати, это подействует и на лошадь Мартинеса, а следовательно, и на него самого, так что он ничего хорошо не рассмотрит.

Он хрустнул пальцами от внезапно пронзившей его мучительной боли: маленькая хозяйка сошла с ума, конечно, она сошла с ума. Иначе как объяснить такую явную жестокость: из открытых окон до него доносились голоса ее и Грэхема — они пели «По следам цыган».

Он не разжимал рук, пока они пели. И они пропели ее всю, всю бесшабашную, захватывающую и волнующую песнь, до самых бесшабашных и волнующих последних строк. Он стоял, слушал и слышал, как она весело смеется, расставаясь с Грэхемом у дверей концертного зала, и дальше,

проходя через дом к своему флигелю, и в портике, где она дразнила и укоряла О-Дая за какие-то несуществующие проступки.

Издалека донеслось глухое, но ясно различимое ржание Горного Духа. Король Поло тоже властно заявлял о себе; с разных сторон отзывались кобылы и телки. Дик прислушался ко всей этой весенней симфонии и громко вздохнул: «Ну, что ж, для этой земли я прожил не даром. На этом хорошо уснуть».

Глава XXXI

У кровати зазвонил телефон. Сняв трубку, Дик взглянул через крытый двор на флигель Паолы. Говорил Бонбрайт, он сообщал, что только что звонил Чонси Бишоп, приехавший в Эльдорадо на автомобиле. Бонбрайт считал, что Чонси Бишоп, старый друг Дика, издатель и владелец газеты «Телеграф Сан-Франциско», пожелает говорить с ним лично.

— Вы успеете к завтраку, — тотчас же сказал Дик Бишопу. — И знаете что, оставайтесь переночевать… Бросьте вы ваших сотрудников. Мы едем охотиться в горы на пум и наверняка уложим несколько. Уже выслежены. Кто такая? О чём пишут?.. Ну и что? Пусть погуляет по имению: наберет материала на полдюжины столбцов… А тот, другой, пусть посмотрит на охоту, потом опишет… Будьте спокойны, я его посажу на такую лошадь, с которой управится и ребенок.

«Чем больше народу, тем веселее, особенно если еще и журналисты», — горько усмехнулся про себя Дик. Раз речь идет об инсценировке удачного финала, то он покажет, что ничем не хуже деда, Джонатана Форреста.

«Но как Паола допустила такую жестокость? Как могла она здесь и сейчас пропеть “По следам цыган”?» — думал он, еще не отнимая от уха трубки и прислушиваясь к Чонси Бишопу, уговаривавшему своего сотрудника ехать на охоту.

— Ладно. А теперь поторопитесь, — сказал Дик Бишопу, заканчивая разговор. — Я сейчас распоряжусь насчет лошадей, вам я дам того же гнедого, на котором вы ездили прошлый раз.

Не успел он повесить трубку, как телефон снова зазвонил. На этот раз его вызывала Паола.

— Багряное Облако, любимое Багряное Облако, — сказала она. — Ты рассуждаешь совсем неправильно. Мне кажется, что тебя я люблю больше. Я сейчас решу и, кажется, за тебя. И вот, чтобы помочь мне, чтобы укрепить меня, ты мне повтори то, что только что говорил, помнишь: «Я люблю одну женщину, ее одну. После двенадцати лет обладания люблю ее безумно, так страстно и нежно». Повтори это снова, Багряное Облако.

— Я действительно люблю одну женщину, ее одну, — повторил Дик. — После двенадцати лет обладания люблю ее безумно, так страстно и нежно.

Он умолк, молчала и она, а он прислушивался, боясь прервать молчание.

— Еще один пустячок, я чуть не забыла сказать, — опять заговорила она очень нежно, очень тихо, но очень внятно. — Я люблю тебя, никогда я так тебя не любила, как именно сейчас, вот в эту минуту. Прошло двенадцать лет, и наконец-то ты сшиб меня с ног! Да нет, ты меня сшиб с ног с самого начала, только я этого не понимала. А теперь я решила раз навсегда.

Она повесила трубку.

Дик почувствовал, что теперь он понимает человека, приговоренного к смерти и в последнюю минуту получившего помилование. Он долго сидел, погруженный в свои мысли, и совершенно забыл, что не повесил трубки, пока не вошел Бонбрайт, чтобы обратить на это его внимание.

— Только что телефонировал мистер Бишоп, — пояснил он, — у него ось сломалась. Я позволил себе послать за ним одну из наших машин.

— Пусть наши мастера покажут свое искусство на его автомобиле и приведут его в порядок как следует, — добавил Дик.

Оставшись один, он встал, потянулся и прошелся по комнате.

— Ну что же, Мартинес, дружище, — обратился он к пустому пространству, — вы никогда и не узнаете, какое вы сегодня пропустили художе-

ственное драматическое представление.

Он нажал кнопку телефона Паолы. Ответила Ой-Ли и поспешила позвать свою госпожу.

— Мне хочется спеть тебе одну песенку, Паола, — и он затянул старинную духовную песнь, излюбленную песнь негров:

За себя, за себя,
И только за себя,
Отвечает каждая душа.

— Так вот мне хочется, чтобы и ты от себя, от себя повторила мне то, что сейчас сказала.

До него донесся ее смех, такой веселый и звонкий, что в нем возрадовалось сердце.

— Багряное Облако, я люблю тебя, — сказала она. — Теперь я твердо знаю, я уже все решила: никогда у меня не будет другого мужа. А теперь, будь умницей, дай мне одеться, я опаздываю к завтраку.

— Можно к тебе на минутку? На одну минутку? — попросил он.

— Погоди, нетерпеливый, через десять минут, дай мне сперва покончить с Ой-Ли, тогда я буду совсем готова к охоте. Я надеваю свой костюм Робин Гуда, знаешь, зеленый и с большим пером. И беру свое охотничье ружье. Для пум оно как раз

достаточно тяжело.

— Ты меня совсем воскресила, — сказал Дик.

— А я по твоей милости опаздываю. Дай отбой, Багряное Облако, в эту минуту я люблю тебя больше…

Он слышал, как она повесила трубку, и в следующее же мгновение он почувствовал в душе что-то странное: он не мог всецело отдаться счастью, которое, по его же словам, он сейчас испытывает. Ему по-прежнему слышалось, как они с таким увлечением поют с Грэхемом «По следам цыган».

Что же, она играла Грэхемом? Или играла им? Это было так на нее не похоже, так непонятно! И, задумавшись, силясь понять, он снова увидел ее перед собой при лунном свете, прильнувшей к Грэхему и подставляющей свои губы для поцелуя.

Он недоумевающе покачал головой и взглянул на часы. Как бы там ни было, меньше чем через десять минут она будет у него в объятиях, и он все узнает. Эти десять минут казались ему такими невыносимо долгими, что он медленно прошелся во двор, остановился, чтобы закурить сигарету, бросил ее, затянувшись всего раз, и прислушался к щелканью пишущих машинок в комнате секретарей. У него оставалось еще две минуты,

и, зная, что ему довольно одной, чтобы дойти до заветной двери без ручки, он постоял посреди двора, любуясь дикими канарейками, купающимися в фонтане. Но не прошло и минуты, как испуганные птички поднялись, точно трепетное, золотое, обсыпанное алмазами, облачко, и Дик вздрогнул: из флигеля Паолы явственно донесся звук ружейного выстрела. Пробегая через дворик, он уже знал, что это то ружье, о котором она ему говорила. «Она меня опередила, она меня опередила», — подумал он, и все, что еще за минуту до того казалось непонятным, сейчас вырезалось у него в мозгу так ясно, так отчетливо, как выстрел ружья.

Пока он бежал через двор вверх по лестницам, в мозгу его проносилось: «она меня опередила, опередила».

Она лежала, поникшая, дрожа, в полном охотничьем костюме, на ней не было только маленьких бронзовых шпор, которые в бессильном отчаянии держала, наклонившись над ней, перепуганная китаянка.

Он мгновенно осмотрел ее. Паола дышала, хотя была без сознания. Пуля прошла насквозь с левой стороны. Дик бросился к телефону, и пока домовая станция соединила его с центральной, он

про себя горячо молился только об одном: чтобы Хеннесси оказался в конюшне. Откликнулся конюх; пока он бегал за ветеринаром, Дик приказал О-Пою остаться у телефона и тотчас прислать ему О-Дая.

Краем глаза он видел, как в комнату вбежал Грэхем и бросился к Паоле.

— Хеннесси, — приказал Дик, — бегите сюда. Принесите все необходимое для оказания первой помощи; прострелено легкое или сердце, а может быть, и то и другое. Моментально в комнату миссис Форрест. Бегите. Не трогайте ее, — сказал он резко Грэхему, — это может ей повредить, вызвать сильнейшее кровотечение.

Он обратился к О-Пою:

— Отправьте Каллахана на гоночном в Эльдорадо. Скажите ему, что по дороге он встретит доктора Робинсона, пусть везет его сюда как можно скорее. Пусть скачет, точно за ним гонится сам черт. Скажите, что миссис Форрест ранена; если он поспешит, то спасет ей жизнь.

Не отрывая трубки от уха, он повернулся, чтобы взглянуть на Паолу. Грэхем стоял, наклонившись над ней, но к ней не прикасался. Глаза их встретились.

— Форрест, — начал он, — если это вы…

Но Дик, многозначительно указав ему взглядом на Ой-Ли, все еще стоявшую безмолвно, совершенно растерявшись, со шпорами Паолы, оборвал его:

— Это можно обсудить позднее, — отрезал он и снова повернулся к аппарату. — Доктор Робинсон?.. Так. У жены прострелено легкое или сердце, а может быть, и то и другое. Каллахан едет вам навстречу на гоночном автомобиле; пока вы его не встретите, поезжайте на своем как можно быстрее. До свиданья.

Грэхем отошел от Паолы, как только Дик снова подошел к ее кровати и, став на колени, нагнулся к ней. На этот раз он только секунду осматривал ее. Он взглянул на Грэхема и, покачивая головой, сказал:

— Трогать ее нельзя.

Потом обратился к Ой-Ли:

— Положите шпоры и принесите подушек. Вы, Ивэн, помогите с другой стороны. Поднимайте осторожно и ровно. Ой-Ли, подложите подушку — легче, легче.

Он поднял глаза и заметил китайца: О-Дай безмолвно ожидал приказаний.

— Попросите мистера Бонбрайта заменить О-Поя у телефона. Пусть О-Пой остается при нем

на случай каких-либо распоряжений. Скажите О-Пою, чтобы он собрал всю прислугу, так, чтобы все приказания исполнялись немедленно. Как только вернется Сондерс с мистером Бишопом и его компанией, пусть О-Пой распорядится, чтобы он поспешил в Эльдорадо, за Каллаханом, на случай, если у Каллахана что-нибудь выйдет с машиной. Скажите О-Пою, чтобы он дал знать мистеру Мэнсону и мистеру Питтсу, или еще кому-нибудь из управляющих, у кого есть автомобили, чтобы они тотчас приехали сюда и ждали здесь, около дома, со своими машинами. Скажите О-Пою, чтобы мистеру Бишопу и его компании прислуживали как всегда. Вы же возвращайтесь сюда и будьте около меня, чтобы в любую минуту я мог вас позвать.

Дик повернулся к Ой-Ли.

Ой-Ли качала головой и ломала себе руки.

— Где вы были, когда ружье выстрелило?

Глотая слезы, китаянка указала на гардеробную.

— Ну, дальше говорите, — резко приказал Дик.

— Госпожа велела принести мне шпоры, я про них забыла. Я иду скорей, слышу выстрел. Скорей бегу назад и…

Она указала на Паолу.

— Что же было с ружьем? — спросил Дик.

— Испортилось что-то. Должно быть, ружье не действовало. Минуты четыре, а может, и пять госпожа с ним возилась.

— И когда вы уходили за шпорами, она сидела над ним?

Ой-Ли утвердительно кивнула.

— Я говорила, пусть исправит О-Пой. Госпожа сказала, что вы исправите, и положила, а потом опять взяла. Попробовала сама. Потом послала меня за шпорами, тогда ружье выстрелило.

Вошел Хеннесси, разговор оборвался. Он осмотрел ее еще быстрее Дика и поднял к нему лицо, качая головой.

— Я не стану ее тревожить, мистер Форрест, кровоизлияние прекратилось, но внутри кровь, вероятно, накапливается. Вы послали за доктором?

— Да, за Робинсоном. Я захватил его на дому. Он хирург молодой, но отличный, — пояснил Дик, обращаясь к Грэхему. — Смел и нервы крепкие. Я доверяю ему больше, чем старикам с именем. А вы что скажете, мистер Хеннесси? Есть надежда?

— Дело плохо, кажется, хотя я тут не судья, ведь я лечу только лошадей. Робинсон разберется. Остается только ждать.

Дик кивнул и вышел в спальный портик Паолы, куда скоро донеслось пыхтение гоночного автомобиля Каллахана. Он слышал также, как подъехал и уехал другой автомобиль. К Дику в портик вышел Грэхем.

— Простите меня, Форрест, — сказал он. — Я в ту минуту был сам не свой. Застав вас здесь, подумал, что вы тут были, когда это случилось. Должно быть, несчастный случай.

— Бедняжка, — согласился Дик. — Она так гордилась, что никогда не обращается неосторожно с огнестрельным оружием.

Разговаривая с Грэхемом, нанизывая ложь так, чтобы обмануть и его, Дик про себя соображал, как прекрасно Паола разыграла свою игру. Она спела «По следам цыган» на прощание с Грэхемом, чтобы у того не зародилось ни малейшего подозрения. Так же поступила она и с самим Диком. Она простилась с ним, и в последних словах по телефону уверила его, что никогда никого другого, кроме него, у нее не будет.

Он отошел от Грэхема к противоположному углу портика.

— Да, выдержка у нее была, выдержка у нее была, — прошептал он про себя дрожащими губами. — Бедняжка, выбрать между нами обоими

она не могла, и вот как она решила!

Гоночный автомобиль приближался; Дик вернулся к Грэхему, и они вместе вошли в комнату поджидать врача. Грэхему было явно не по себе: уходить не хотелось, а он чувствовал, что уходить надо.

— Останьтесь, Ивэн, прошу вас, — сказал ему Дик. — Она к вам так хорошо относилась и если придет в себя, то будет рада вас видеть.

Оба они стали поодаль, пока доктор Робинсон осматривал Паолу. Когда он поднялся с видом человека, определившего все, что можно, Дик вопросительно взглянул на него.

— Ничего не поделаешь, — покачал тот головой. — Это вопрос нескольких часов, а может быть, и минут. — Он помолчал, всматриваясь в лицо Дика. Затем добавил нерешительно: — Конец можно облегчить, если вы разрешите, а то она еще может очнуться и будет мучиться.

Дик прошелся по комнате и, помолчав, обратился к Грэхему:

— Почему бы не дать ей еще пожить, хотя бы и недолго? Боль сейчас несущественна, ведь успокоение наступит скоро, это неизбежно. Так бы захотел я, будь я на ее месте; наверное, так же хотели бы и вы. Она так любила жизнь, каждое

мгновение жизни, зачем лишать ее немногих оставшихся ей минут?

Грэхем склонил голову в знак согласия, и Дик обернулся к врачу:

— Нельзя ли привести ее в сознание, хотя бы какими-нибудь возбуждающими средствами? Если можно, пожалуйста. А если боль будет слишком мучительна, то вы, конечно, поможете.

Когда веки ее затрепетали, Дик знаком подозвал к себе Грэхема. На лице ее сначала была только растерянность, глаза ее остановились сначала на Дике, потом на Грэхеме, она их узнала, и уста дрогнули в жалкой улыбке.

— Я… сначала я думала, что умерла, — сказала она.

Но в эту же минуту ее осенила другая мысль, и Дик отгадал ее в испытующем взгляде: она хотела знать, догадывается ли он, что это произошло не случайно? Он не выдал себя. Так она решила, и пусть она отойдет в уверенности, что ее план удался.

— Я… я была не права… — сказала она. Она говорила медленно, тихо, видимо, страдая, с остановками от усилий, которых стоило ей каждое слово. — Я всегда была так уверена, что со мной несчастных случаев не бывает, и вот что

я наделала.

— И надо же было так случиться, — нежно сказал Дик. — Что же это с винтовкой? Что-то было не в порядке?

Она кивнула в ответ и снова заговорила с той же жалкой улыбкой, пытаясь выглядеть бодрой:

— Дик, — сказала она, — созови-ка соседей, и пусть они полюбуются, что натворила маленькая Паола… Очень плохо? — спросила она через минуту и, не получив сразу ответа, продолжала: — Отвечай честно, Багряное Облако, ты меня знаешь.

Он опустил голову.

— А долго еще?.. — спросила она.

— Недолго, — ответил он. — Но облегчить страдание можно в любую минуту.

— Ты хочешь сказать?.. — Она пытливо взглянула на врача и опять на Дика, который молча кивнул.

— Ничего другого я от тебя и не ждала, Багряное Облако, благодарю, — прошептала она. — И доктор Робинсон согласен?

Доктор стал так, чтобы ей было видно, и молча кивнул.

— Спасибо, доктор, и помните, что сказать «когда» должна я сама.

— Очень больно? — спросил Дик.

Глаза ее были широко раскрыты, и она старалась глядеть храбро, но выражение их было страшно, и губы ее задрожали, прежде чем она ответила.

— Не слишком, но все же очень, очень больно, ужасно больно. Долго я этого выносить не смогу. Я скажу «когда».

На устах ее заиграла улыбка.

— Странное дело — жизнь, не правда ли? И знаете что, я хочу уйти под звуки песен любви; сначала вы, Ивэн, спойте «По следам цыган». Подумать только, ведь мы с вами пели ее всего только какой-нибудь час назад. Пожалуйста, Ивэн, я вас очень прошу.

Грэхем взглянул на Дика, как бы спрашивая разрешения, и Дик молча ответил взглядом.

— И спойте ее голосом мужественным, радостным, увлеченно, так, как должен петь цыган, увлекающий цыганку, — настаивала она. — И станьте подальше, вон там, чтобы я могла вас видеть.

И Грэхем пропел всю песню, вплоть до последних заключительных строк:

Ведь для женщины — сердце мужчины;

Завтра счастье нас ждет на краю земли,

И мы будем земли властелины.

О-Дай стоял в дверях, неподвижный, как статуя. Ой-Ли в немом горе у изголовья уже не ломала больше рук, но стиснула их так крепко, что концы пальцев и ногти побелели. Позади, у туалетного стола, доктор Робинсон бесшумно распускал в рюмке болеутоляющий порошок и набирал раствор в шприц.

Когда Грэхем умолк, Паола поблагодарила его взглядом и, закрыв глаза, полежала с минуту неподвижно.

— А теперь, Багряное Облако, — сказала она, снова приоткрыв глаза, — спой мне песню про Ай-Кута и про сладостную росу.

И Дик запел:

— «Я, я — Ай-Кут, первый среди нишинамов. Ай-Кут — это сокращенное имя Адама, отец мой и мать были солнцем и луной. А это — Йо-то-то-ви, моя жена, первая женщина среди нишинамов.

Я, я — Ай-Кут. Эта женщина — моя роса, моя медовая роса. Мать ее была зарей на хребте Сьерры, а отец — летним восточным ветром с этих же гор. Они сговорились и из воздуха и земли

выпили все сладостное, и в тумане, порожденном их любовью, листья чаппараса и мансаниты покрылись медовой росой.

Йо-то-то-ви, Йо-то-то-ви, моя сладкая роса, слушайте меня! Я — Ай-Кут, Йо-то-то-ви — моя перепелка, моя лань, моя жена, пьяная нежным дождем и соками жирного чернозема. Ее родили молодые звезды и растил свет зари, когда солнце еще не взошло, и она для меня единственная, единственная из всех женщин на земле».

И, снова закрыв глаза, Паола молча лежала с минуту. Попыталась было вздохнуть поглубже, но сейчас же закашлялась.

— Старайся не кашлять, — сказал Дик.

Брови ее сдвинулись, и она усилием воли старалась побороть раздражение в горле, грозившее ускорить развязку.

— Ой-Ли, подойди так, чтобы я могла тебя видеть, — сказала она, открыв глаза.

Китаянка повиновалась. Глаза ее были полны слез, и она ничего не видела; Робинсон взял ее под руку и подвел.

— Прощай, Ой-Ли, — выговорила она слабо. — Ты всегда была очень добра. А я иногда, быть может, и не была достаточно добра к тебе. Прости. Не забудь, что мистер Форрест останется тебе за

отца и за мать, а все мои яшмы возьми себе.

Она снова закрыла глаза, в знак того, что разговор с ней окончен.

Опять ее стал беспокоить кашель, который становился все мучительнее.

— Я готова, Дик, — сказала она ослабевшим голосом и все еще с закрытыми глазами. — Что, доктор готов? Подойди поближе. Подержи мою руку, как тогда, помнишь, во время моей «малой смерти».

Она посмотрела на Грэхема, и Дик отвернулся: он знал, что этот ее последний взгляд будет полон любви; он знал это так же твердо, как и то, что, когда она потом посмотрит на него в последний раз, в глазах ее тоже будет любовь.

— Как-то раз, уже давно, — пояснила она Грэхему, — мне пришлось лечь на операционный стол, и я заставила Дика побыть со мной и держать мою руку, пока меня не усыпили. Помнишь, Дик, Хэнли называл это «пьяными сумерками», «малой смертью». Это было для меня совсем нетрудно.

Долго, при общем молчании, она глядела на Грэхема, потом повернулась лицом к Дику, стоящему возле нее на коленях, держа ее руку в своей руке.

Она тихонько погладила его руку пальцами и

глазами показала ему, чтобы он приложил свое ухо к ее губам.

— Багряное Облако, — шепнула она, — тебя я люблю лучше, крепче, больше. И горжусь тем, что так долго я была твоей. — Она еще крепче сжала его руку пальцами. — Мне жаль, что у нас не было маленького, Багряное Облако.

Она отпустила пальцы, чтобы он чуть отошел, и она могла бы смотреть на обоих.

— Оба, оба прекрасны. Прощайте, оба. Прощай, Багряное Облако.

Они молчали, а доктор обнажил ее руку до локтя.

— Спать, спать, — тихо шептала она, точно подражая сонному щебетанию засыпающей птички. — Я готова, доктор, натяните тщательнее кожу. Вы же знаете, как я не люблю, чтобы мне делали больно. Подержи меня крепче, Дик.

Робинсон взглянул на Дика и, прочтя в глазах его согласие, легко и быстро вонзил иглу в туго натянутую кожу, твердой рукой надавил поршень и пальцем слегка потер место укола, чтобы помочь морфию рассосаться.

— Спать, как хорошо, как хочется спать, — шепнула она, засыпая.

В полусознании она слегка повернулась на бок,

согнула свободную руку на подушке, прижавшись к ней головой, и улеглась, свернувшись калачиком, в обычной своей любимой, так хорошо знакомой Дику позе.

Потом, несколько позже, она тихо вздохнула… Она умерла так легко, что никто не заметил, как ее не стало. Во дворе чирикали дикие канарейки, купавшиеся в фонтане, а вдали, как трубный глас, звучал могучий призыв и в ответ ему серебристое ржание Принцессы.

ХРАМ ГОРДЫНИ



Храм гордыни

Персиваль Форд недоумевал, зачем он сюда пришел. Он не танцевал. Военных недолюбливал. Однако знал их всех — скользивших и кружившихся на широкой террасе у морского берега, — знал офицеров в свеженакрахмаленных белых кителях, штатских в белом и черном, женщин с обнаженными плечами и руками. После двухлетнего пребывания в Гонолулу двадцатый полк отправлялся на Аляску на новую стоянку, и Персиваль Форд, как важная особа на островах, не мог не знать офицеров и их жен.

Но широкая пропасть отделяет знакомство от симпатии. Полковые дамы чуточку его пугали. Они так не походили на женщин, которые ему нравились, — на пожилых матрон, старых дев и девиц в очках и серьезных особ всех возрастов. Этих представительниц женского пола он встречал в церкви, в библиотеке и в детских комитетах, где они робко обращались к нему за советом или пожертвованием. В их кругу он пользовался авторитетом благодаря своему умственному превосходству, большому состоянию и высокому положению, какое занимал в ком-

мерческом мире на Гавайских островах. Этих женщин он ничуть не боялся. У них пол не бросался в глаза. Да, в этом-то и заключалось дело. Было в них что-то иное, заслоняющее грубую, навязчивую сторону жизни. Он был брезглив и сам это сознавал, а полковые дамы с обнаженными плечами и руками, смело смотревшие прямо в глаза, жизнерадостные, вызывающе женственные, оскорбляли его чувства.

Не лучше относился он и к военным, которые легко принимали жизнь, пили, курили, ругались и выставляли напоказ грубую чувственность с не меньшим бесстыдством, чем их жены. В обществе офицеров ему было не по себе. Казалось, и они испытывали какую-то неловкость. Он знал, что за его спиной они смеются над ним, либо жалеют его и едва терпят его присутствие. К тому же одно общение с ними словно подчеркивало то, что было в них и чего не хватало ему. Впрочем, Персиваль Форд всегда благодарил Бога за то, что не было в нем этого «чего-то». Да, эти мужчины нимало не отличались от своих жен!

По правде сказать, у женщин Персиваль Форд пользовался не большим успехом, чем у мужчин. Достаточно было взглянуть на него, чтобы понять причину. Здоровья он был прекрасного, не знал

ни болезни, ни даже легкого недомогания; но был в нем какой-то недостаток жизненных сил. Если можно так выразиться, он был организмом негативным[2]. Это длинное и узкое лицо, тонкие губы, впалые щеки и маленькие глазки исключали всякую мысль о буйной и горячей крови. Волосы — пепельные, прямые и жидкие — свидетельствовали о скудной почве, так же, как и нос — тонкий, изящно очерченный, чуть-чуть крючковатый. Бледная кровь многого лишила его в жизни, разрешая крайность лишь в одном — в справедливости. Над вопросом, как поступить, он размышлял долго и мучительно, и поступать правильно было для него так же необходимо, как любить и быть любимым для простых смертных.

Он сидел под альгаробовыми деревьями, между террасой и берегом. Оглядев танцующих, он отвернулся и стал смотреть на море — туда, где мягко рокотал прибой и Южный Крест низко горел над горизонтом. Его раздражали обнаженные плечи и руки женщин. Будь у него дочь, он никогда бы ей этого не разрешил. Но его гипотеза являлась чистейшей абстракцией. Этой мысли не сопутствовал образ дочери. Никакой дочери с

---

[2] notes: 2
Негативный — обратный, противоположный.

плечами и руками он себе не представил. Вместо этого он только с улыбкой подумал об отдаленной возможности брака. Ему было тридцать пять лет, и, не испытав любви, он видел в ней только животную сторону, но отнюдь не романтическую. Жениться мог каждый. Женятся японские и китайские кули, работающие на сахарных плантациях и рисовых полях, женятся при первом же удобном случае. Он объяснял это тем, что они занимали одну из низших ступеней жизни. Ничего иного им не оставалось делать. Они походили на военных и их жен. Но в его жизни было нечто иное, более возвышенное. Он отличался от них — всех этих людей. Он гордился тем, как появился на свет, а появился он не от какого-нибудь жалкого брака по любви. Он был рожден на свет благодаря высокому представлению о долге и преданности делу. Его отец женился не по любви. Безумие любви ни разу не нарушило равновесия Айзека Форда. Он и не помышлял о женитьбе, когда откликнулся на призыв идти с проповедью к язычникам. В этом отношении они были похожи — отец и сын. Но Совет миссий руководствовался правилами экономии. С американской расчетливостью он все взвесил, обдумал и решил, что женатые миссионеры стоят

дешевле и лучше исполняют свои обязанности. И поэтому-то Совет предписал Айзеку жениться. Более того, он наметил ему жену — такую же ревностную душу, не помышлявшую о браке и горевшую желанием делать Божье дело среди язычников. Впервые они друг друга увидели в Бостоне. Совет их свел, уладил все дела, и к концу недели они поженились и отправились в долгое путешествие вокруг мыса Горн.

Персиваль Форд гордился тем, что родился от такого брака. Происхождение его было высокое, и себя он считал аристократом духа. Гордился он и своим отцом. Это чувство граничило со страстью. Образ прямого, сурового Айзека Форда словно наложил огненную печать на его гордость. На письменном столе его стояла миниатюра этого воина Господня. В спальне висел портрет Айзека Форда, нарисованный в то время, когда он был премьер-министром при монархии. Айзек Форд не гнался за высоким положением и богатством, но, как премьер-министр, а впоследствии банкир, он мог оказать большие услуги миссионерскому делу. Немцы, англичане и весь торговый мир высмеивали Айзека Форда: коммерсант — и спаситель душ!

Но он, Персиваль Форд, его сын, знал иное.

Когда туземцы, резко оторванные от своей феодальной системы и ни малейшего представления не имевшие о природе и значении земельной собственности, лишались своих владений, Айзек Форд оттеснил толпу торговцев от их добычи и завладел плодородными, обширными полями. Не удивительно, что в торговом мире его недолюбливали. Он же никогда не считал эти огромные богатства своею собственностью. На себя он смотрел как на слугу Господа. Доходы шли на постройку школ, больниц и церквей. Не по его вине сахар, упавший было в цене, поднялся на сорок процентов; банк, основанный им, расцвел благодаря операциям с железнодорожными акциями, и, помимо всего прочего, пятьдесят тысяч акров пастбищной земли на Оаху, купленные им по доллару за акр, каждые восемнадцать месяцев приносили восемь тонн сахару с акра. Да, поистине Айзек Форд был героической фигурой, достойной, по мнению Персиваля Форда, стоять рядом со статуей Камехамеха[3] перед зданием суда.

Айзек Форд умер, но он — его сын — продолжал начатое им благое дело, если и не столь энер-

---

[3] notes: 3
Камехамех I — король Гавайских островов.

гично, то во всяком случае столь же, как отец, неуклонно.

Он снова посмотрел на террасу. Какая разница, спрашивал он себя, между бесстыдными танцами опоясанных травой туземок и танцами декольтированных женщин его расы? Есть ли тут какое-либо существенное отличие? Или разница лишь в степени? Пока он размышлял над этой проблемой, чья-то рука легла на его плечо.

— Алло, Форд! Что вы тут поделываете? Не правда ли, праздничная обстановка?

— Стараюсь относиться снисходительно к тому, что вижу, доктор Кеннеди, — серьезно ответил Персиваль Форд. — Не хотите ли присесть?

Доктор Кеннеди сел и громко хлопнул в ладоши. На зов немедленно явился одетый в белое слуга-японец.

Кеннеди заказал шотландского виски с содовой и, повернувшись к Форду, сказал:

— Вам я, конечно, не предлагаю.

— Нет, я тоже выпью, — решительно заявил Форд. Доктор удивленно взглянул на него; слуга ждал. — Бой, пожалуйста, лимонаду.

Тут доктор от души расхохотался, усмотрев в этом шутку, а затем поглядел на музыкантов, расположившихся под деревом хау.

— Как! Да ведь это оркестр Алоха! — воскликнул он. — А я думал, они по вторникам играют в Гавайском отеле. Должно быть, там не поладили.

Глаза его остановились на том, кто играл на гитаре и пел гавайскую песню под аккомпанемент оркестра. Пока он глядел на певца, лицо его стало серьезным; сумрачный, он повернулся к своему собеседнику.

— Слушайте, Форд, не пора ли вам оставить в покое Джо Гарленда? Я слышал, вы восстаете против предложения благотворительного комитета отправить его в Штаты; я искал случая поговорить с вами на эту тему. Казалось бы, вы должны радоваться возможности убрать его отсюда. Вам представляется прекрасный способ прекратить ваши гонения.

— Гонения? — Персиваль Форд вопросительно поднял брови.

— Называйте как хотите, — продолжал Кеннеди. — Вы много лет преследовали беднягу. Ведь это не его вина. Даже вы с этим согласитесь.

— Не его вина? — Тонкие губы Персиваля Форда на секунду сжались. — Джо Гарленд распущен и ленив. Он всегда был лодырем и повесой.

— Но это еще не основание, чтобы его так преследовать. Я следил за вами с самого начала.

Когда вы вернулись из колледжа и застали Джо работающим батраком на плантации, вы первым делом выгнали его — это при ваших-то миллионах и его шестидесяти долларах в месяц.

— Отнюдь не первым делом, — рассудительно возразил Персиваль Форд; таким тоном он привык говорить на собраниях комитета. — Я его предостерег. Старший надсмотрщик говорил, что он способный парень. С этой стороны я ни в чем не мог его упрекнуть. Но как он проводил свободное время? Он разрушал дело моей жизни быстрее, чем я мог его созидать. Что толку было в вечерних и воскресных школах и в классах шитья, если по вечерам являлся Джо Гарленд, вечно бренькающий на своей проклятой гитаре и укулеле, сильно подвыпивший и отплясывающий хюла? Никогда не забуду, как после первого предостережения я наткнулся на него внизу, у хижин. Был вечер. Еще издали я услышал песни хюла, а когда подошел ближе, глазам моим представилось такое зрелище: девушки бесстыдно танцевали, залитые лунным светом, — те самые девушки, которых я с таким трудом приучал к честной и порядочной жизни. Помню, трое из них только что окончили миссионерскую школу. Конечно, я уволил Джо Гарленда. То же самое

произошло и в Хило. Говорили, что я суюсь не в свое дело, убеждая Мэсона и Фитча дать ему расчет. Но об этом меня просили миссионеры. Дурным примером он губил их дело.

— А затем, когда он поступил на железную дорогу — вашу дорогу, его уволили без всякой причины, — с вызовом произнес Кеннеди.

— Это неверно, — последовал быстрый ответ. — Я вызвал его к себе в контору и говорил с ним около получаса.

— Вы уволили его за непригодность?

— Ошибаетесь. За безнравственный образ жизни.

Доктор Кеннеди презрительно захохотал.

— Кто, черт возьми, дал вам право быть судьей и присяжным? Разве владение землей дает вам право контроля над бессмертными душами тех, что на вас работают? Я — ваш врач. Быть может, завтра я получу указ, предписывающий мне бросить пить шотландское виски с содовой под страхом лишить меня вашего покровительства? Ба! Форд, вы слишком серьезно относитесь к жизни. А помните, когда Джо впутался в то контрабандное дело (тогда он у вас не служил) и черкнул вам словечко, прося уплатить за него штраф, вы палец о палец не ударили, и он отра-

ботал свои шесть месяцев на рифе. Не забудьте, тогда вы не помогли Джо Гарленду. Вы его унизили. А я помню, как вы в первый раз пришли в школу, — мы были пансионерами, а вы — приходящим, — и вам полагалось пройти через посвящение. Помните, каждого новичка три раза окунали в бассейне. А вы струсили. Уверяли, что не умеете плавать. Испугались, хныкали…

— Да, помню, — медленно произнес Персиваль Форд. — Я испугался и солгал. Ведь плавать я умел…

— А помните, кто за вас вступился? Кто за вас лгал еще убедительнее, чем вы, и клялся, что плавать вы не умеете? А когда вы в первый раз нырнули, кто прыгнул в бассейн и вытащил вас? За это его чуть не утопили мальчишки, обнаружившие к тому времени, что плавать-то вы умеете?

— Конечно, помню, — холодно ответил Форд. — Но великодушный поступок мальчика не оправдывает его развратной жизни в дальнейшем.

— Он никакого вреда вам не причинил? Я имею в виду — лично, непосредственно.

— Нет, — ответил Персиваль Форд. — Именно этот факт и делает меня неуязвимым. Личной вражды к нему у меня нет. Он плохой человек,

вот и все. И живет он скверно…

— Иными словами, он расходится с вами во взглядах на образ жизни, — перебил доктор.

— Дело не в словах. Это не существенно. Он лентяй…

— Потому что, — снова перебил тот, — если вспомнить, сколько раз вы его лишали работы…

— Безнравственный человек…

— Ах, замолчите, Форд! Бросьте этот вечный припев. Вы — новоангличанин; Джо Гарленд — наполовину канак. У вас кровь холодная, у него — горячая. Для вас жизнь — одно, для него — другое. Он проходит сквозь жизнь смеясь, танцуя, распевая песни, — непосредственный, добрый, похожий на ребенка; каждый ему друг. А вы похожи на вращающееся молитвенное колесо; ваши друзья — добродетельные люди, а добродетельным вы считаете тех, кто соглашается с вашим представлением о добродетели. А по существу, что мы знаем? Вы живете, словно анахорет. А Джо Гарленд живет как добрый малый. Кто больше получает от жизни? Нам, знаете ли, за жизнь платят. Когда жалованье скудное, мы бросаем работу: вот, поверьте, причина всех обдуманных самоубийств. Джо Гарленд изголодался бы на том жалованье, какое вы получаете от жизни. Он,

видите ли, скроен иначе. А вы умерли бы с голоду, получая его жалованье — песни, любовь…

— Простите, похоть, — перебил Персиваль Форд.

Доктор Кеннеди улыбнулся.

— Для вас любовь — слово, состоящее из шести букв, а определение этого слова вы извлекли из словаря. Но любви — подлинной любви, трепещущей и нежной — вы не знаете. Уж если говорить о том, что Бог создал вас и меня, мужчин и женщин, то он создал и любовь. Но вернемся к началу нашего разговора. Пора вам прекратить гонения на Джо Гарленда. Это недостойно и подло. Вы должны протянуть ему руку помощи.

— Почему я, а не вы? — возразил Форд. — Почему вы ему не помогаете?

— Помогаю. И в данный момент помогаю — стараюсь уговорить вас не проваливать предложения благотворительного комитета. Я раздобыл ему работу в Хило у Мэсона и Фитча. Шесть раз я находил ему место, и каждый раз вы его выгоняли. Не будем больше говорить об этом, но не забудьте одного — чуточку откровенности вам не повредит: нечестно взваливать на Джо Гарленда вину другого человека. И вы знаете, что вам меньше, чем кому бы то ни было, пристало это

делать. Послушайте, старина, ведь это некрасиво и просто неприлично.

— Я перестаю вас понимать, — заявил Перси-валь Форд. — Вы строите какую-то туманную научную теорию наследственности и личной без-ответственности. Но какая теория может снять ответственность с Джо Гарленда за его дурные по-ступки и в то же время сделать ответственным за них меня — более ответственным, чем кто-либо иной, включая и Джо Гарленда? Это выше моего понимания.

— Полагаю, что деликатность мешает вам понять меня, — сказал доктор Кеннеди. — Ра-ди общества можно молчаливо пренебрегать некоторыми обстоятельствами, но вы заходите слишком далеко.

— Скажите, пожалуйста, чем же я пренебре-гаю?

Доктор Кеннеди был рассержен. Выпитый им виски с содовой не мог бы так окрасить его щеки таким густым румянцем. Он ответил:

— Сыном вашего отца.

— Что вы этим хотите сказать?

— Черт возьми, не можете же вы настаивать на более ясном объяснении. Что же, ладно, если вы хотите: сыном Айзека Форда. Джо Гарлендом…

вашим братом.

Персиваль Форд не пошевельнулся. Казалось, он был поражен и раздосадован. Кеннеди с любопытством глядел на него. Медленно тянулись минуты; кончилось тем, что доктор смутился и испугался.

— Боже мой! — воскликнул он. — Не хотите же вы мне сказать, что не знали об этом?

Словно в ответ на его слова щеки Персиваля Форда приняли землистую окраску.

— Это страшная шутка, — сказал он. — Страшная шутка.

Доктор взял себя в руки.

— Всем это известно, — сказал он. — Я думал, что и вы знаете. А если нет, то пора вам знать, и я рад, что представился случай раскрыть вам глаза. Джо Гарленд и вы — братья, единокровные братья.

— Ложь! — крикнул Форд. — Вы заблуждаетесь. Мать Джо Гарленда — Элиза Кунильо. (Доктор Кеннеди кивнул.) Я прекрасно ее помню. У нее был утиный садок и участок земли, засаженный таро. Его отец — Джозеф Гарленд, здешний колонист. (Доктор Кеннеди отрицательно покачал головой.) Он умер всего два-три года назад. Частенько напивался. Этим объясняется

распущенность Джо. Вот вам и пример наследственности.

— И никто вам не сказал об этом? — помолчав, произнес удивленный Кеннеди.

— Доктор Кеннеди, ваше заявление ужасно. Я не могу его пропустить мимо ушей. Вы должны привести мне доказательства или… или…

— Убедитесь сами. Повернитесь и поглядите на него. Вы видите его в профиль. Посмотрите на его нос. Это нос Айзека Форда. А ваш нос является более слабой копией. Так. Смотрите все. Черты все налицо, только очерчены резче.

Персиваль Форд смотрел на канакского полукровку, игравшего под деревом хау, и ему казалось, что он смотрит на призрак самого себя. Черта за чертой вырисовывали несомненное сходство. Или, вернее, он сам был призраком того, другого — мускулистого, крепко сложенного человека. И его лицо, и лицо того человека напоминали Айзека Форда. И никто ему не сказал! Он знал каждую черточку, каждую линию лица Айзека Форда. Мысленно он представлял себе все миниатюры, портреты, фотографии отца и снова улавливал в лице игравшего под деревом человека то отчетливое, то смутно намечавшееся сходство. Лишь дьявол мог воспроизвести

суровые черты Айзека Форда на распутном и чувственном лице музыканта. Один раз тот обернулся, и на секунду Персивалю Форду почудилось, что вместо Джо Гарленда он видит перед собой своего покойного отца — Айзека Форда.

— Это пустяки, — с трудом расслышал он голос Кеннеди. — В былые годы здесь все было перемешано. Сами знаете. Вам всю жизнь приходилось это наблюдать. Моряки женились на королевах и производили на свет принцесс. Это было обычным явлением на островах.

— Да, но мой отец… — перебил Персиваль Форд.

— Вы опять за свое. — Кеннеди пожал плечами. — Космическая тяга и жизненный угар. Старый Айзек Форд был суров, и никаких объяснений я не знаю, а он знал и того меньше и понимал не лучше, чем понимаете вы. Угар жизни — вот и все. И помните одно, Форд: в старом Айзеке Форде была капля горячей крови, и Джо Гарленд унаследовал ее весь целиком — унаследовал и жизненный угар, и космическую тягу, тогда как вам досталась аскетическая кровь старого Айзека. И вы не можете злиться на Джо Гарленда только потому, что вы холодны, умеренны и дисциплинированны. Если Джо Гарленд разрушает

дело ваших рук, помните — это лишь Айзек Форд, одной рукой стирающий то, что создает другой. Скажем, вы — правая рука Айзека Форда, а Джо Гарленд — его левая рука.

Персиваль Форд ничего не ответил, и доктор Кеннеди молча допил виски с содовой. Издали донесся настойчивый гудок автомобиля.

— Вот и автомобиль, — сказал, вставая, доктор Кеннеди. — Пора в путь. Мне жаль, что я расстроил вас, и в то же время я этому рад. Не забудьте одного: капля горячей крови Айзека Форда была удивительно мала, и Джо Гарленд унаследовал ее целиком. И помните: если левая рука отца вас оскорбляет, не отсекайте ее. К тому же Джо — славный парень. Откровенно говоря, если бы я должен был выбирать себе для жизни на необитаемом острове вас или его, мой выбор пал бы на Джо.

Дети с голыми ножками играли и бегали вокруг, но Персиваль Форд не видел их. Он смотрел лишь на певца, сидевшего под деревом хау. Он даже пересел ближе. Мимо прошел, прихрамывая и волоча от старости ноги, один из местных клерков. Сорок лет он прожил на островах. Персиваль Форд подозвал его, и клерк почтительно приблизился, удивляясь, что Персиваль Форд

обратил на него внимание.

— Джон, — сказал Форд, — я хочу получить от вас кое-какие сведения. Присядьте.

Клерк неловко опустился на стул, ошеломленный столь неожиданной честью. Мигая, он глядел на Форда и бормотал:

— Да, сэр. Благодарю вас.

— Джон, кто такой Джо Гарленд?

Клерк вытаращил глаза, моргнул, откашлялся и ничего не сказал.

— Говорите, — приказал Персиваль Форд. — Кто он такой?

— Вы смеетесь надо мной, сэр, — с трудом выговорил тот.

— Я говорю совершенно серьезно.

Клерк отодвинулся от него подальше.

— Да неужели вы не знаете? — спросил он, и в этом вопросе уже был ответ.

— Я хочу знать.

— Как, да ведь он… — Джон запнулся и беспомощно огляделся по сторонам. — Не лучше ли вам спросить кого-нибудь другого? Все думали, что вы знаете. Мы всегда думали…

— Да продолжайте!

— Мы всегда думали, что вы потому и невзлюбили его.

Фотографии и миниатюры Айзека Форда теснились в мозгу его сына, а призраки его, казалось, кружились в воздухе.

— Спокойной ночи, сэр, — расслышал он голос клерка, и старик заковылял прочь.

— Джон! — отрывисто крикнул Форд.

Джон вернулся и остановился подле него, моргая и нервно облизывая губы.

— А ведь вы мне еще ничего не сказали.

— О Джо Гарленде?

— Да, о Джо Гарленде. Кто он такой?

— Не прогневайтесь, сэр, он — ваш брат.

— Благодарю вас, Джон. Спокойной ночи.

— А вы не знали? — осведомился старик; теперь, когда самое страшное осталось позади, он не прочь был помешкать.

— Благодарю вас, Джон. Спокойной ночи, — раздалось в ответ.

— Да, сэр. Благодарю вас, сэр. Как будто похоже на дождь. Спокойной ночи, сэр.

С чистого неба, усеянного звездами и залитого лунным светом, падал дождь такой мелкий и редкий, что скорее походил на пар. Никто не обращал на него внимания; дети по-прежнему играли, бегали по траве, прыгали по песку. Через несколько минут дождь прекратился. На юго-во-

стоке на фоне звезд черным пятном вырисовался резко очерченный силуэт Даймонд-Хед — горы, по форме своей напоминавшей кратер. Сонный прибой периодически перебрасывал пену через песок на траву, а вдали виднелись черные точки — пловцы, купающиеся при лунном свете. Замерли голоса певцов, напевавших вальс, и в тишине откуда-то из-за деревьев донесся смех женщины, прозвучавший словно зов любви. Персиваль Форд вздрогнул и вспомнил слова доктора Кеннеди. Внизу, возле вытащенных на песок лодок, лежали в томных позах пожирателей лотоса канаки; женщины были в белых холоку, а на плече одной из них покоилась темная голова лодочника. Вдали, там, где песчаная полоса расширялась при входе в лагуну, показались шедшие рядом мужчина и женщина. Когда они приблизились к освещенной террасе, он увидел, как рука женщины отстранила руку, обвившую ее талию. Они поровнялись с ним, и Персиваль Форд поклонился знакомому капитану и дочери майора. Угар жизни — вот в чем было дело; эта формула охватывала всех. И снова под альгаробовыми деревьями прозвучал смех женщины — зов любви. Няня-японка провела мимо стула Форда малыша с голыми ножками, ворча и уговаривая

его идти домой спать. Голоса певцов мягко и нежно затянули гавайскую любовную песню, а офицеры и женщины, сплетая руки, скользили и кружились на террасе. И снова рассмеялась женщина под альгаробовыми деревьями.

А Персиваль Форд все это осуждал. Его раздражал тихий любовный смех женщины; голова лодочника, покоившаяся на белой холоку; гулявшие парочки, отплясывавшие офицеры и женщины; голоса певцов, певших о любви, и его брат, распевавший вместе с ними там, под деревом хау. Больше всего досаждала ему смеющаяся женщина. Мысли его приняли любопытный уклон. Он был сыном Айзека Форда, и то, что случилось с Айзеком Фордом, могло случиться и с ним. Слабый румянец окрасил его щеки, и он почувствовал острые уколы стыда. Он был устрашен тем, что обнаружил в своей крови. Казалось, он внезапно узнал, что его отец был прокаженным и его собственная кровь отравлена этой ужасной болезнью. Айзек Форд, суровый воин Господень, — старый лицемер! В чем заключается разница между ним и любым поселенцем?

Храм гордыни, воздвигнутый Персивалем Фордом, рушился на его глазах.

Время шло, военные смеялись и танцевали,

туземный оркестр продолжал играть, а Персиваль Форд мучительно бился над неожиданной ошеломляющей проблемой, придавившей его. Он тихо молился, опершись локтем о стол, а голову склонив на руки, словно усталый зритель. В промежутках между танцами военные, женщины и штатские подходили к нему с условно любезными фразами, а когда они возвращались на террасу, он поднимал оборванную нить размышлений.

Он начал «склеивать» разбитый идеал Айзека Форда, а цементом ему служила хитрая и тонкая логика. Такого рода цемент изготовляется в мозговых лабораториях эгоистов, и в данном случае он сослужил службу. Несомненно, Айзек Форд был создан из иного, лучшего материала, чем те, кто его окружал; но все же старый Айзек находился в процессе развития, тогда как он, Персиваль Форд, этот процесс завершил. И в доказательство сего он реабилитировал своего отца и в то же время превознес себя. Его жалкое маленькое «я» выросло до колоссальных размеров. Он был достаточно велик, чтобы простить. Он весь пылал при этой мысли. Айзек Форд был велик, но он, Персиваль, возвышается над своим отцом, ибо может простить Айзека Форда и даже вернуть

ему место в святая святых своей памяти, хотя это место уже не столь свято, как раньше. И он хвалил Айзека Форда за то, что тот игнорировал последствия своего единственного отклонения с прямого пути. Отлично! Он, Персиваль Форд, также будет это игнорировать.

Танцы прекратились. Музыканты перестали играть «Алоха Оэ» и стали расходиться по домам. Персиваль Форд хлопнул в ладоши, подзывая слугу-японца.

— Скажи этому человеку, что я желаю его видеть, — сказал он, указывая на Джо Гарленда. — Пусть он сейчас же сюда придет.

Джо Гарленд подошел и почтительно остановился в нескольких шагах, нервно теребя гитару. Персиваль Форд не предложил ему сесть.

— Вы — мой брат, — сказал он.

— Да ведь все это знают, — с недоумением отозвался тот.

— Да, так мне сообщили, — сухо заявил Персиваль Форд. — Но до сегодняшнего вечера я этого не знал.

Последовало молчание. Единокровный брат ждал, чувствуя себя очень неловко, а Персиваль Форд хладнокровно обдумывал следующую свою фразу.

— Помните, как я в первый раз пришел в школу и мальчишки окунули меня в бассейн? — спросил он. — Почему вы за меня заступились?

Брат смущенно улыбнулся.

— Потому что вы знали?

— Да, поэтому.

— Но я не знал, — тем же сухим тоном произнес Персиваль Форд.

— Да, — отозвался тот.

И снова наступило молчание. Слуги начали тушить огни на террасе.

— Теперь… вы знаете, — просто сказал брат.

Персиваль Форд нахмурился. Затем задумчиво на него посмотрел.

— Сколько вы возьмете за то, чтобы уехать с островов и никогда сюда не возвращаться? — спросил он.

— И никогда не возвращаться? — запинаясь, выговорил Джо Гарленд. — Я только и знаю, что острова. В других странах холодно, и я их не знаю. Здесь у меня много друзей. В другой стране ни один человек не скажет мне: «Алоха, Джо, дружище!»

— Я сказал: никогда не возвращаться, — повторил Персиваль Форд. — «Аламеда» отходит завтра в Сан-Франциско.

Джо Гарленд был сбит с толку.

— Но зачем же это? — спросил он. — Ведь вы теперь знаете, что мы братья.

— Как раз поэтому, — последовал ответ. — Как вы сами сказали, все это знают. Поверьте, что вам не придется раскаиваться в своем согласии.

Джо Гарленд позабыл о своей неловкости и смущении. Разница в происхождении и положении стерлась.

— Вы хотите, чтобы я уехал? — спросил он.

— Я хочу, чтобы вы уехали и никогда не возвращались, — ответил Персиваль Форд.

И на одно молниеносное мгновение ему дано было увидеть своего брата возвышающимся над ним, словно гора, а себя самого он увидел съежившимся и уменьшившимся до микроскопических размеров. Но не годится человеку видеть себя в истинном свете, и невозможно глядеть на себя и долго остаться в живых. Лишь на одно молниеносное мгновение увидел Персиваль Форд подлинное лицо свое и своего брата. Через секунду жалкое и ненасытное его «я» одержало верх.

— Как я уже сказал, раскаиваться вам не придется. Вы не пострадаете. Я хорошо вам заплачу.

— Ладно, — сказал Джо Гарленд. — Я уеду.

Он повернулся и отошел.

— Джо! — окликнул его тот. — Завтра утром зайдите к моему поверенному. Пятьсот вы получите на руки, и ежемесячно вам будут высылать двести.

— Вы очень добры, — мягко ответил Джо Гарленд. — Слишком добры. Но, пожалуй, денег ваших мне не нужно. Завтра я еду на «Аламеде».

Он ушел, не попрощавшись.

Персиваль Форд хлопнул в ладоши.

— Бой, — сказал он японцу, — лимонаду!

И, сидя над стаканом лимонада, он улыбался долго и самодовольно.

— Потому что мы больны, они лишают нас свободы. Мы повиновались законам. Мы ничего дурного не сделали. И все-таки они хотят посадить нас в тюрьму. Молокаи — тюрьма. Вам это известно. Вы видите Ниули? Семь лет назад его сестру услали на Молокаи. С тех пор он ее не видел. И не увидит. Она должна оставаться там до самой смерти. Не по своей воле. И не по воле Ниули. А по воле белых, которые управляют страной. Но кто они — эти белые?

Мы знаем. Знаем от наших отцов и дедов. Они пришли сюда, кроткие, как овечки, и повели ласковые речи. Да, им приходилось говорить ласковые слова, ибо мы были многочисленны и сильны, и все острова принадлежали нам. Как я сказал, они пришли с ласковыми речами. Сами же они делились. Одни просили у нас разрешения, милостивого разрешения проповедовать слово Божие. Другие просили разрешения, милостивого разрешения торговать с нами. С этого началось. Теперь все острова принадлежат им, вся земля, весь скот — все принадлежит им. Те, что проповедовали слово Божие, и те, что

проповедовали ром, объединились и сделались великими вождями. Они, словно короли, живут в домах со многими комнатами, и за ними ухаживают толпы слуг. Тот, у кого не было ничего, получил все, и если вы, или я, или любой канак голодает, они издеваются и говорят: «Что ж ты не работаешь? Ступай на плантации».

Кулау умолк. Он поднял руку с узловатыми, скрюченными пальцами и снял огненный венок гибиска, украшавший его черные волосы. Все вокруг купалось в серебристом лунном свете. То была ночь мира, но те, что сидели и слушали Кулау, напоминали калек, вернувшихся с поля битвы. Их лица напоминали львиные морды. У одного вместо носа зияла дыра, у другого сгнившая рука превратилась в обрубок. Их было тридцать человек — мужчин и женщин, находившихся за чертой жизни, ибо на всех лежала печать зверя.

Они сидели, увитые гирляндами цветов, окутанные ароматами лучезарной ночи, а с губ их срывались старые, хриплые звуки, выражающие одобрение словам Кулау. Эти создания некогда были мужчинами и женщинами. Теперь они были уже не люди. То были чудовища; их лица и фигуры казались страшной карикатурой на

человека. Они были отвратительно искалечены и обезображены, словно в течение многих тысячелетий их терзали в аду. Их руки, если таковые имелись, походили на когти гарпий; лица, как будто неудавшиеся и недоделанные, были сплюснуты и раздавлены каким-то безумным богом, играющим с машиной жизни. На многих лицах безумный бог наполовину стер отдельные черты, а у одной женщины горючие слезы лились из двух ужасных дыр, где некогда были глаза. Кое-кто стонал от боли, иные кашляли, и этот кашель напоминал звук разрываемой ткани. Тут были два идиота, похожие на огромных изуродованных обезьян, и по сравнению с ними обезьяна показалась бы ангелом. Залитые лунным светом, увенчанные ниспадающими золотистыми цветами, они гримасничали и лопотали что-то невнятное. Один из них, с раздувшейся мочкой уха, веером спускающейся к его плечу, сорвал пышный оранжево-красный цветок и украсил им свое чудовищное ухо, болтавшееся при каждом его движении.

И этими существами правил Кулау. То было его царство — это ущелье, задушенное цветами, с нависшими утесами и скалами, откуда доносилось блеяние диких коз. С трех сторон вздымались

мрачные стены, причудливо задрапированные тропической зеленью, прорезанные входами в пещеры, — скалистые логовища подданных Кулау. С четвертой стороны земля осыпалась, открывая чудовищную пропасть, и там, внизу, виднелись вершины меньших скал и утесов, а у подножия их пенился и грохотал прибой. В хорошую погоду лодка могла пристать к скалистому берегу у входа в долину Калалау, но только в хорошую погоду. А смелый горец мог с берега пробраться в долину Калалау — это ущелье, окруженное скалами, где правил Кулау. Но такой горец нуждается в большом хладнокровии и умении различать тропы диких коз. Удивительно, как удалось кучке жалких и беспомощных калек, составлявших народ Кулау, пробраться по головокружительным козьим тропам в это неприступное ущелье.

— Братья! — заговорил Кулау.

Но один из гримасничавших обезьяноподобных ублюдков испустил дикий вопль безумия, и Кулау ждал, пока пронзительный хохот метался среди скалистых стен и дальним эхом прорезал немую ночь.

— Братья, не стыдно ли это? Земля была наша, а теперь, смотрите, она не наша. Что дали нам за землю эти проповедники слова Божия и ро-

ма? Получил ли кто-нибудь из вас хотя бы один доллар? Однако земля принадлежит теперь им, и они говорят, чтобы мы шли и работали на их земле, а плоды наших трудов достанутся им. А ведь в былые годы работать нам не приходилось. И теперь, когда мы больны, они отнимают у нас свободу.

— Кто занес сюда болезнь, Кулау? — спросил Килолиана, тощий жилистый человек с лицом смеющегося фавна. Казалось, у него, как у фавна, должны быть раздвоенные копыта; и действительно, ступни его ног были раздвоены от страшных язв и багровых нагноений. Однако этот самый Килолиана был первым ползуном по скалам; зная все козьи тропы, он привел Кулау и его жалких подданных в ущелье Калалау.

— Славный вопрос, — сказал Кулау. — Мы не хотели работать на сахарных плантациях, где некогда пасли своих лошадей, и тогда они привезли из-за морей китайских рабов. А с ними пришла китайская болезнь — та самая, которой мы теперь больны. Из-за нее они хотят посадить вас в тюрьму на Молокаи. Мы родились на Кауаи. Мы посещали и другие острова — Оаху, Мауи, Гавайи, Гонолулу. Но всегда мы возвращались на Кауаи. А почему мы возвращались? Должна же

быть причина. Потому, что мы любим Кауаи. Мы здесь родились. Здесь жили. И здесь мы умрем… если… если среди нас нет малодушных. Они нам не нужны. Им место на Молокаи. И если есть среди нас такие, пусть они уйдут. Завтра солдаты высадятся на берег. Пусть малодушные спустятся к ним. Их немедленно переправят на Молокаи. Мы же останемся и будем сражаться. Но знайте, что мы не умрем. У нас есть ружья. Вы помните узкие тропинки, где людям приходится ползти гуськом. Я, Кулау, некогда бывший ковбоем на Ниихау, один против тысячи сумею защитить эту тропу. С нами Капалеи, когда-то он был судьей и все его почитали, а теперь он — затравленная крыса, как и мы с вами. Слушайте его. Он мудр!

Капалеи встал. Некогда он был судьей. Окончил колледж в Пунахоу. Обедал с лордами, начальниками и знатными представителями иностранных держав, защищавшими интересы торговцев и миссионеров. Таков был некогда Капалеи. Но теперь, по словам Кулау, он был затравленной крысой, существом вне закона, погрязшим в тине человеческого ужаса так глубоко, что стоял не только ниже, но и выше закона. Черты его лица были стерты, зияли лишь глазные впадины да глаза без век горели из-под облезших бровей.

— Не будем поднимать смуту, — заговорил он. — Мы просим оставить нас в покое. Если же они нас в покое не оставят, значит, смуту заводят они, и за это их постигнет кара. Пальцев у меня, как видите, нет. — Он поднял обрубки рук, чтобы всем было видно. — Однако сустав одного большого пальца уцелел и может взводить курок не хуже, чем делал это в былые дни его сгнивший сосед. Мы любим Кауаи. И будем жить здесь или умрем, но не допустим, чтобы нас отослали в тюрьму Молокаи. Болезнь не наша. Мы не согрешили. Те, что проповедовали слово Божие и ром, привезли сюда эту болезнь вместе с кули-рабами, которые обрабатывают краденую землю. Я был судьей. Я знаю законы и правосудие и говорю вам: нечестно красть у человека землю, заражать его китайской болезнью, а затем на всю жизнь сажать в тюрьму.

— Жизнь коротка, а дни исполнены страданиями, — сказал Кулау. — Давайте же пить, плясать и будем счастливы по мере сил.

Из скалистого логовища притащили тыквенные бутылки и пустили вкруговую. Бутылки были наполнены жгучей настойкой корня растения ти; и когда жидкий огонь пробежал по жилам и проник в мозг, прокаженные позабыли

о том, что лишь некогда были мужчинами и женщинами: теперь они снова превратились в людей. Женщина, у которой горячие слезы лились из глазных впадин, снова стала трепещущей жизнью женщиной: пощипывая струны гитары, она затянула варварскую любовную песню, — казалось, эта песня неслась из темной лесной чащи первобытного мира. Воздух трепетал от ее голоса — мягкого, властного, манящего. На циновке, под ритм женского пения, плясал Килолиана. Да, ошибки быть не могло: то был танец любви. Рядом с ним на циновке плясала женщина с крутыми бедрами и пышной грудью, лживо противоречившими ее лицу, обезображенному болезнью. Это был танец живых мертвецов, ибо в их разлагающихся телах жизнь еще томилась и любила. А женщина с вытекшими, источающими слезы глазами все пела свою любовную песнь; в теплой ночи не прекращалась любовная пляска, и тыквенные бутылки ходили по рукам, пока не закопошились в мозгу людей черви воспоминаний и желаний. И вместе с женщиной плясала на циновке стройная девушка с прекрасным, не обезображенным лицом, но ее плавно поднимающиеся руки были скрючены и заклеймены печатью болезни. А два идиота, что-то лопоча и

издавая странные звуки, танцевали в сторонке, жутко, фантастически пародируя любовь, и сами — пародия на человека.

Внезапно оборвалась любовная песня женщины, опустились тыквенные бутылки, прекратилась пляска, и все посмотрели вниз, в пропасть над морем, где, прорезая залитый лунным светом воздух, вспыхнула ракета.

— Это солдаты, — сказал Кулау. — Завтра будет бой. Нужно выспаться и быть наготове.

Прокаженные повиновались и уползли в свои логовища в скале. Остался один Кулау. Он сидел неподвижно в лунном сиянии, держа на коленях ружье, и глядел вниз — туда, где лодки приставали к берегу.

Далекая вершина долины Калалау была удачным убежищем. За исключением Килолиана, который знал заднюю тропу, ведущую вверх по отвесным скалам, ни один человек не мог добраться до ущелья, не миновав узкого, как лезвие ножа, хребта. Этот проход тянулся на сто ярдов в длину, а в ширину едва достигал двенадцати дюймов. По обе стороны его зияла пропасть. Стоило поскользнуться — и человек летел направо или налево, навстречу смерти. Но, пройдя благополучно по хребту, он вступал в земной рай.

Ущелье словно купалось в зеленой растительности, перекидывающей свои зеленые волны со скалы на скалу, длинными лозами ниспадающей с каменных стен и разбрасывающей брызги папоротника по многочисленным расщелинам. В течение многих месяцев правления Кулау он и его подданные сражались с этим морем растений и оттеснили пышно цветущие джунгли, мешавшие раньше росту диких бананов, апельсинных и манговых деревьев. На маленьких просеках рос дикий арроурут[4]; на каменных террасах, покрытых тонким слоем плодородной почвы, виднелись участки, поросшие таро и дынями; а там, куда проникал солнечный луч, росли деревья папайя, обремененные плодами.

Кулау загнали в это убежище с нижней долины у берега. А если бы его стали теснить и отсюда, он знал ущелья, скрытые среди надвигающихся друг на друга скал внутренней крепости, куда он мог уйти со своими подданными и где можно было прожить. Теперь он лежал, держа под рукой ружье, и сквозь спутанную завесу листвы глядел на солдат, копошившихся на берегу. Он заметил, что с ними были большие пушки, словно

---

[4] notes: 4
Арроурут — тропическое растение, индийский крахмал.

зеркала, отражавшие солнечные лучи. Острый, как лезвие ножа, проход тянулся как раз перед ним. Он разглядел крохотные точки — людей, карабкавшихся вверх по тропе. Он знал, что это были пока не солдаты, а полицейские.

Скрюченной рукой он любовно провел по дулу ружья и убедился, что оно вычищено. Стрелять он научился еще на острове Ниихау, когда охотился за диким скотом и там еще не угасла его слава меткого стрелка. По мере того как приближались и росли крохотные фигурки карабкающихся людей, он определял расстояние с поправкой на ветер, дувший под прямым углом к линии полета пули, учитывал возможность промаха по мишени, находившейся гораздо ниже его уровня. Но не стрелял! Лишь когда они подошли к началу прохода, он дал знать о своем присутствии. Скрываясь за кустами, он заговорил.

— Что вам нужно? — спросил он.

— Мы ищем Кулау-прокаженного, — ответил голубоглазый американец, который вел туземцев-полицейских.

— Ступайте назад, — сказал Кулау.

Он знал этого человека, выборного шерифа, который вытеснил его из Ниихау на остров Кауаи, загнал в долину Калалау и дальше, в это ущелье.

— Кто ты такой? — спросил шериф.

— Я — Кулау-прокаженный, — раздался ответ.

— Выходи. Тебя-то нам и нужно, живого или мертвого. Твоя голова оценена в тысячу долларов. Тебе не спастись.

Кулау громко захохотал в кустах.

— Выходи! — скомандовал шериф.

Ответом ему было молчание.

Он посоветовался с полицейскими, и Кулау понял, что они готовятся к атаке.

— Кулау, — крикнул шериф, — Кулау, я перейду по этому хребту и доберусь до тебя.

— Раньше оглядись хорошенько по сторонам; посмотри на солнце, море и небо, ибо ты видишь их в последний раз.

— Ладно, ладно, Кулау, — успокоительным тоном заговорил шериф. — Я знаю, ты меткий стрелок. Но в меня ты стрелять не будешь. Я никогда не причинял тебе вреда.

Кулау проворчал что-то в кустах.

— Послушай, разве я причинял тебе когда-нибудь вред? — настаивал шериф.

— Ты причиняешь мне вред, когда стараешься засадить меня в тюрьму, — последовал ответ. — И когда охотишься за моей головой, чтобы получить тысячу долларов. Если жизнь тебе дорога,

ни шагу дальше.

— Я должен войти в ущелье и забрать тебя. Как ни печально, но это мой долг.

— Ты умрешь раньше, чем доберешься до ущелья.

Шериф был не трус, но все же колебался. Заглянул в пропасть по обеим сторонам, смерил взглядом острый хребет, по которому ему предстояло пройти. Затем принял решение.

— Кулау! — крикнул он.

Но кустарник безмолвствовал.

— Кулау, не стреляй! Я иду.

Шериф повернулся, отдал какие-то распоряжения полицейским, затем вступил на опасную тропу. Он продвигался медленно, словно шагал по натянутому канату. Опорой ему служил только воздух. Окаменевшая лава осыпалась под его ногами, и отломавшиеся куски скатывались по обе стороны в бездну. Солнце жгло, и пот струился по его лицу. Все же он продвигался вперед и прошел половину пути.

— Стой — скомандовал из-за кустов Кулау. — Еще один шаг — и я стреляю.

Шериф остановился и, чтобы не потерять равновесия, раскачивался над бездной. Лицо его было бледно, но взгляд решительный. Он облизал

сухие губы, потом заговорил:

— Кулау, ты не пристрелишь меня. Знаю, что не пристрелишь.

И снова тронулся в путь. Пуля заставила его описать полукруг. Лицо у него было жалкое и удивленное, когда он кружился, теряя равновесие. Он попытался спастись и лег поперек узкого хребта, но в этот момент познал смерть. Еще секунда — и «лезвие ножа» опустело. Тогда пять полицейских, превосходно сохраняя равновесие, гуськом побежали по проходу. И в то же мгновение остальные открыли огонь по зарослям кустарника. То было безумие. Пять раз Кулау спускал курок с такой быстротой, что выстрелы его сливались в сплошную трескотню. Меняя положение и припадая к земле под пулями, со свистом прорывающими листву, Кулау выглянул из-за кустов. Четверо последовали за шерифом. Пятый, еще живой, лежал поперек прохода. На противоположной стороне, уже не стреляя, стояли оставшиеся в живых. На голой скале им не на что было надеяться. Кулау мог пристрелить их всех, пока они будут спускаться вниз. Но Кулау не стрелял, и после краткого совещания один из полицейских снял с себя белую рубаху и замахал ею, словно флагом. В сопровождении товари-

ща он добрался до раненого. Кулау, не подавая признаков жизни, следил, как они медленно отступали и, спустившись наконец в нижнюю долину, превратились в крохотные точки.

Два часа спустя из-за другого кустарника Кулау следил, как отряд полицейских пытался подняться с противоположной стороны равнины. Дикие козы разбегались, по мере того как те поднимались все выше и выше, и наконец Кулау, усомнившись в своих расчетах, послал за Килолианой. Тот подполз к нему.

— Там нет пути, — сказал Килолиана.

— А козы? — спросил Кулау.

— Козы приходят из соседней долины, но сюда пробраться не могут. Там нет дороги. Эти люди не умнее коз. Они упадут и разобьются насмерть. Будем наблюдать за ними.

— Они — храбрые люди, — сказал Кулау. — Будем наблюдать.

В ярком свете тропического утра они лежали бок о бок, а желтые цветы хау падали на них сверху. Они следили за маленькими людьми, с трудом карабкавшимися вверх, пока не случилось то, что должно было случиться: трое поскользнулись, скатились со скалы и с высоты пятисот футов полетели в бездну. Килолиана хихикнул.

— Больше не будут нам надоедать, — сказал он.

— У них есть пушки, — ответил Кулау. — Солдаты еще не принялись за работу.

После полудня большинство прокаженных отдыхало в скалистых логовищах. Кулау, держа на коленях вычищенное и заряженное ружье, дремал у входа в свою пещеру. Девушка со скрюченными руками лежала в кустарнике, на страже у острого, как лезвие ножа, хребта. Вдруг Кулау вздрогнул и проснулся: его разбудил взрыв на берегу. Через секунду воздух заколебался. Страшный шум испугал Кулау. Казалось, боги, ухватившись руками за небосвод, раздирали его пополам, как раздирает женщина полотнище бумажной ткани. Звуки нарастали, близились. Кулау боязливо поглядел на небо, словно ожидая там что-то увидеть. Затем высоко на скале разорвался снаряд фонтаном черного дыма. Скала была раздроблена, и обломки упали к подножию.

Кулау отер рукой потный лоб. Он был страшно потрясен. О гранатах он не имел ни малейшего представления, и ужас этого обстрела превзошел все его ожидания.

— Раз, — сказал Капалеи, внезапно вздумавший

вести счет гранатам.

Второй и третий снаряды визжа перелетели через каменную стену и разорвались за ней. Капалеи методично считал. Прокаженные столпились на площадке перед пещерами. Сначала они испугались, но снаряды по-прежнему пролетали над их головами, и народ Кулау успокоился и стал любоваться любопытным зрелищем. Два идиота взвизгивали от восторга и делали нелепые прыжки всякий раз, как снаряд, рассекая воздух, пролетал мимо. Кулау вернул утраченное равновесие. Никаких повреждений нанесено не было. Видимо, на таком большом расстоянии солдаты не могли стрелять из пушек так же метко, как из ружей.

Но вскоре положение изменилось. Снаряды начали падать ближе. Один разорвался в кустарнике неподалеку от узкого прохода. Кулау, вспомнив о девушке, караулившей у входа в ущелье, побежал вниз взглянуть на нее. Когда он подполз к тому месту, дым все еще поднимался над кустами. Кулау был поражен. Кругом валялись расщепленные, поломанные ветки. Там, где раньше лежала девушка, образовалась яма. От девушки остались одни клочья. Граната разорвалась как раз над ней.

Кулау высунул голову из-за кустов и, убедившись, что солдаты не пытаются пройти в ущелье, бегом пустился к пещерам. Все время стонали и визжали гранаты, и грохочущее эхо отзывалось на взрывы. Приблизившись к пещерам, он увидел двух идиотов, которые кружились и подпрыгивали, уцепившись друг за друга обрубками пальцев. И пока он бежал, клубы черного дыма поднялись с земли неподалеку от идиотов. Взрыв отшвырнул их друг от друга. Один лежал неподвижно, другой ползком, перебирая руками, потащился к пещере. Ноги беспомощно волочились за ним, а кровь текла ручьем. Он словно выкупался в крови, но продолжал ползти, завывая, как собачонка. Остальные прокаженные, за исключением Капалеи, скрылись в пещерах.

— Семнадцать, — сказал Капалеи. И затем добавил: — Восемнадцать.

Эта последняя граната влетела прямо в одну из пещер. После взрыва все пещеры опустели, но из той, куда попал снаряд, никто не вышел. Кулау прополз туда сквозь удушливый едкий дым и увидел четыре страшно изуродованных трупа. Один из них был труп слепой женщины, до сей поры не переставшей лить слезы.

Выбравшись наружу, Кулау увидел, что его на-

род охвачен паникой. Прокаженные уже начали взбираться вверх по козьей тропе, которая вела прочь из ущелья, к нагроможденным друг на друга скалам и зияющим безднам. Раненый идиот, слабо повизгивая, тащился на руках, стараясь не отстать от товарищей. Но на первом же подъеме он беспомощно скатился вниз.

— Лучше его прикончить, — сказал Кулау, обращаясь к Капалеи, который не сдвинулся с места.

— Двадцать два, — ответил Капалеи. — Да, разумнее всего будет его прикончить. Двадцать три… Двадцать четыре…

Идиот пронзительно взвизгнул, когда увидел направленное на него ружье. Кулау заколебался, затем опустил ружье.

— Нелегкое это дело, — сказал он.

— Ты дурак, — отозвался Капалеи. — Двадцать шесть, двадцать семь. Вот я тебе покажу.

Он встал и, подняв тяжелый обломок скалы, подошел к раненому. В тот момент, когда он занес руку, над ним разорвалась граната. Избавив его от необходимости действовать, она вместе с тем положила конец его подсчетам.

Кулау один остался в ущелье. Он смотрел, как последние его подданные ползли по тропе и, перетащив свои искалеченные тела через горный

хребет, исчезли из виду. Потом он повернулся и спустился к кустарнику, где была убита девушка. Обстрел продолжался, но Кулау не уходил, ибо видел, что солдаты начали карабкаться наверх. Граната разорвалась на расстоянии двадцати футов. Припав к земле, он слышал шум падающих осколков. Дождем посыпались на него цветы хау. Он поднял голову, поглядел вниз и вздохнул. Он был сильно испуган. Ружейные пули не смутили бы его, но снаряды показались ужасными. Всякий раз, когда с визгом пролетала граната, он вздрагивал и припадал к земле и все же снова поднимал голову, чтобы поглядеть на тропу.

Наконец обстрел прекратился. Кулау объяснял это тем, что солдаты приближались. Они ползли гуськом по тропе, а он попробовал пересчитать их, пока не сбился со счета. Во всяком случае, их было около сотни и все они пришли за ним — за Кулау-прокаженным. На секунду он почувствовал гордость. Солдаты и полицейские шли на него с ружьями и пушками, а он — один, и к тому же жалкий калека. За него, живого или мертвого, обещали тысячу долларов. Никогда не было у него столько денег. Он подумал об этом с горечью… Капалеи был прав. Он, Кулау, ничего плохого не делал. Белокожие нуждались в ра-

бочих руках, которые возделывали бы для них краденую землю; для этого привезли они китайских кули, а с ними пришла болезнь. И теперь, когда он заразился, его оценили в тысячу долларов. Оценили не его самого, а ничего не стоящее его тело, изъеденное болезнью или растерзанное разорвавшейся гранатой.

Когда солдаты подошли к узкому проходу, ему захотелось предупредить их об опасности, но тут взгляд упал на тело убитой девушки, и он промолчал. Когда шесть человек вступили на «лезвие ножа», он открыл огонь и не прекращал стрельбы, пока тропинка не опустела. Расстрелял все заряды, зарядил ружье и опять стрелял. Все перенесенные им обиды жгли его мозг, и он отдался бешенству мщения. Внизу, на козьей тропе, солдаты стреляли в него, и хотя они лежали плашмя, стараясь укрыться за неровностями почвы, но для Кулау являлись прекрасной мишенью. Пули жужжали вокруг и свистели, отскакивая рикошетом. Одна оцарапала ему голову, другая, не разорвав кожи, обожгла плечо.

То была бойня, а убивал один человек. Солдаты начали отступать, унося с собой раненых. Кулау, не прекращая обстрела, внезапно почувствовал запах горелого мяса. Сначала он огляделся во-

круг, потом обнаружил, что нагревшееся ружье припалило ему руки. Проказа уничтожила в них большую часть нервов. Хотя мясо горело и чувствовался запах, но боли он не ощущал.

Улыбаясь, лежал он в кустах, затем вспомнил о пушках. Несомненно, они снова откроют по нему огонь, а мишенью им будет служить тот самый кустарник, откуда он стрелял. Едва успел он перебраться в уголок за небольшим выступом скалы, куда — он это заметил — еще не попадали снаряды, как бомбардировка возобновилась. Он начал считать снаряды. В ущелье пущено было еще шестьдесят гранат, и только тогда прекратился грохот пушек. Крохотное пространство между скалами было изрыто взрывами, и невозможным казалось, чтобы кто-нибудь уцелел. Очевидно, так порешили солдаты, ибо снова полезли по козьей тропе под палящими лучами солнца. И снова был очищен узкий, как лезвие ножа, проход, и снова отступили они к берегу.

Еще два дня Кулау сторожил у входа в ущелье, хотя солдаты довольствовались тем, что засыпали снарядами его убежище. Затем Пахау, прокаженный мальчик, поднялся на вершину каменной стены, ограждавшей ущелье, и крикнул сверху, что Килолиана, охотясь на коз, упал и

разбился насмерть, а женщины перепуганы и не знают, что им делать. Кулау велел мальчику спуститься вниз и ушел, оставив ему запасное ружье, чтобы охранять проход. Народ Кулау впал в уныние. Большинство было слишком беспомощно, чтобы при данных условиях добывать себе пищу, и все умирали с голоду. Он выбрал двух женщин и одного мужчину, которых проказа изувечила не слишком сильно, и послал их назад в ущелье за съестными припасами и циновками. Остальных он ободрил и утешил, и, наконец, даже самые слабые принялись устраивать себе убежища.

Но посланные за едой не возвращались, и Кулау сам отправился в ущелье. Когда он поднялся на вершину горного хребта, началась ружейная стрельба. Одна пуля прострелила ему мышцы у плеча, другая ударилась о скалу, и отщепившийся камень оцарапал ему щеку. На это потребовалось не больше секунды. Отскакивая назад, Кулау видел, что ущелье кишит солдатами. Он был предан своим же народом. Орудийный обстрел устрашил его подданных, и они предпочли тюрьму на Молокаи.

Кулау отступил и снял один из своих тяжелых патронташей. Притаившись среди скал, он ждал, пока не показались голова и плечи первого сол-

дата, и тогда спустил курок. Это повторилось дважды. Затем, немного погодя, вместо головы и плеч над краем скалы появился белый флаг.

— Что вам нужно? — спросил он.

— Мне нужен ты, если ты — Кулау-прокаженный.

Кулау позабыл, где он, позабыл все на свете и, лежа под прикрытием скалы, дивился странной настойчивости этих белых, которые добиваются своего, хотя бы на них рушилось небо. Да, своей воле они подчиняют все и всех, даже если им придется заплатить за это жизнью. И он невольно восхищался ими, их силой воли, которая была сильнее жизни и заставляла все перед собой склоняться. Он убедился в безнадежности борьбы. Что можно было противопоставить страшной воле белых? Убей он тысячу — они размножатся, как песок морской, и снова пойдут на него. Они никогда не признавали своего поражения. В этом была их ошибка и их мощь. Вот чего не хватало его народу. Теперь он понял, почему горсточка проповедников Бога и рома завоевала страну. Сила этих пришельцев объяснялась тем…

— Ну, что ж ты мне скажешь? Пойдешь со мной?

То был голос невидимого человека, выки-

нувшего белый флаг. Как и всякий белый, он решительно шел к цели.

— Давай побеседуем, — сказал Кулау.

Показались голова и плечи, затем все туловище. То был бритый голубоглазый молодой человек лет двадцати пяти, стройный и изящный в своем капитанском мундире. Он приблизился на несколько шагов, потом сел на расстоянии двенадцати футов.

— Ты храбрый человек, — с изумлением сказал Кулау. — Я мог раздавить тебя, как муху.

— Нет, не мог, — последовал ответ.

— Почему?

— Потому что ты человек, Кулау, хотя и скверный человек. Я знаю твою историю. Ты не убиваешь из-за угла.

Кулау что-то проворчал, но втайне был польщен.

— Что ты сделал с моими людьми? — спросил он. — Где мальчик, две женщины и мужчина?

— Они сдались. Это я и тебе предлагаю сделать.

Кулау недоверчиво засмеялся.

— Я — свободный человек, — заявил он. — Я ничего плохого не делал. Прошу только оставить меня в покое. Жил свободным и умру свободным. Я никогда не сдамся.

— Значит, твой народ умнее тебя, — ответил молодой капитан. — Смотри! Вот они идут!

Кулау обернулся и стал смотреть, как приближались те, что остались в живых. То была жалкая процессия. Со стонами и вздохами они волочили свои жалкие тела. Кулау дано было пережить еще худшее огорчение: проходя мимо, они выкрикивали ему в лицо ругательства и оскорбления. А задыхающаяся старая карга, замыкавшая шествие, остановилась, вытянула костлявые, словно когти гарпии, руки и, покачивая мертвенной головой с оскаленными зубами, прокляла его.

Один за другим они исчезали за горным хребтом и сдавались спрятавшимся в ущелье солдатам.

— Теперь ступай, — сказал Кулау капитану. — Я никогда не сдамся. Вот мое последнее слово. Прощай.

Капитан соскользнул со скалы к своим солдатам. Через секунду, отбросив флаг перемирия, он поднял на ножнах свою фуражку, и Кулау прострелил ее. После полудня они обстреливали его снарядами с берега; Кулау отступал в дальние недоступные котловины, а солдаты следовали за ним.

Шесть недель гоняли они его по котловинам, вулканическим вершинам и козьим тропам.

Когда он спрятался в зарослях лантана, они оцепили это место и, как кролика, гнали его сквозь джунгли и кусты гуявы. Но всякий раз он увертывался, заметал следы и ускользал от облавы.

Невозможным казалось загнать его в тупик. Когда они подходили слишком близко, он метким выстрелами вынуждал их отступать, и, унося своих раненых, они спускались по козьим тропам к берегу. Случалось, что они стреляли, когда его смуглое тело мелькало в кустах. Однажды пятеро солдат настигли его на открытой тропе между котловинами. Они расстреляли все заряды, пока он прыгал и полз на головокружительной высоте. После они нашли кровавые пятна и поняли, что он ранен. По прошествии шести недель они отказались от преследования. Солдаты и полицейские вернулись в Гонолулу, и долина Калалау была предоставлена в его распоряжение. Лишь время от времени охотники, на свою гибель, отваживались за ним гоняться.

Спустя два года Кулау в последний раз дополз до кустарника и улегся среди листьев и цветов дикого имбиря. Свободным он жил — свободным умирал. Моросил дождь, и Кулау натянул рваное одеяло на изуродованное свое тело. На нем была клеенчатая куртка. На грудь он положил свой

маузер и любовно стер с дула дождевые капли. Рука, вытиравшая ружье, была без пальцев, и нечем было ему спускать курок.

Он закрыл глаза. Головокружение и слабость во всем теле предупредили его о близости конца. Как дикий зверь, он приполз умирать в укромное местечко. В полусознании, отдаваясь бреду, он вновь переживал свою молодость на Ниихау. Угасала жизнь, и все слабее становился шум дождя, а Кулау чудилось, будто он снова объезжает лошадей; дикие жеребцы, брыкаясь, вздымаются на дыбы, а стремена его связаны вместе под брюхом лошади. Вот он бешено мчится в загоне, а помогающие ему ковбои рассыпаются во все стороны и перескакивают через изгородь. Через секунду он уже преследует диких быков на горных пастбищах, стреноживает их и ведет вниз, в долину. И в загоне, где клеймят скот, он чувствует, как пот и пыль слепят ему глаза, разъедают ноздри.

Снова переживал он свою здоровую, буйную молодость, пока острая боль в разлагающемся теле не вернула к действительности.

Он поднял свои чудовищные руки и с изумлением поглядел на них. Как же это? Почему? Во что превратилась его здоровая дикая юность? Потом он вспомнил — и снова, на секунду, стал Кулау-

прокаженным. Веки его устало опустились, ухо не улавливало больше шума дождя. Дрожь долго сотрясала его тело. Потом и дрожь утихла. Он приподнял голову, но она откинулась назад. Тогда глаза его раскрылись и больше не закрылись. Последняя его мысль была о маузере: руками, лишенными пальцев, он прижал его к груди.

Прощай, Джек

Гавайи — чудная страна. В социальном отношении здесь все, если можно так выразиться, перевернуто шиворот-навыворот. Не то чтобы здесь все было просто непристойно, нет, скорее, наоборот. Здесь слишком пристойно, но как-то вверх дном. Самые привилегированные — это миссионеры. Не без удивления узнаешь, что на Гавайях неизвестный, жаждущий мученичества миссионер восседает на первом месте за столом денежного аристократа. Тем не менее, это факт. Смиренные новоангличане, появившиеся здесь в тридцатых годах девятнадцатого века, пришли с весьма возвышенной целью — обучить канаков истинной религии и поклонению единому истинному и вездесущему Богу. В этом они так преуспели и так глубоко внедрили в канаков цивилизацию, что последние во втором или третьем поколении вымерли. То были плоды посева слова Божия; плодом же посева миссионеров (их сыновей и внуков) явился переход в их собственность островов — земли, портов, городов и сахарных плантаций. Миссионеры, которые пришли с пищей духовной, остались для того,

чтобы насладиться языческими лакомствами.

Но не эту гавайскую странность я имел в виду, когда начал свой рассказ. Впрочем, нельзя говорить о положении на Гавайях, не упомянув о миссионерах. Возьмем хотя бы Джека Керсдейла, о котором я хотел рассказать. Со стороны бабушки он происходит из миссионерского рода. Дед его, старый Бенджэмен Керсдейл, янки-торговец, в былые дни сколотил свой первый миллион продажей дешевого виски и сногсшибательного джина. Вот вам еще одна странность. Старые миссионеры и старые торговцы были смертельными врагами, но дети их между собой поладили — переженились и поделили острова.

Жизнь на Гавайях — песня. Вот как говорит об этом Стоддард в своих «Гавайях»:

> *Твоя жизнь — музыка, звуков нет чудесней!*
>
> *Каждый остров — стих, а все вместе — песня.*

И он прав. Кожа у людей там золотая. Туземные женщины — на солнце созревшие юноны, туземные мужчины — бронзовые аполлоны. Они поют и пляшут, увитые гирляндами, увенчанные цветами. А за пределами сурового миссионерского

круга белые мужчины поддаются влиянию климата и солнца и — как бы ни были заняты — тоже склонны плясать и петь и носить за ушами и в волосах цветы. Таков был и Джек Керсдейл, один из самых деловых людей, каких мне когда-либо приходилось встречать, — сверхмиллионер, сахарный король, владелец кофейных плантаций, каучуковый пионер, скотовод и покровитель почти всех новых предприятий на островах. Он был светским человеком, клубменом, владельцем яхты, холостяком и вдобавок одним из тех красивых мужчин, каких отлавливают мамаши для своих незамужних дочерей. Случилось так, что образование он получил в Йеле, и голова его была набита самыми необходимыми статистическими и научными данными о Гавайях; таких сведений не имел ни один из знакомых мне островитян. Он работал свыше головы, но пел, плясал и украшал волосы цветами не хуже любого бездельника.

Он был храбр и дважды дрался на дуэли — оба раза из политических соображений, — когда еще был зеленым юнцом, едва вступившим на политическую арену. В последнюю революцию, когда была свергнута туземная династия, он несомненно сыграл роль похвальную и мужественную, а в то время ему было не более шестнадцати лет.

Он не был трусом, я это подчеркиваю для того, чтобы вы могли оценить дальнейшие события. Я видел его на ранчо Халеакала, когда он объезжал четырехлетнего жеребца, который два года водил за нос ковбоев Фон Темпского. Следует рассказать еще об одном случае. Дело происходило в Коне, или, вернее, над Коной, ибо местные жители не желают селиться ниже чем на высоте тысячи футов. Все мы сидели на террасе бунгало доктора Гудхью. Я разговаривал с Дотти Фэрчайлд, когда огромная сороконожка — потом мы ее смерили, и она оказалась в семь дюймов длиной — упала с балок прямо на ее прическу. Признаюсь, вид этой гадины парализовал меня. Я не в силах был пошевельнуться. Мой мозг отказывался работать. На расстоянии двух футов от меня омерзительное ядовитое насекомое извивалось в ее волосах. Каждую секунду оно могло упасть на ее обнаженные плечи — мы перед этим только что встали из-за обеденного стола.

— Что такое? — спросила Дотти, поднимая руку.

— Не троньте! — крикнул я. — Не троньте!

— Но в чем же дело? — настаивала она, испуганная моими остановившимися и трясущимися губами.

Мой крик привлек внимание Керсдейла. Он небрежно посмотрел в нашу сторону, сразу все понял и не спеша подошел к нам.

— Пожалуйста, не шевелитесь, Дотти, — спокойно попросил он.

Он ни секунды не колебался, но не спешил и потому не промахнулся.

— Разрешите, — сказал он.

Одной рукой он взял ее шарф и плотно обернул ей плечи, чтобы сороконожка не могла упасть за корсаж. Другую руку — правую — он запустил в ее волосы, схватил отвратительную гадину ближе к голове и, крепко сжав указательным и большим пальцем, вытащил из волос. Это было самое страшное и героическое зрелище, какое только можно себе представить. У меня мурашки забегали по спине. Семидюймовая сороконожка, подергивая конечностями, корчилась и извивалась в его руке; тело ее обвилось вокруг его пальцев; насекомое, пытаясь освободиться, царапало ему кожу. Дважды оно его укусило — я это видел, — хотя он и уверял дам, что все обошлось. Он бросил гадину на усыпанную гравием дорожку и растоптал. А пять минут спустя я застал его в операционной, где доктор Гудхью надрезал ему раны и впрыскивал марганцевый калий. На

следующее утро рука Керсдейла раздулась, как бочка, и опухоль держалась три недели.

Все это никакого отношения к моему рассказу не имеет, но я должен был упомянуть о случае с сороконожкой в доказательство того, что Джек Керсдейл отнюдь не был трусом. В тот раз он проявил редкую отвагу, какую мне еще не приходилось видеть. Он глазом не моргнул и все время улыбался. Он запустил большой и указательный палец в волосы Дотти Фэрчайлд так весело, словно перед ним стояла коробка с соленым миндалем. Однако этого самого человека мне суждено было увидеть во власти страха в тысячу раз отвратительнее того, какой испытал я, когда мерзкая гадина извивалась в волосах Дотти Фэрчайлд, над ее глазами и открытым корсажем.

Я интересовался проказой, и по этому вопросу, как и по всем вопросам, касавшимся островов, Керсдейл обладал энциклопедическими познаниями. По правде сказать, проказа была одним из его коньков. Он был пламенным защитником колонии на Молокаи, куда отправляли с островов всех прокаженных. Среди туземного населения ходили слухи, раздуваемые демагогами, о жестокостях, творимых на Молокаи, где мужчины и женщины, оторванные от друзей и семьи, обре-

чены были до самой смерти жить в заточении. Ни смягчения, ни отсрочки в исполнении приговора быть не могло. «Оставь надежду!»[5] было написано на воротах Молокаи.

— Уверяю вас, они там счастливы, — настаивал Керсдейл. — Им куда лучше, чем их друзьям и родственникам, людям совершенно здоровым. Все эти толки об ужасах на Молокаи — ерунда. Я могу показать вам больницы или трущобы в любом из больших городов, где вы увидите кое-что пострашнее. Живые мертвецы! Существа, некогда бывшие людьми! Вздор! Следовало бы вам посмотреть, какие скачки устраивают эти живые мертвецы четвертого июля. У некоторых есть лодки. Один обзавелся даже моторной. Делать им нечего, могут все время веселиться. Пища, кров, одежда, врачебная помощь — все это им предоставлено. Они — подопечные всей страны. Климат там лучше, чем в Гонолулу, местоположение прекрасное. Я лично ничего не имел бы против того, чтобы провести там остаток своих дней. Славное местечко!

Так рассуждал Керсдейл о счастливых прока-

---

[5] notes: 5

«Оставь надежду всяк, сюда входящий» — надпись над адскими воротами (в поэме Данте «Божественная комедия»).

женных. Он не боялся проказы, но добавлял, что у него, как и у кого бы то ни было из белых, для заражения не было и одного шанса на миллион. Впрочем, впоследствии он признался, что один из его школьных товарищей, Альфред Стартер, заразился, уехал на Молокаи и там умер.

— Вы знаете, в прошлом, — объяснял Керсдейл, — неоспоримые признаки проказы не были известны. Достаточно было какого-нибудь необычного или ненормального явления, чтобы отправить парня на Молокаи. В результате десятки людей, сосланных туда, были такие же прокаженные, как вы или я. Но теперь подобные ошибки невозможны. Исследования Врачебного управления непогрешимы. Любопытно, когда врачи, научившись распознавать эту болезнь, отправились на Молокаи и произвели исследование, среди прокаженных оказалось немало здоровых людей. Их немедленно удалили с Молокаи. Рады ли они были уехать? Они выли громче, чем в Гонолулу, когда их отправляли на Молокаи. Иные отказались ехать, и пришлось увезти их насильно. Один был даже женат на прокаженной в последней стадии болезни и впоследствии писал патетические письма во Врачебное управление, протестуя против своего изгнания на том основа-

нии, что никто не сможет так ухаживать за его бедной старой женой, как это делал он.

— Что же это за непогрешимый способ распознавать болезнь? — осведомился я.

— Бактериологическое исследование. Тут ошибка исключается. Доктор Герви — наш эксперт, как вам известно, первый применил этот метод. Он — чародей. О проказе он знает больше, чем кто бы то ни было на свете, а если способы лечения существуют, вы увидите, откроет их он. Удалось выделить bacillus leprae[6] и изучить ее. Теперь ее узнают сразу. Нужно только срезать у подозреваемого кусочек кожи и подвергнуть его бактериологическому исследованию. Человек без всяких наружных признаков проказы может быть битком набит бациллами.

— Значит, вы или я, сами того не ведая, быть может, переполнены ими, — заметил я.

Керсдейл пожал плечами и рассмеялся.

— Как знать? Инкубационный[7] период длится семь лет. Если же вы сомневаетесь, ступайте к доктору Герви. Он срежет у вас кусочек кожи и мигом вам сообщит, больны вы или нет.

---

[6] notes: 6
Bacillus leprae (по-латыни) — «бациллус лепре» — бацилла проказы.

[7] notes: 7
Инкубационный — скрытый.

Позже он меня познакомил с доктором Герви, который вручил мне отчеты Врачебного управления и научные доклады о проказе и повез меня в Калихи, приемный пункт на Гонолулу, где осматривали подозрительных больных и содержали прокаженных до отправки на Молокаи. Такие отправки происходили раз в месяц, когда прокаженных, навеки распрощавшихся с друзьями, сажали на борт маленького парохода «Носау» и отвозили в колонию.

Однажды в клуб, где я писал письма, заглянул Джек Керсдейл.

— Вас-то мне и нужно, — приветствовал он меня. — Я покажу вам самую печальную сторону трагедии — рыдания прокаженных перед отплытием на Молокаи. Через несколько минут «Носау» примет их на борт. Но предупреждаю — держите себя в руках. Как ни безутешно их горе, но через год они бы подняли и не такой вой, если бы Врачебное управление попыталось увезти их с Молокаи. Мы еще успеем пропустить виски с содовой. Меня ждет экипаж. И пяти минут не пройдет, как мы спустимся к пристани.

И мы отправились на пристань. Около сорока несчастных сидели на корточках среди своих циновок, одеял и всевозможных пожитков. «Но-

сау» подходил к плашкоуту, отделявшему его от пристани. Мистер Маквей, старший надзиратель колонии, следил за посадкой. Меня представили ему, а также доктору Джорджесу — одному из врачей Врачебного управления, с которым я уже встречался в Калихи. Прокаженные были убиты горем. Почти у всех лица были отвратительные — слишком страшные, чтобы я мог их описать. Но кое-где попадались лица довольно привлекательные, без следов проказы. Я обратил внимание на маленькую белую девочку лет двенадцати, с голубыми глазами и золотистыми волосами; одна ее щека была обезображена зловещей опухолью. На мое замечание, какой одинокой она себя почувствует среди темнокожих больных, доктор Джорджес ответил:

— Сомневаюсь. Это — счастливый день в ее жизни. Она из Кауаи. Отец ее — скотина. Теперь, заболев проказой, она едет к матери в колонию. Мать попала туда три года назад — очень тяжелый случай.

— Не всегда можно судить по внешности, — сказал мистер Маквей. — Видите вон того крупного парня, такого на вид здорового и цветущего? Случайно я узнал, что у него открытая язва на ноге и такая же на плече. Есть и другие… Посмот-

рите на руку девушки, которая курит сигарету. Пальцы у нее искривлены и онемели. Вы можете их отрезать тупым ножом или растереть теркой для мускатного ореха, а она решительно ничего не почувствует.

— Да, но неужели вон та красивая женщина тоже заражена? — воскликнул я. — Такая цветущая и очаровательная.

— Печальный случай, — бросил через плечо мистер Маквей, поворачиваясь, чтобы прогуляться с Керсдейлом по набережной.

Это была красивая женщина — чистокровная полинезийка. Несмотря на мои скудные познания об этой расе и ее типах, я не мог не вывести заключения, что она происходит из старинного рода вождей. Ей было не больше двадцати трех — двадцати четырех лет. Фигура ее была безупречна, лишь слегка намечались первые признаки полноты, свойственной женщинам ее расы.

— Это был удар для всех нас, — заговорил доктор Джорджес. — Она добровольно заявила о своей болезни. Никто и не подозревал. Но каким-то образом она подцепила проказу. Уверяю вас, мы все были потрясены. Добились того, чтобы в газеты это не попало. Кроме нас и ее семьи, ни-

кто не знает, что с ней случилось. Кого бы вы ни спросили в Гонолулу, любой вам скажет, что она, по-видимому, уехала в Европу. По ее просьбе мы постарались избежать огласки. Бедная девушка — такая гордая…

— А кто она? — спросил я. — Судя по тому, что вы о ней говорите, она — личность незаурядная.

— Слыхали что-нибудь о Люси Мокуную? — спросил он.

— Люси Мокуную? — повторил я, силясь припомнить; потом покачал головой. — Как будто слыхал это имя, но не могу вспомнить.

— Не слыхали о Люси Мокуную? Гавайском соловье? Виноват, ведь вы — малахини[8]; откуда же вам знать. Да, Люси Мокуную была любимицей Гонолулу — нет, всего острова!

— Вы говорите — была? — перебил я.

— Вот именно. Теперь она — конченый человек. — Он сочувственно пожал плечами. — Двенадцать хаолес, виноват — белокожих, были не на шутку в нее влюблены. Обычных поклонников я не считаю. Эти двенадцать были люди с положением и весом. Стоило ей пожелать, и она могла бы выйти замуж за сына верховного судьи.

---

[8] notes: 8
Приезжий.

Вы говорите, она красива? А послушали б вы, как она поет! Лучшая туземная певица на Гавайях. Горло у нее — из чистого серебра и солнечных лучей. Мы ее обожали. Сначала она сделала турне по Америке с королевским гавайским оркестром. Затем два раза ездила одна — давала концерты.

— А! — воскликнул я. — Припоминаю. Два года назад я слышал ее в Бостоне. Так это она! Теперь я ее узнал.

И гнетущая тоска захлестнула меня. Жизнь в лучшем случае — бессмысленна. Прошло каких-нибудь два года, и это великолепное создание, стоявшее на вершине успеха, очутилось среди прокаженных, ждавших отправки на Молокаи. Мне вспомнились две строчки Генли:

Жалкий бродяга старые язвы свои открывает,

И позорной ошибкой мне кажется жизнь.

Я содрогнулся при мысли о своем будущем. Если такая страшная судьба постигла Люси Мокуную, так что же выпадет на мою долю? Или на чью-то из нас? Я прекрасно знал, что в жизни нас подстерегает смерть, но… жить среди живых мертвецов, умереть и не быть мертвым, стать од-

ним из тех жалких созданий, какие были некогда мужчинами и женщинами, похожими, быть может, на Люси Мокунуи, воплощавшую все чары Полинезии, на нее — артистку и покорительницу мужчин… Боюсь, что мне не удалось скрыть волнения, так как доктор Джорджес поспешил меня заверить, что прокаженным живется хорошо в колонии.

Все это было чудовищно. Я не в силах был смотреть на нее. На некотором расстоянии от нас, за протянутой веревкой, которую охранял полисмен, столпились родственники и друзья прокаженных. Им не разрешалось подходить близко. Не было ни объятий, ни прощальных поцелуев. Они перекликались, выкрикивали последние поручения, последние слова любви, последние наставления. А те, что стояли за веревкой, смотрели жутко напряженно. В последний раз они глядели на лица своих любимых — те были живыми мертвецами, и на погребальном корабле их отправляли на кладбище Молокаи.

Доктор Джорджес распорядился, и жалкие создания с трудом поднялись на ноги и, шатаясь под тяжестью своей поклажи, побрели через плашкоут на борт парохода. То была погребальная процессия. Оставшиеся за веревкой сразу подня-

ли вой. Кровь стыла в жилах, сердце сжималось от жалости. Таких рыданий я еще не слыхал и, надеюсь, никогда больше не услышу. Керсдейл и Маквей все еще стояли в стороне, очень серьезно разговаривая, — о политике, конечно, ибо оба с головой ушли в эту игру. Когда Люси Мокунуи проходила мимо меня, я украдкой взглянул на нее. Да, она была красива — красива даже с нашей точки зрения — один из тех редких цветов, какие расцветают раз в столетие. И она — первая среди всех женщин — обречена была на тюрьму Молокаи. Словно королева, она прошла по плашкоуту прямо на борт и на корму — туда, где на открытой палубе столпились у перил прокаженные и, рыдая, смотрели на своих близких на берегу.

Канаты были отданы, и «Носау» стал медленно отчаливать от пристани. Рыдания усилились. Сколько горя и отчаяния! Не успел я принять решения никогда больше не присутствовать при отплытии «Носау», как вернулись Маквей и Керсдейл. У Керсдейла глаза блестели, а губы невольно складывались в веселую улыбку. Видимо, разговор о политике доставил ему удовольствие. Веревку отцепили, и рыдающие родственники столпились на пристани, там же, где стояли мы.

— Вот ее мать, — шепнул доктор Джорджес, указывая на старуху, стоявшую подле меня. Она раскачивалась взад и вперед и распухшими от слез глазами глядела на пароход. Я заметил, что Люси Мокуную тоже плачет. Но вдруг рыдания ее прекратились — она взглянула на Керсдейла. Простерла руки — этот очаровательный чувственный, словно обнимающий аудиторию жест я видел у Ольги Нетерсоль — и крикнула:

— Прощай, Джек! Прощай!

Он услышал и оглянулся. Я никогда не видел человека, охваченного таким страхом. Он зашатался, побелел до корней волос, как будто осел и съежился. Всплеснул руками и простонал: «Боже мой, Боже мой!», затем страшным усилием воли сдержал себя и крикнул:

— Прощай, Люси! Прощай!

Он стоял на пристани и махал ей руками, пока не увеличилось расстояние, отделявшее его от парохода, и не стерлись лица людей, столпившихся у перил.

— Я думал, вы знаете, — сказал Маквей, поглядевший на него с любопытством. — Кому-кому, а уж вам следовало бы знать. Я думал, вы потому и пришли сюда.

— Теперь знаю, — очень серьезно ответил Кер-

сдейл. — Где экипаж?

Быстро, почти бегом он двинулся к экипажу. Чтобы не отстать, я тоже должен был чуть ли не бежать.

— К доктору Герви, — сказал он кучеру. — Поезжай как можно скорее.

Запыхавшись, он опустился на сиденье. Бледность все увеличивалась. Губы его были плотно сжаты, пот выступил на лбу и верхней губе. Казалось, он испытывает страшные муки.

— Ради Бога, гони лошадей, Мартин! — крикнул он вдруг. — Полосни их кнутом! Слышишь? Хлестни хорошенько!

— Они понесут, сэр, — возразил кучер.

— Ну и пусть, — ответил Керсдейл. — Я заплачу за тебя штраф и улажу дело с полицией. Гони их! Вот так. Быстрей, быстрей!

— А я и не знал, не знал, — бормотал он, снова опускаясь на сиденье и дрожащими руками вытирая пот.

Экипаж подпрыгивал, раскачивался, кренился на поворотах, и разговаривать было совершенно невозможно. Да и не о чем было говорить. Но я слышал, как он все время бормотал:

— А я и не знал, не знал…

«Алоха Оэ»

Нигде не провожают так пароходы, как в гавани Гонолулу. Большой транспорт стоял под парами, готовый к отплытию. Около тысячи человек толпились на палубе, и пять тысяч — на набережной. По длинному шкафуту проходили взад и вперед туземные принцы и принцессы, сахарные короли и высокопоставленные лица страны. Позади длинными вереницами выстроились, по приказанию туземной полиции, экипажи и автомобили аристократии Гонолулу. На пристани королевский гавайский оркестр играл «Алоха Оэ», а когда он умолк, струнный оркестр туземных музыкантов на борту транспорта подхватил те же рыдающие звуки, и голос туземной певицы взлетел над рыданием инструментов и суматохой прощания. То была серебряная свирель, чистой нотой прорезавшая воздух.

На носу, на нижней палубе, у перил выстроились в шесть рядов молодые люди в хаки; их бронзовые лица свидетельствовали о трехлетнем пребывании под тропическим солнцем. Но не в честь их устроены были проводы и не в честь одетого в белое капитана на мостике, далекого,

как звезды, и глядевшего вниз на сутолоку под ним. Не имели отношения к проводам и молодые офицеры, возвращавшиеся с Филиппинских островов, и их бледные истощенные климатом жены, стоявшие рядом. На палубе, сейчас же за шкафутом, стояли сенаторы Соединенных Штатов — их было человек двадцать — с женами и дочерьми. То была развлекающаяся сенаторская компания, которую в течение месяца пичкали обедами и винами, угощали статистикой, таскали на вулканическую гору и вниз, в долину, залитую лавой, показывая все красоты и богатства Гавайев. Для этой веселой компании был вызван в Гонолулу транспорт, и с ней прощался Гонолулу.

Сенаторы были увиты гирляндами и украшены цветами. На толстой шее и мощной груди сенатора Джереми Сэмбрука красовалась дюжина венков. Из этой массы цветов выглядывало его потное лицо, покрытое свежим загаром. О цветах он думал с отвращением, а толпу на набережной рассматривал с точки зрения статистика, который не воспринимает красоты, а видит рабочую силу, фабрики, железные дороги, плантации, лежащие там, позади толпы, и ею олицетворенные. Он видел богатства, думал об их развитии

и слишком был занят грезами о материальных достижениях и власти, чтобы обратить внимание на дочь, которая стояла подле него, разговаривая с молодым человеком в изящном летнем костюме и соломенной шляпе. Этот молодой человек видел, казалось, только ее одну и не сводил горящих глаз с ее лица. Если бы сенатор Джереми поглядел внимательно на свою дочь, он понял бы, что вместо молоденькой пятнадцатилетней девочки, которую он всего месяц назад привез в Гавайи, с ним уезжает теперь женщина.

Климат Гавайев способствует созреванию, а Дороти Сэмбрук подвергалась его действию при особо благоприятных условиях. Стройная, бледная, с голубыми глазами, слегка утомленными долгим сидением над страницами книг и попыткой разобраться в тайнах жизни, — такой она была месяц назад. Но теперь глаза смотрели ясно, а не устало, щеки были тронуты поцелуями солнца, а в фигуре намечались первые закругленные линии. Этот месяц она не прикасалась к книгам, ибо в чтении книг жизни познала радость бóльшую. Она ездила верхом, карабкалась на вулканы, училась плавать в прибой. Тропики зажгли ей кровь, она полюбила тепло, яркие краски и солнечный свет. И этот месяц она провела

в обществе мужчины — Стивена Найта, атлета, морского наездника, бронзового бога морей, который укрощал грохочущие волны, вскакивал на их хребты и пригонял к берегу.

Дороти Сэмбрук не подозревала о происшедшей перемене. Ее сознание оставалось сознанием девочки-подростка, и она была удивлена и взволнована поведением Стива в час разлуки. Она смотрела на него как на товарища по играм, и в течение месяца он действительно был ее товарищем, но теперь прощался с ней не как товарищ. Он говорил возбужденно и бессвязно, умолкал, снова говорил. Иногда он не слушал, что говорит она, или отвечал как-то необычно. Ее приводил в смущение его взгляд. Раньше она не замечала, что у него такие горящие глаза. Было в них что-то страшное. Она не могла выдержать этого взгляда и то и дело опускала ресницы. Но было в нем что-то манящее, и она снова и снова поднимала глаза, чтобы уловить то пламенное, властное, тоскующее, что еще ни разу не приходилось ей видеть в глазах мужчины. Ее охватило странное волнение и тревога.

Пароход дал оглушительный свисток, и увенчанная цветами толпа ближе придвинулась к борту. Дороти Сэмбрук зажала уши пальцами,

сделала гримасу, недовольная этим пронзительным свистком, и снова заметила в глазах Стива властный беспокойный огонек. Он смотрел не на нее, а на ее уши, нежно-розовые и прозрачные в косых лучах заходящего солнца. Удивленная и зачарованная, она вглядывалась в его глаза, пока он не понял, что выдал себя. Она заметила, что он густо покраснел и забормотал что-то бессвязное. Он был смущен так же, как и она. Пароходная прислуга взволнованно шныряла по палубе, предлагая провожающим сойти на берег. Стив протянул руку.

Почувствовав теперь пожатие его пальцев, тысячу раз сжимавших ее руку во время плавания на досках в прибой и прогулок в долине, залитой лавой, она по-новому поняла слова рыдающей песни, которая лилась из серебряного горла гавайской женщины:

Ко халйа ко алоха кай хики маи,
Ке хоне аэ ней ку-у манава.
О оэ но ка у алоха
О локо е хана ней.

Стив ее выучил мелодии и словам — по крайней мере, до этой минуты ей казалось, что она понимает значение слов; но теперь, в момент по-

следнего рукопожатия и теплого прикосновения его ладони, она впервые поняла истинный смысл песни. Она едва заметила его уход и не могла найти его в толпе на сходнях, так как углубилась в лабиринт воспоминаний, переживая только что прошедшие четыре недели, перебирая события, озарившиеся новым светом.

Когда месяц назад сенаторская компания сошла на берег, был немедленно организован комитет увеселений, куда входил Стив. Он первый демонстрировал им плавание во время прибоя на берегу Ваикики. Сидя на узкой доске, он плыл навстречу морю, пока не превратился в крохотную точку; затем появился снова, возвышаясь, как морской бог, над волнующейся, бурлящей пеной; он поднимался все выше и выше, и постепенно обнажались его плечи, грудь и бедра. Наконец он показался весь на хребте могучего длинного вала, и только ступни его ног были зарыты в брызгах взлетающей пены. Он мчался со скоростью экспресса, и на глазах ошеломленных зрителей спокойно ступил на берег. Так она впервые увидела Стива. В комитете он был самым молодым — двадцатилетний юноша. Он не развлекал гостей речами и не блистал во время приемов. Свою долю в увеселительную программу он вносил в

волнах прибоя на Ваикики, на пастбищах Мауна Кеа, где гонял диких быков, и на ранчо Халеакала — в загоне, где объезжали лошадей.

Ее не занимали вечная статистика и нескончаемые речи остальных членов комитета. Не интересовался этим и Стив. И со Стивом она потихоньку убежала с праздничного пикника в Хамакуа и от Эба Луиссона, кофейного плантатора, который в течение двух смертельно скучных часов говорил о кофе и только о кофе. Тогда-то они ездили верхом среди папоротниковых деревьев, и Стив обучил ее словам «Алоха Оэ», песни, которую пели знатным гостям в каждой деревне, в каждом ранчо и на каждой плантации.

Стив и она с первого же дня много времени проводили вместе. Он был товарищем ее игр. Она завладела им в то время, как ее отец занимался статистикой островов. Слишком кроткая, чтобы тиранить своего товарища, она тем не менее всецело его подчинила, и только во время катания на лодке, верхом или на доске по волнам прибоя власть переходила к нему, а она безоговорочно повиновалась. И теперь, когда сбросили канаты и большой транспорт стал медленно отделяться от пристани, Дороти, в последний раз слушая песню, поняла, что Стив был для нее не только

товарищем.

Пять тысяч голосов пели «Алоха Оэ», — «моя любовь с тобой, пока мы не встретимся снова», — и в это первое мгновение осознанной любви она поняла, что ее отрывают от Стива. Встретятся ли они когда-нибудь? Он сам ее выучил этим словам. Она вспомнила, как он пел их снова и снова под деревом хау в Ваикики. Было ли это предсказанием? А она восхищалась его пением, говорила ему, что он поет очень выразительно. При этом воспоминании она истерически рассмеялась. «Выразительно!» — когда он изливал в песне свое сердце. Теперь она знала, но было слишком поздно. Почему он ей не сказал? Тут она вспомнила, что девушки в ее возрасте замуж не выходят, но тотчас же подумала: «Нет, на Гавайях выходят». В Гавайях она созрела — в Гавайях, где кожа золотистая, а женщины созревают под поцелуями солнца.

Тщетно всматривалась она в толпу людей на набережной. Куда же он делся? Она готова была отдать все на свете, чтобы еще разок взглянуть на него, и почти надеялась, что какая-нибудь смертельная болезнь поразит капитана, одиноко стоящего на мостике, и отъезд будет отложен. В первый раз в жизни она недоверчиво поглядела

на отца, всмотрелась в его упрямое, энергичное лицо — и испугалась. Как страшно было бы противоречить ему. И какие у нее шансы победить в этой борьбе? Но почему Стив ничего не сказал? Теперь уже слишком поздно. Почему он не заговорил тогда, под деревом хау в Ваикики?

Тут сердце у нее сжалось — она поняла, почему он молчал. Что такое она слышала на днях? Ах да, это было за чаем у миссис Стертон, в тот день, когда дамы из миссионерского общества принимали жен и дочерей сенаторов. Вопрос задала миссис Ходжкинс, высокая блондинка. Дороти отчетливо вспоминала все — широкую террасу, тропические цветы, бесшумно снующих слуг-азиатов, жужжание женских голосов — и вопрос, какой задала миссис Ходжкинс, разговаривавшая неподалеку от нее. Миссис Ходжкинс провела несколько лет на материке и теперь, видимо, осведомлялась об островитянках, друзьях своей молодости.

— Как поживает Сюзи Мэйдуэлл? — вот вопрос, который она задала.

— О, мы с ней больше не встречаемся; она вышла замуж за Вилли Кьюпеля, — ответила другая островитянка.

А жена сенатора Берида расхохоталась и пожe-

лала узнать, почему замужество Сюзи Мэйдуэлл оттолкнуло от нее друзей.

— Он — хапа-хаоле, — последовал ответ, — полукровка, а мы, жители островов, должны думать о наших детях.

Дороти повернулась к отцу, решив его испытать.

— Папа, если Стив приедет когда-нибудь в Соединенные Штаты, может он навестить нас?

— Кто? Стив?

— Да, Стив Найт, ты его знаешь. Еще и пяти минут не прошло, как ты с ним попрощался. Можно ему навестить нас, если он когда-нибудь приедет в Соединенные Штаты?

— Конечно, нет, — отрезал Джереми Сэмбрук. — Стивен Найт — хапа-хаоле, а ты знаешь, что это значит.

— О! — чуть слышно сказала Дороти, и немое отчаяние сдавило ей сердце.

Она не сомневалась, что Стив не был хапа-хаоле, но не знала, что в его крови была капелька, согретая тропическим солнцем, и этого достаточно, чтобы отпал вопрос о браке. Странный мир! Вот, например, почтенный Клегхорн женился на темнокожей принцессе из рода Камехамеха, однако все почитают за честь знакомство

с ним, и самые аристократические женщины из ультра-аристократического миссионерского общества заходят к нему на чашку чая. А вот Стив... Никто не возражал против того, чтобы он учил ее плавать во время прибоя и помогал ей пробираться по опасным тропинкам на кратере Килауэ. Он мог обедать с ней и с ее отцом, мог с ней танцевать и быть членом увеселительного комитета, но жениться на ней не мог, ибо в его жилах струилось тропическое солнце.

Это не бросалось в глаза. Внешний вид не указывал на его происхождение. Он был так красив! Его образ запечатлелся в ее памяти, и бессознательно она с удовольствием вспоминала его грациозное великолепное тело, могучие плечи, силу, с какой он подсаживал ее в седло, нес по грохочущим валам прибоя или втаскивал за конец альпийской палки на хребет застывшей лавы, — на горе, называемой Храмом Солнца. Вспоминалось и еще что-то — более неуловимое и таинственное, только теперь осознанное ею, — вспоминалось то ощущение близости мужского существа, мужчины — настоящего мужчины, какое она испытывала в его присутствии. Она пришла в себя, смущенная, стыдясь своих мыслей. Горячая кровь окрасила ее щеки и быстро

отхлынула к сердцу: Дороти побледнела, вспомнив о том, что никогда больше его не увидит. Нос парохода уже повернулся к морю, и палуба поравнялась с концом набережной.

— Вон Стив, — сказал отец. — Помаши ему рукой, Дороти.

Стив смотрел на нее горящими глазами и в ее лице увидел то, чего не видал раньше. Он весь светился радостью; теперь она знала, что он понял. В воздухе дрожала песня:

Тебе — моя любовь,

Моя любовь с тобой, пока мы не встретимся снова.

Не нужно было слов, чтобы понять друг друга. Стоявшие вокруг нее пассажиры бросали свои гирлянды друзьям на набережной. Стив поднял руки, и глаза его молили. Она сняла через голову свою гирлянду, но цветы переплелись с ниткой восточного жемчуга, которую Мервин, старый сахарный король, надел ей на шею, когда вез ее с отцом на пристань.

Она дергала жемчуг, перепутавшийся с цветами. Пароход неуклонно шел вперед. Она как раз поравнялась со Стивом. Нужно было решиться. Еще секунда — и он останется позади. Она

всхлипнула, и Джереми Сэмбрук вопросительно взглянул на нее.

— Дороти! — крикнул он резко.

Она решительно рванула нитку — жемчужины и цветы дождем посыпались на ожидавшего возлюбленного. Она смотрела на него, пока слезы не затуманили ее глаз, потом спрятала лицо на плече Джереми Сэмбрука, который позабыл о своей любимой статистике, удивляясь тому, что малышки так хотят стать взрослыми.

Толпа продолжала петь. Песня, все отдаляясь, звучала слабее, но по-прежнему в ней трепетала чувственная, любовная нега Гавайев. Слова, словно кислота, жгли сердце Дороти, ибо в них была ложь:

Алоха оэ, Алоха оэ, е ке о наона но хо ик липо,

Нежные объятия, ахои аэ ау, пока мы не встретимся снова.

Чун А-чун

Ничего замечательного не было в наружности Чун А-чуна. Как большинство китайцев, он был невысок, узок в плечах и худощав. Любой турист, взглянув на него случайно на улицах Гонолулу, решил бы, что видит добродушного маленького китайца — по-видимому, владельца преуспевающей прачечной или портняжной мастерской. Что касается добродушия и преуспевания, заключение было бы правильным, но оценка была неполной: добродушие Чун А-чуна равнялось его богатству, а ни один человек не знал и десятой доли размеров его богатства. Всем было известно, что он чудовищно богат, но в данном случае «чудовищно» являлось лишь символом неизвестного.

У Чун А-чуна были острые черные глазки бусинками, такие маленькие, что казались пробуравленными дырочками. Но они были широко расставлены и ютились подо лбом, который был лбом мыслителя. Ибо Чун А-чун занимался своими проблемами, занимался ими всю жизнь. Нельзя сказать, что они его тревожили. И в бытность свою кули, и теперь, когда он стал

архимиллионером, распоряжавшимся судьбой многих людей, он всегда был настроен одинаково: всегда пребывал в состоянии возвышенного равновесия и душевного покоя, а удачи и невзгоды на него не влияли. Он принимал все — удары надсмотрщика на сахарной плантации и понижение цен на сахар, когда самые плантации стали его собственностью. Стоя на незыблемой скале спокойного довольствия, он овладевал проблемами, с какими редко кто сталкивался, а реже всех — китайский крестьянин.

А-чун же был китайским крестьянином, рожденным всю жизнь трудиться, как животное, на полях, но волею судьбы ускользнувший от этих полей, словно принц в сказке. А-чун не помнил своего отца, мелкого фермера, жившего неподалеку от Кантона; не помнил он и матери, которая умерла, когда ему было шесть лет. Зато он прекрасно помнил своего уважаемого дядю А Ку, на которого работал с шести до двадцати четырех лет. Вот тут-то он и улизнул, заключив на три года контракт, по которому обязывался работать в качестве кули на большой сахарной плантации в Шаваи за поденную плату в пятьдесят центов.

А-чун был очень наблюдателен. Он подмечал такие мелочи, каких не заметил бы и один из ты-

сячи. Три года работал он на полях, а к концу этого срока знал об обработке сахарного тростника больше, чем надсмотрщики и даже сам главный надзиратель; последний подивился бы знаниям тощего маленького кули, изучившего все приемы обработки сахара на заводе. Но А-чун изучал не только обработку сахара; он старался уяснить себе, каким образом люди делаются владельцами сахарных заводов и плантаций. Один вывод он сделал рано: люди не богатеют от работы своими руками. Это он знал, ибо сам трудился около двадцати лет. Богатеет тот, кто пользуется руками других людей, и чем больше его же собратьев на него работают, тем он богаче.

Вот почему, по прошествии трех лет, А-чун поместил свои сбережения в маленькую импортную фирму, вступив в компанию с китайцем А-янгом. Впоследствии фирма превратилась в крупное предприятие «А-чун и А-янг» и торговала всем, начиная с индийского шелка и женьшеня и кончая вербовочными бумагами и целыми островами с гуано. В то же время А-чун нанялся работать поваром. Он был мастером своего дела и через три года получал больше, чем остальные повара Гонолулу. Карьера его была обеспечена, и Дантен, его хозяин, заявил ему, что он дурак, если

бросает такое дело. Но А-чун свою выгоду понимал, за что хозяин обозвал его круглым дураком и сверх жалованья подарил пятьдесят долларов.

Фирма «А-чун и А-янг» процветала, и А-чуну не нужно было работать поваром. То была пора расцвета для Гавайев. Усиленно разводили сахарный тростник, и ощущался недостаток в рабочих руках. А-чуну представился благоприятный случай, он не упустил его и занялся импортом рабочих. Он привез из Гавайев тысячи китайских кули, и богатство его возросло. Он начал пускать в оборот свой капитал. Его черные глазки-бусинки усматривали выгоду там, где ждали банкротства. За гроши он купил рыбный садок, впоследствии давший ему пятьсот процентов барыша, и тем положил начало монополизации рыбного рынка Гонолулу. Речей для газет он не произносил, политикой не занимался, не играл в революцию, но в предугадывании событий был дальновиднее и зорче чем те, кто эти самые события фабриковал. Мысленно он представлял себе Гонолулу современным городом, залитым электрическим светом, а в те времена Гонолулу был лишь расползавшимся, неопрятным песчаным местечком на бесплодном рифе высокой скалы. А-чун стал покупать землю. Он покупал ее

у торговцев, нуждавшихся в наличных деньгах, у неимущих туземцев, у купеческих сынков-кутил, у вдов, сирот и прокаженных, отправлявшихся на Молокаи. И вышло так, что по истечении нескольких лет купленные им участки понадобились под склады, амбары или отели. Он отдавал в аренду, покупал, продавал и снова покупал.

Подворачивались и другие дела. Он доверил свои деньги некоему Паркинсону, дезертиру-капитану, которому никто не доверял. А Паркинсон на маленькой «Веге» отправился в таинственное путешествие. О Паркинсоне он заботился, пока тот не умер, а много лет спустя Гонолулу был поражен вестью о том, что Дрейк и Экорн, острова с гуано, проданы Британскому фосфатному тресту за три четверти миллиона. Когда же наступили изобильные, хмельные дни правления короля Калакауа, А-чун заплатил триста тысяч долларов за право торговать опиумом. Хотя ему и пришлось уплатить за монополию треть миллиона, но деньги были помещены хорошо, ибо доходы позволили ему купить плантацию Калалау, которая в течение семнадцати лет приносила ему тридцать процентов прибыли и была продана за полтора миллиона.

Задолго до этого, при династии Камехамехов,

он служил своей родине как китайский консул — должность, не лишенная кое-каких выгод; а при Камехамехе IV переменил подданство и стал гражданином Гавайев, чтобы жениться на Стелле Аллендейл, которая была подданной темнокожего царька, хотя в жилах ее текло больше англосаксонской, чем полинезийской, крови. Самые разнообразные примеси были в ее крови, некоторые из них в пропорции — один к восьми и один к шестнадцати. В этой последней пропорции влилась в нее, например, кровь прабабки ее — Паа-ао — принцессы Паа-ао из рода царей. Прадед Стеллы Аллендейл, некий капитан Блант, английский авантюрист, служил при Камехамехе I и удостоился звания вождя. Ее дед был капитаном китобойного судна из Нью-Бедфорда, а в отце смешалась кровь итальянцев и португальцев с чистой английской кровью. Супруга А-чуна, гавайская подданная, скорее принадлежала к одной из этих трех национальностей.

И в это смешение рас А-чун внес монгольскую кровь. Таким образом, его дети от миссис А-чун были на одну тридцать вторую — полинезийцы, на одну шестнадцатую — итальянцы, на одну шестнадцатую — португальцы, наполовину — китайцы и на одиннадцать тридцать вторых

— англичане и американцы. Очень возможно, что А-чун воздержался бы от брака, если бы мог предвидеть, какое удивительное потомство произойдет от этого союза, а удивительным оно было во многих отношениях. Прежде всего, по количеству. А-чун стал отцом пятнадцати сыновей и дочерей, преимущественно дочерей. Сначала появились на свет сыновья — три сына, затем, в нерушимой последовательности, дюжина дочерей. Результат скрещивания рас оказался превосходным. Потомство было не только многочисленным, но и здоровым, без малейшего изъяна, и поражало своей красотой. Все девушки были красивы — нежные, эфирные красавицы. Закругленные линии мамаши А-чун словно сгладили угловатость тощего папаши А-чуна, и дочери вышли стройные, но не сухопарые; полные, но не толстые. В каждом лице что-то смутно напоминало Азию, но на всех лежал отпечаток Старой и Новой Англии и Южной Европы. Ни один наблюдатель, предварительно не осведомленный, не сумел бы подметить в их жилах значительную примесь китайской крови, тогда как наблюдатель осведомленный тотчас же уловил бы ее отпечаток.

В красоте дочерей А-чуна было что-то новое, до

сей поры невиданное. Они удивительно походили друг на друга, и в то же время красота их была резко индивидуальна. Невозможно было спутать одну с другой. И тем не менее — Мод, голубоглазая и белокурая, тотчас же заставляла вспоминать Генриетту, оливковую брюнетку с большими темными и томными глазами и черными, синевой отливающими волосами. Сходство, примиряющее все различия, было лептой А-чуна. Он заложил фундамент, на который наложили отпечаток все расы. Он дал тонкокостный китайский скелет, который саксонская, латинская и полинезийская плоть облекла нежным покровом.

У миссис А-чун были свои взгляды на жизнь, и А-чун считался с ними, поскольку они не нарушали его философского спокойствия. Она привыкла жить на европейский лад. Прекрасно! А-чун подарил ей европейский дом. Позже, когда сыновья и дочери подросли и могли ему советовать, он построил огромный бунгало, столь же непретенциозный, сколь великолепный. С течением времени на горе Танталус вырос дом, в котором семья могла спасаться, когда дул с юга «дурной ветер». А в Ваикики он построил на берегу дачу и так удачно выбрал для этой цели большой участок земли, что впоследствии, когда прави-

тельство Соединенных Штатов постановило возвести здесь крепость, отчуждение принесло А-чуну огромную сумму денег. Во всех его домах имелись бильярдные, курительные и многочисленные комнаты для гостей, ибо изумительное потомство А-чуна склонно было жить на широкую ногу. Обстановка была до экстравагантности проста. Благодаря утонченным вкусам потомства огромные суммы тратились не напоказ.

На воспитание детей А-чун не скупился. «О расходах не думайте, — говорил он в былые дни Паркинсону, когда этот ленивый моряк не видел нужды совершенствовать «Вегу». — Ваше дело — управлять шхуной, мое — платить по счетам». Так же он относился и к воспитанию своих сыновей и дочерей. Им следовало получить образование, а не думать о расходах. Гарольд, старший, побывал в Гарварде и Оксфорде; Альберт и Чарльз учились в Иэйле, а дочери, от старшей и до младшей, обучались в калифорнийской семинарии Миллз, а оттуда переходили в Вассар, Уэллсли или Брин Маур. Некоторые пожелали закончить образование в Европе. И со всех концов света сыновья и дочери возвращались к А-чуну и давали ему советы по украшению скромных в своем великолепии резиденций. Сам А-чун предпочитал

восточную роскошь и блеск, но, будучи философом, прекрасно понимал, что вкус его детей соответствует стандартам Запада.

Конечно, его дети не были известны как дети А-чуна. Подобно тому как он сам из кули превратился в мультимиллионера, так и эволюционизировало его имя. Мамаша А-чун писала свою фамилию — «А'Чун», а более мудрые ее отпрыски выбросили апостроф и стали писать — «Ачун». А-чун не протестовал. Правописание его имени нимало не нарушало его благоденствия и философского спокойствия. Кроме того, он не был горд. Но когда дети его поднялись на высоту крахмальных рубашек, твердых воротничков и сюртуков, пострадали и его благоденствие, и его спокойствие. А-чун и слышать об этом не хотел. Он предпочитал свободную китайскую одежду, и ни лаской, ни угрозами они ничего не могли от него добиться. Они применяли оба метода, но последний оказался особенно неудачным. Недаром побывали они в Америке, где познали силу бойкота, которым пользуются организованные рабочие. Теперь с помощью мамаши А'Чун они стали бойкотировать своего отца, Чун А-чуна в его же собственном доме. Но А-чун, хотя и не искушенный в западной культуре,

был знаком с постановкой рабочего вопроса на Западе. Тотчас же он объявил локаут[9] своему мятежному потомству и заблуждавшейся жене. Рассчитал многочисленных слуг, запер дома и конюшни и переехал в Королевский гавайский отель, главным пайщиком которого он являлся. Переполошившаяся семья гостила у друзей, а А-чун спокойно занимался своими многочисленными делами, курил свою длиннейшую трубку с крохотной серебряной чашечкой на конце и размышлял над проблемой своего удивительного потомства.

Эта проблема не нарушала его покоя. Он рассудил по-философски, что сумеет разобраться в ней, когда она созреет. Тем временем он внедрял в детей сознание того, что, несмотря на всю свою сговорчивость, он тем не менее остается абсолютным диктатором семейства. Семья держалась неделю, затем вернулась в бунгало вместе с А-чуном и многочисленными слугами. И с тех пор никто не возражал, когда А-чун в голубом шелковом халате, ватных туфлях и черной шел-

[9] notes: 9

Локаут — массовое увольнение рабочих и закрытие фабрик, практикуемое предпринимателями по взаимному соглашению для борьбы с рабочими, с целью заставить их отказаться от выставляемых ими экономических требований.

ковой шапочке с красной пуговкой на макушке появлялся в своей блестящей гостиной или же курил на широкой веранде или в курительной свою тонкую трубку с серебряной чашечкой в обществе офицеров и штатских, куривших папиросы и сигары.

А-чун занимал исключительное положение в Гонолулу. Никогда не появляясь в обществе, он, однако, всюду был принят. За исключением китайских торговцев, никого не посещал, но многих принимал у себя дома и занимал центральное место, сидя во главе стола. Он, китайский крестьянин, главенствовал над самыми культурными и утонченными людьми островов. И не нашлось на островах ни одного человека, слишком гордого для того, чтобы не переступить порог его дома и не принимать его гостеприимства. Объяснялось это, во-первых, тем, что дом А-чуна был поставлен на аристократическую ногу; во-вторых, сам А-чун был лицом очень влиятельным. И, наконец, все знали его, как безупречно нравственного человека и честного дельца. Своей суровой, неподкупной честностью А-чун затмил всех дельцов Гонолулу, хотя по сравнению с жителями материков они были людьми честными. Вошло в поговорку, что его слово стоит расписки. Он чув-

ствовал себя связанным и без расписки и слову своему никогда не изменял. Через двадцать лет после смерти Хотчкиса, главы фирмы «Хотчкис и Мортерсон», среди старых бумаг нашли запись о ссуде А-чуну тридцати тысяч долларов. Эту сумму А-чун получил в бытность свою тайным советником при Камехамехе II. В те угарные годы расцвета и погони за наживой А-чун совершенно позабыл об этом деле. Никакой расписки не оказалось, и нельзя было предъявить ему иск, но А-чун расплатился сполна с фирмой Хотчкис, добровольно уплатив сложные проценты, значительно превышавшие капитал. И еще один пример: когда самые большие пессимисты считали излишним какие бы то ни было поручительства за выполнение обязательств по проведению канала Какику, он, А-чун, поручился за это злополучное предприятие словом; и вот каков был доклад секретаря лопнувшего предприятия, секретаря, которого послали разузнать намерения А-чуна, хотя на благоприятный исход не было никакой надежды: «Джентльмены, он и глазом не моргнул — сразу подписал чек на двести тысяч». И много можно привести подобных примеров, свидетельствующих о нерушимости его слова, но этого мало: вряд ли на островах нашелся бы хоть один

человек с положением, которому А-чун не оказал бы финансовой помощи.

Вот почему весь Гонолулу внимательно следил, как его семейные отношения превратились в сложную проблему, и втайне ему сочувствовал, ибо никто не мог себе представить, как поступит в данном случае А-чун. Но А-чун разбирался в проблеме лучше, чем они. Ему одному было известно, до какой степени он чужд своей семье. Даже его собственная семья этого не подозревала. Он знал, что ему нет места среди удивительных отпрысков, и, думая о надвигающейся старости, понимал, что с годами еще дальше отойдет от семьи. Детей своих он не понимал. Они говорили о том, что его не интересовало и чего он не знал. Культура Запада прошла мимо него. Он был азиатом до мозга костей, иными словами — язычником, и христианство казалось ему бессмыслицей. Однако он готов был игнорировать это как что-то чуждое и к делу не относящееся, если бы только мог понять своих детей. Когда Мод говорила ему, что на расходы по хозяйству требуется тридцать тысяч в месяц, он это понимал, как понимал и просьбу Альберта дать ему пять тысяч, чтобы купить двухмачтовую яхту «Мюриэль» и стать членом яхт-клуба. Но более

сложные желания и мысли детей сбивали его с толку и вскоре он понял, что духовная жизнь всех его сыновей и дочерей является запутанным лабиринтом, в котором ему никогда не разобраться. Он вечно наталкивался на стену непонимания.

По мере того как шли годы, его все сильнее влекло к людям его расы. Дым и чад китайского квартала казались ему благовониями. Проходя по улице, он с наслаждением принюхивался к ним, ибо они напоминали ему узкие извилистые переулки Кантона с их сутолокой и движением. Он с сожалением вспоминал о своей косе, которую отрезал в угоду Стелле Аллендейл в дни жениховства, и серьезно размышлял, не выбрить ли макушку и не отрастить ли новую косу. Кушанья, которые изготовлял для него дорогой повар, не доставляли ему такого удовольствия, как жуткие месива, подаваемые в душном ресторане китайского квартала. Гораздо приятнее было ему покурить и поболтать с полчасика со своими приятелями-китайцами, чем председательствовать за роскошными и изысканными обедами, какими славился его бунгало, где собиралось самое избранное общество. Американцы и европейцы сидели за длинным столом, причем мужчины и женщины были на равных правах. В затененном

свете ламп сверкали бриллианты на белых шеях и руках женщин; мужчины являлись в вечерних костюмах. Все болтали и смеялись неинтересным для него остротам.

Но не только его отчужденность и желание вернуться к родной китайской кухне составляли ядро проблемы. Сюда входило также и его богатство. Он жил надеждой на мирную старость. Много поработав на своем веку, он ждал в награду мира и отдыха. Однако он знал, что с его огромным состоянием невозможно надеяться на мир и отдых. Замечались уже кое-какие зловещие признаки. Нечто подобное приходилось ему наблюдать и раньше. У его бывшего хозяина Дантена дети, затеяв процесс, вырвали из рук управление имуществом, и суд назначил над ним опеку. А-чун прекрасно знал, что, будь Дантен бедняком, суд нашел бы его способным вести дела. А у старика Дантена было всего лишь трое детей и полмиллиона, тогда как у него — А-чуна — пятнадцать отпрысков, а сколько миллионов, про то знал лишь он один.

— Наши дочери — красивые девушки, — сказал он как-то вечером своей жене. — Молодых людей много. Дом полон ими. Мои счета за сигары очень велики. Почему же они не выходят замуж?

Мамаша А'Чун пожала плечами.

— Женщина — всегда женщина, а мужчина — мужчина. Странно, что они не выходят замуж. Может быть, молодым людям наши дочери не нравятся?

— Ах, нравиться-то нравятся, — отвечала мамаша А'Чун, — но видите ли, они не могут забыть, что ты их отец.

— Однако ты ведь забыла, кто был моим отцом, — серьезно сказал А-чун. — Ты только попросила меня отрезать косу.

— Должно быть, молодые люди требовательнее, чем была я.

— Что вы почитаете самым великим на свете? — неожиданно спросил А-чун.

Мамаша А'Чун минутку подумала и ответила:

— Бога.

Он кивнул:

— Боги бывают разные — и бумажные, и деревянные, и бронзовые. Мне в конторе один маленький божок служит как пресс-папье.

— Но есть только один Бог, — решительно заявила она.

А-чун подметил признаки опасности и уклонился.

— Что же в таком случае сильнее Бога? — спро-

сил он. — Могу вам сказать: деньги. В свое время я имел дело с евреями и христианами, магометанами и буддистами и маленькими черными людьми с Соломоновых островов и Новой Гвинеи, которые заворачивали своих богов в промасленную бумагу и с ними не расставались. Боги у них были разные, но все эти люди поклонялись деньгам. У нас бывает капитан Хиггинсон. Ему как будто нравится Генриетта.

— Он никогда на ней не женится, — возразила мамаша А'Чун. — Он станет адмиралом.

— Контр-адмиралом, — перебил А-чун. — Знаю. Они все уходят в отставку контр-адмиралами.

— Его семья в Соединенных Штатах занимает высокое положение. Им не понравится, если... если он женится не на американке.

А-чун вытряхнул пепел из трубки, наполнил серебряную чашечку табаком, затем зажег трубку, затянулся и тогда только заговорил:

— Генриетта — старшая. В день свадьбы я дам ей триста тысяч долларов. На эту удочку пойдет и капитан Хиггинсон и вся его знатная родня. Предоставляю тебе довести это до его сведения.

А-чун сидел и курил, а в завитках дыма вырисовывались перед ним лицо и фигура Той Шей, служанки в доме его дяди в кантонской деревне; у

нее всегда было полно работы, и за такую работу она получала один доллар в год. В завитках дыма он увидел и самого себя, юношу, восемнадцать лет возделывавшего за такую же примерно плату поля своего дяди. А теперь он, А-чун, крестьянин, дает в приданое своей дочери триста тысяч лет такого труда. А ведь она — лишь одна из дюжины дочерей. При этой мысли он не возгордился. Ему пришло в голову, что он живет в забавном, причудливом мире, и он громко захихикал и испугал мамашу А'Чун, предавшуюся грезам; эти грезы, как он знал, скрывались в тайниках ее сердца, куда ему не было доступа.

Но слова А-чуна достигли своей цели, и капитан Хиггинсон, позабыв о контр-адмиральстве и знатной семье, взял в жены триста тысяч долларов и утонченную, образованную девушку, которая была на одну тридцать вторую полинезийкой, на одну шестнадцатую итальянкой, на одну шестнадцатую португалкой, на одиннадцать тридцать вторых англичанкой и американкой и наполовину китаянкой.

Щедрость А-чуна возымела свое действие. Все его дочери вдруг сделались желанными невестами. За Генриеттой последовала Клара, но когда секретарь Территории формально сделал ей

предложение, А-чун уведомил его, что ему придется подождать своей очереди, ибо Мод старше и должна выйти замуж раньше сестры. То была тонкая политика. Вся семья не на шутку заинтересовалась замужеством Мод, и через три месяца Мод вышла замуж за Неда Гемфриса, комиссара Соединенных Штатов по эмиграции. И он и Мод были недовольны, получив в приданое только двести тысяч. А-чун объяснил свою первоначальную щедрость желанием пробить лед.

За Мод последовала Клара, а затем в течение двух лет в бунгало справляли свадьбу за свадьбой. А-чун тем временем не зевал: вынимал помещенные им капиталы, продавал свои паи во многих предприятиях и постепенно, шаг за шагом, стараясь не вызывать падения цен на рынке, распродал свои огромные поместья. Под конец он заторопился, вызвал падение цен и продал себе в убыток. Такая спешка объяснялась грозовыми тучами, подмеченными им на горизонте. Когда выходила замуж Люсиль, эхо раздоров достигло его слуха. Атмосфера стала сгущаться от проектов и контрпроектов, имевших целью снискать его расположение или восстановить против того или другого либо всех его зятьев, кроме одного. Все это не способствовало покою и отдыху, которые

так нужны ему были на склоне лет.

Он постарался ускорить дело. Давно уже он состоял в переписке с главными банками в Шанхае и Макао. В течение нескольких лет с каждым пароходом досылались в депозит этих дальневосточных банков векселя на имя некоего Чун А-чуна. Теперь векселя подписывались на более крупные суммы. Две его младшие дочери еще не вышли замуж. Ждать он не стал, а внес в Гавайский банк по сто тысяч на имя каждой дочери с тем, чтобы до их замужества нарастали проценты. Альберт принял дела фирмы «А-чун и А-янг». Гарольд, старший, предпочел взять четверть миллиона и переехать на жительство в Англию, а Чарльз, младший, получил сто тысяч и опекуна и уехал заканчивать образование в Келу. Мамаше А'Чун был преподнесен в дар бунгало, дом на горе Танталус и приморская вилла, заменившая ту, которую А-чун продал правительству. Кроме того, мамаша А'Чун получила полмиллиона долларов, надежно помещенных.

Теперь А-чун приготовился разгрызть ядро проблемы. В одно прекрасное утро, когда вся семья собралась завтракать, — А-чун позаботился о том, чтобы при этом присутствовали все его зятья и их жены, — он объявил, что возвращает-

ся на родину своих предков. В краткой, удачно составленной речи он объяснил, что щедро обеспечил всю семью, а затем дал им наставления, следуя которым, они, по его мнению, будут жить в мире и согласии. Далее он снабдил деловыми советами своих зятьев, поговорил на тему о выгодах умеренной жизни и надежного помещения капитала и поделился своими энциклопедическими познаниями в области промышленности и торговли Гавайев. Затем потребовал экипаж и в сопровождении плачущей мамаши А'Чун поехал на тихоокеанский пароход. В бунгало началась паника. Исступленный капитан Хиггинсон хотел его задержать. Дочери заливались слезами. Один из мужей, бывший федеральный судья, усомнился в здравом уме А-чуна и поспешил к соответствующим властям, чтобы получить на этот счет сведения. Вернувшись, он сообщил, что А-чун побывал накануне в комиссии, потребовал освидетельствования и блестяще выдержал испытание.

Делать было нечего, и все отправились на пристань попрощаться с маленьким старичком, который, стоя на палубе, махал им рукой, пока огромный пароход пробирался среди коралловых рифов.

Но маленький старичок ехал не в Кантон. Слишком хорошо знал он свою родину и гнет мандаринов, чтобы явиться туда с оставшимся у него солидным состоянием. Он держал путь на Макао. А-чун долго пользовался властью, равной королевской, и привык повелевать, как король. Когда по прибытии в Макао он явился в контору самого большого европейского отеля, клерк перед самым его носом захлопнул книгу. Китайцам доступ был воспрещен. А-чун вызвал управляющего и встретил столь же дерзкий прием. Он уехал, чтобы вернуться через два часа. Призвал клерка и управляющего, дал им месячное жалованье и уволил. Он сделался владельцем отеля и проживал в лучших комнатах в течение многих месяцев, пока строился для него роскошный пригородный дворец. С никогда не изменившим ему умением он поднял за это время доходность своего большого отеля с трех до тридцати процентов.

Дрязги, от которых бежал А-чун, не замедлили последовать. Одни зятья неудачно поместили свои капиталы, другие сорили деньгами, проживая приданое своих жен. По уходе А-чуна они обратили взоры на мамашу А'Чун и ее полмиллиона, что не способствовало нежным чувствам. Адвокаты жирели от всей этой процедуры по

утверждению раздела. Иски и встречные иски затопляли гавайские суды. Не обошлось и без привлечения к уголовной ответственности. Происходили бурные столкновения, сопровождавшиеся обменом увесистыми словами и еще более увесистыми ударами. Бывало и так, что швырялись цветочными горшками, подкреплявшими крылатое словечко. Возбуждались иски по обвинению в клевете и проходили через все инстанции, а свидетельские показания возбуждали живейшее любопытство во всем Гонолулу.

В своем дворце, окруженный всей роскошью Востока, А-чун мирно курит свою трубку и прислушивается к смятению за морями. С каждым почтовым пароходом отправляется из Макао в Гонолулу письмо, написанное на безупречном английском языке и отпечатанное на американской машинке. В этих письмах А-чун преподает своей семье благие советы и наставления, как жить в мире и согласии. Сам же он стоит в стороне от всех этих дел и чувствует себя прекрасно. Он добился спокойствия и отдыха. Иногда он хихикает и потирает руки, а черные раскосые его глазки весело поблескивают при мысли об этом забавном мире. Ибо от всей его жизни и философии остается у него одно только убеждение

— этот мир очень забавен.

Шериф Коны

— Поневоле полюбишь этот климат, — сказал Кадуорт в ответ на мой восторженный отзыв о береге Коны. — Я приехал сюда восемнадцать лет назад совсем юношей, только что окончившим колледж. И с этих пор не уезжал, разве что изредка заглядывал на родину. Предупреждаю вас: если дорого вам какое-либо местечко на земле, не мешкайте здесь слишком долго, а то этот уголок земного шара покажется вам всего дороже.

Мы только что отобедали на широкой террасе, единственной, обращенной на север, хотя при исключительном климате Коны это обстоятельство никакого значения не имеет.

Потушили свечи, и гибкий, одетый в белое слуга-японец, словно привидение, скользнул в серебристом лунном сиянии, подал нам сигары и растаял во мраке бунгало. Сквозь листву банановых пальм и деревьев легуа я смотрел вниз, туда, где за зарослями гуавы раскинулось спокойное море: наш бунгало возвышался на тысячу футов над его уровнем. Целую неделю, с тех пор как я сошел на берег с крохотного каботажного пароходика, я жил у Кадуорта, и за все это вре-

мя ветер не волновал безмятежной глади моря. Правда, дули легкие бризы, но это были самые нежные зефиры, когда-либо веявшие летом над островами. Их нельзя было назвать ветрами: то были вздохи — протяжные, легкие благовонные вздохи отдыхающего мира.

— Страна лотоса, — сказал я.

— Где один день похож на другой и каждый день исполнен райского блаженства, — отозвался он. — Никогда ничего не случается. Не слишком жарко. Не слишком холодно. Все в меру. Вы обратили внимание, как дышат по очереди земля и море?

Действительно, я подметил это упоительное, ритмическое дыхание. Каждое утро я наблюдал, как морской ветерок, поднимаясь у берега, обвевал землю нежной струей озона и медленно уходил к морю. Играя над морем, он слегка затемнял его поверхность, и всюду виднелись длинные полосы глади, изменчивые, переливчатые, струящиеся под капризными поцелуями ветра. А каждый вечер я видел, как замирало в небесном покое дыхание моря и сквозь листву кофейных деревьев и баобабов слышалось слабое дыхание земли.

— Это страна вечного штиля, — сказал я. — Дует

здесь когда-нибудь ветер? Дует ли по-настоящему? Вы понимаете, о чем я говорю.

Кадуорт покачал головой и указал на восток.

— Как может он дуть, когда его останавливает такой барьер?

Высоко вздымались громады гор Мауна-Кеа и Мауна-Лоа, как будто заслоняя половину звездного неба. На высоте двух с половиной миль над нашими головами они возносили свои вершины, покрытые белым снегом, и тропическое солнце бессильно было его растопить.

— Бьюсь об заклад, что в тридцати милях отсюда ветер в данный момент дует со скоростью сорока миль в час.

Я недоверчиво улыбнулся.

Кадуорт подошел к телефону на террасе. Он вызвал сначала Уаймею, потом Кохалу и Гамакуа. По обрывкам разговоров я понял, что ветер дует: «Налетает и сбивает с ног, да?.. И давно?.. Всего неделю?.. Алло, Эйб, это вы?.. Да, да… А вы все-таки разводите кофе на берегу Гамакуа… К черту ваши щиты! Вы бы посмотрели на мои деревья!»

— Ураган, — сказал он, повесив трубку и оборачиваясь ко мне. — Я всегда вышучиваю Эйба и его кофе. Его плантации тянутся на пятьсот акров, и он творит чудеса со своими щитами от

ветра, но все же я не понимаю, каким образом он удерживает корни в земле. Дует ли там ветер? Да, со стороны Гамакуа всегда дует ветер. Кохала говорит, что шхуна под двойными рифами пробивается вверх по каналу между Гавайей и Мауи и ей трудно приходится.

— Как-то не представляешь себе этого, — неуверенно сказал я. — Неужели как-нибудь в обход сюда не может проникнуть хотя бы дуновение того ветра?

— Ни вздоха. Наш береговой ветер никакого отношения к нему не имеет, ибо начинается по эту сторону Мауна-Кеа и Мауна-Лоа. Видите ли, земля излучает тепло быстрее, чем море, и ночью обвевает море своим дыханием. А днем земля нагревается сильнее, и тогда дышит море… Слушайте! Вот поднимается дыхание земли, горный ветер.

Я слышал, как, приближаясь, он мягко шелестел в кофейных деревьях, шевелил листву баобабов и вздыхал в сахарном тростнике. На террасе все еще было тихо. Затем донеслось первое дуновение горного ветра, слабо ароматное, душистое, пряное и прохладное, упоительно прохладное. То была ласкающая, хмельная прохлада, свойственная одному только горному ветру Коны.

— Вы теперь не удивляетесь, что я восемнадцать лет назад влюбился в Кону? — спросил Кадуорт. — Теперь я не мог бы отсюда уехать. Думаю, я бы умер. Во всяком случае, это было бы ужасно. Был и еще один человек, который любил Кону так же, как и я. Пожалуй, он любил ее еще больше, так как родился здесь, на этом побережье. Он был великий человек, лучший мой друг, больше, чем брат мне. Но он уехал — и не умер.

— Любовь? — осведомился я. — Женщина?

Кадуорт отрицательно покачал головой.

— И никогда он не вернется, хотя сердце его останется здесь до самой смерти.

Он замолчал и посмотрел вниз, на береговые огни Каула. Я молча курил и ждал.

— Он уже был влюблен… в свою жену. Трое детей у него было, и он их любил. Они живут теперь в Гонолулу. Мальчик поступает в колледж.

— Какой-нибудь опрометчивый поступок? — нетерпеливо спросил я.

Он снова покачал головой.

— Ни в чем преступном он не был виновен, и ни в чем его не обвиняли. Он был шерифом Коны.

— Вы хотите быть парадоксальным, — сказал я.

— Пожалуй, мои слова похожи на парадокс, —

согласился он. — Это сущее проклятие.

Секунду он смотрел на меня испытующе, затем неожиданно начал рассказ.

— Он был прокаженный. Нет, он не родился с проказой; никто с ней не рождается. Болезнь настигла его. Этот человек… Э, да не все ли равно? Его звали Лайт Грегори. Всякий камаина знает эту историю. Родом он был американец, а сложен, как вожди старой Гавайи, ростом в шесть футов три дюйма. Чистого веса в нем было двести двадцать фунтов — все мускулы да кости, и ни на одну унцию жира. Он был самым сильным человеком, какого я когда-либо знал, — великан, атлет, бог. И мой друг. А сердце и душа его были так же прекрасны, как и тело.

Интересно, что бы вы делали, если бы увидели своего друга, брата, на скользком краю пропасти. Он скользит, скользит — и вы не в состоянии ему помочь. Вот так и было. Я ничего не мог поделать. Я видел, что оно надвигается, и был бессилен помочь. Боже мой, что я мог сделать? Болезнь наложила знак зловещий и неопровержимый на его лоб. Никто не видел этого знака. Думаю, видел я один, потому что так его любил. Я не верил своим глазам. Слишком это было чудовищно. Однако знак на нем был — на лбу, на ушах. Я

замечал, как припухли мочки ушей — чуть-чуть, совсем немного. Месяцами я наблюдал, надеялся, вопреки всему. Затем потемнела кожа над бровями — такое слабое появилось пятнышко, словно легкий налет загара. Я бы и принял его за загар, но только оно иногда как-то отсвечивало, словно блеснет на секунду и угаснет. Я старался убедить себя, что это загар, но мне это уже не удавалось. Я знал, что это значит. Никто не видел, кроме меня. Никто не подметил, кроме Стивена Калюны, но я тогда об этом не знал. Я видел, что оно надвигается — проклятие, несказанный ужас, но думать о будущем отказывался. Я боялся. Не в силах был думать. И по ночам плакал.

Он был моим другом. Вместе мы ловили акул на Ниихау. Гонялись за дикими животными на Мауна-Кеа и Мауна-Лоа. На ранчо Картера объезжали лошадей и клеймили быков. Охотились на коз в Халеакала. Он учил меня нырять и плавать в прибой, и наконец я почти сравнялся с ним в ловкости, а он был искуснее любого канака. Я видел, как он нырял на глубину тридцать ярдов и две минуты оставался под водой. В воде он чувствовал себя, как амфибия, а по горам лазил, как настоящий горец, взбираясь по тем тропинкам, где бродили дикие козы. Ничего он не боялся. Он

находился на борту «Люги», потерпевшей крушение, и проплыл тридцать миль в тридцать шесть часов при сильном шторме. Самые страшные волны, которые нас с вами превратили бы в кашу, были ему нипочем. Он был великим человеком — человек-бог. Вместе мы пережили революцию, и оба были верноподданными романтиками. Дважды он был ранен. Его приговорили к смерти, но не посмели убить такого великого человека. А он только смеялся. Впоследствии ему воздали по заслугам и назначили шерифом Коны. Он был человек простой — мальчик, который так и не сделался взрослым. И мыслительные его процессы протекали просто, без всяких вывертов. Он шел прямо к цели, а цель его всегда была проста.

Он был сангвиник. Никогда я не встречал таких доверчивых, довольных и счастливых людей. От жизни он ничего не требовал, так как ему нечего было желать. За жизнью у него не числилось недоимок. Авансом он получил наличными все сполна. Чего еще было ему желать, раз он получил такое великолепное тело, железное здоровье, иммунитет против всех обычных болезней и смиренную, чистую душу? Физически он был совершенством. Ни разу в своей жизни не болел. Понятия не имел о том, что такое головная боль.

Когда у меня болела голова, он глядел на меня с недоумением, а я невольно смеялся над его неуклюжими попытками мне посочувствовать. Головной боли он не понимал. Не мог понять. Сангвиник? Неудивительно. Мог ли он — наделенный такой чудовищной жизненной силой и невероятным здоровьем — быть иным?

Приведу один пример, чтобы показать вам, как он верил в свою звезду и как оправдалась эта вера… Он был еще юнцом — мы только что встретились, — когда сел играть в покер в Уайлуку. Среди игроков был один здоровенный немец, по фамилии Шульц, игравший заносчиво и грубо. Ему везло, и он стал совершенно невыносим, когда Лайт Грегори начал играть. Первым объявил игру Шульц, Лайт принял, как и все остальные, а Шульц заставил спасовать всех — всех, кроме Лайта. Лайту не понравился тон немца, и он в свою очередь объявил игру. Шульц повысил, Лайт отвечал ему тем же. Так они и повышали — кто кого. Ставки были весьма высокие.

А знаете, какие карты были у Лайта? Два короля и три маленьких трефы. То был не покер. Лайт не в покер играл. Он играл в свой оптимизм. Он не знал, какие карты на руках у Шульца, но все повышал, пока Шульц не взвыл, а у него было на

руках три туза. Подумайте только! Человек с парой королей заставляет трех тузов брать прикуп.

Да, Шульц прикупил две карты; сдавал другой немец, к тому же друг Шульца. Тут Лайт уже знал, что играет против трех одинаковых карт. Что же он сделал? Что бы вы сделали? Конечно, прикупили бы три карты, оставив двух королей. Но Лайт поступил иначе. Сбросил королей, оставил три маленькие трефы и прикупил две карты. Он даже не поглядел на них, а смотрел на Шульца и ждал, чтобы тот объявил игру. И Шульц объявил крупную игру. Раз у него было три туза, он знал, что победит Лайта, так как если Лайт и держал три одинаковых карты, то во всяком случае они были меньше тузов. Бедняга Шульц! Все его предпосылки были совершенно правильны. Ошибочным было лишь его заключение, что Лайт играет в покер. В продолжение пяти минут они повышали ставки, и наконец уверенность Шульца начала испаряться. А Лайт до сих пор не взглянул на свой прикуп, и Шульц это знал. Я видел, как он задумался, затем оживился и снова повысил ставку. И не выдержал напряжения.

— Стойте, Грегори, — сказал он наконец. — Я обыграл вас с самого начала. Не нужно мне ваших денег. У меня на руках…

— Все равно, что бы у вас там ни было, — перебил Лайт. — Вы не знаете, что у меня. Пожалуй, я посмотрю.

Он посмотрел и повысил ставку еще на сто долларов. Опять они стали повышать по очереди, Шульц ослабел, спасовал и открыл свои три туза. Лайт выложил свои пять карт — все одной масти: в прикупе были еще две трефы. А знаете, ведь он испортил Шульца. Тот уже не мог по-прежнему играть в покер — смелости не стало, он начал нервничать, колебаться.

— Как ты это сделал? — спрашивал я Лайта позже. — Ведь когда он прикупил две карты, ты знал, что проиграешь. А на свой прикуп ты даже не взглянул.

— И нечего было смотреть, — ответил Лайт. — Я знал, что там две трефы. Так и должно быть. Неужели ты думал, что я сдамся этому толстому немцу? Не мог он меня обыграть. Мне битым не бывать. Я должен был выиграть. Знаешь, ведь я больше всех бы удивился, не окажись у меня трефы.

Вот каков был Лайт. Быть может, этот пример даст вам возможность оценить его безграничный оптимизм. По его мнению, ему так и полагалось — преуспевать, процветать и благоденствовать.

И в данном случае, как и в десятке тысяч других, уверенность его была оправдана. В том-то и дело, что он преуспевал и благоденствовал. Вот почему он ничего не боялся. Ничего не могло с ним случиться. Он это знал, ибо никогда и ничего с ним не случалось. Когда погибла «Люга», он проплыл тридцать миль и в воде провел две ночи и день. И за это время ни на минуту не потерял надежды, ни на минуту не усомнился в спасении. Он знал, что выберется на сушу. Так он мне сам сказал, и я знаю, что это правда.

Да, таков был Лайт Грегори, человек иной породы, возвышавшийся над простыми, хилыми смертными, не ведавший болезней и невзгод. Он получал все, чего хотел. Жену — красавицу из семьи Кэрузер — он отбил у дюжины соперников. Она ему была хорошей женой, второй такой и не сыщешь. Он хотел иметь сына — и родился сын. Пожелал дочь и второго сына — тоже получил. И дети вышли крепкие, без всяких физических недостатков — грудные клетки словно маленькие бочонки; они унаследовали его здоровье и силу.

Вот тогда-то и пришла беда. На него было наложено клеймо зверя. Целый год я наблюдал. Сердце у меня надрывалось. Но он не знал, да и никто не догадывался, кроме этого проклятого

хапа-хаоле, Стивена Калюны. Тот знал, но я и не подозревал этого. Знал еще один человек — доктор Строубридж. Он был окружным врачом и зорко подмечал малейшие признаки проказы. Видите ли, в его обязанности входило освидетельствование подозрительных больных и отправка их на приемочную станцию в Гонолулу. Да и у Стивена Калюны глаз был наметан на проказу. Болезнь свирепствовала в его семье, и четверо или пятеро его родственников были уже отправлены на Молокаи.

Все началось из-за сестры Стивена Калюны; когда на нее упали подозрения, брат спровадил ее в укромное местечко, раньше чем она попала в руки доктора Строубриджа. Лайт, как шериф Коны, обязан был ее разыскивать.

В тот вечер все мы собрались в Хило, в баре Неда Остина. Когда мы вошли, Стивен Калюна был уже там. Он слегка подвыпил и настроен был сварливо. Лайт смеялся над какой-то шуткой — здоровый, счастливый смех мальчика-великана. Калюна презрительно сплюнул. Лайт, как и все остальные, заметил это, но решил не обращать внимания. Калюна искал ссоры. Личным оскорблением он считал старание Лайта разыскать его сестру. Всячески проявлял он свое неудоволь-

ствие по поводу присутствия Лайта, но тот его игнорировал. Должно быть, Лайту было чуточку его жалко, ибо самой тяжкой обязанностью шерифа был арест прокаженных. Не очень-то приятно было врываться в дом и уводить отца, мать или ребенка, ни в чем не провинившихся, а затем отправлять их в вечную ссылку на Молокаи. Конечно, это было необходимо для охраны общественного здоровья, и, думаю, Лайт первый арестовал бы родного отца, если бы возникли подозрения.

Наконец Калюна не выдержал и крикнул:

— Слушайте, Грегори, вы думаете, что вам удастся разыскать Каланивео? Ошибаетесь!

Каланивео — так звали его сестру. Лайт, услышав свое имя, взглянул на него, но ничего не ответил. Калюна взбесился. Все время он себя взвинчивал.

— Знаете, что я вам скажу? — закричал он. — Вы сами попадете на Молокаи раньше, чем вам удастся затащить туда Каланивео. Я вам скажу, кто вы такой. Вы не имеете права сидеть в компании честных людей. Очень уж вы разболтались о своем долге. Много прокаженных вы отправили на Молокаи, все время зная, что ваше место там.

Не раз видел я Лайта в гневе, но такой ярости

еще не видывал. Как вам известно, проказой у нас не шутят. Лайт одним прыжком очутился подле Калюны, вцепился ему в шею, стащил со стула и с бешенством начал его трясти, так что у полукровки зубы застучали.

— Ты что хотел сказать? — кричал Лайт. — Выплевывай живей, а то я из тебя вытряхну правду.

Как вам известно, на Западе есть одна фраза, которую следует произносить с улыбкой. Так и у нас на островах, но только наша фраза касается проказы. Калюна, может, и дурной человек, но отнюдь не трус. Как только Лайт слегка разжал руку, Калюна ответил:

— Я скажу тебе правду: ты сам — прокаженный!

Тут Лайт швырнул полукровку на стул, не причинив ему вреда, и от всей души расхохотался. Но смеялся он один. Заметив это, он оглядел нас всех. Я подошел к нему и старался его увести, но он не обращал на меня ни малейшего внимания. Он, словно зачарованный, смотрел на Калюну, который торопливо, нервно тер себе шею, как будто пытаясь смахнуть заразу, оставленную душившими его пальцами. Это были движения непроизвольные, искренние.

Лайт снова оглядел всех, медленно переводя

взгляд с одного лица на другое.

— О Боже мой, ребята! О Боже мой! — сказал он.

Он едва выговорил эти слова хриплым, испуганным шепотом. Страх сдавил ему горло, а доселе, я думаю, он не ведал, что такое страх.

Наконец его безграничный оптимизм одержал верх, и он снова рассмеялся.

— Славная шутка, кто бы ее ни придумал, — сказал он. — Выпивка за мой счет. На секунду я струхнул. Только, ребята, не повторяйте этого ни с кем. Слишком это серьезно. Уверяю вас, за одну секунду я словно тысячу раз умирал. Подумал о жене, о детях и…

Голос его оборвался, а полукровка, все еще потиравший себе шею, отвел глаза. Лайт был смущен и расстроен.

— Джон, — сказал он, поворачиваясь ко мне.

Его веселый, громкий голос звучал в моих ушах, а я не в силах был ему ответить. Слезы душили меня, к тому же я знал, что по моему лицу он может догадаться.

— Джон, — повторил он, подходя ко мне.

Он окликнул меня робко; что могло быть ужаснее робости, дрожавшей в голосе Лайта Грегори?

— Джон, Джон, что это значит? — сказал он,

а голос его звучал еще неувереннее. — Ведь это шутка, да? Джон, вот моя рука. Разве я протянул бы тебе руку, если бы был прокаженный? Разве я прокаженный, Джон?

Он протянул мне руку — и, черт возьми, чего мне было бояться? Он был моим другом. Я взял его руку, хотя сердце у меня сжалось, когда я увидел, как просветлело его лицо.

— Это была шутка, Лайт, — сказал я. — Нам вздумалось над тобой подшутить. Но ты прав. Такими вещами не шутят. И больше это не повторится.

На этот раз он не рассмеялся, а только улыбнулся, как человек, очнувшийся от страшного сна и еще не отделавшийся от тяжелого впечатления.

— Ну, ладно, — сказал он. — Не повторяйте, а я позабочусь о выпивке. Должен признаться, ребята, что вы меня на минутку опустили в самое пекло. Посмотрите, как я вспотел.

Он вздохнул, вытер потный лоб и двинулся к стойке.

— Это не шутка, — резко сказал Калюна.

Я бросил на него убийственный взгляд и готов был пристукнуть его на месте. Но не посмел ни заговорить, ни ударить. Это только ускорило бы катастрофу, а я еще лелеял безумную надежду как-нибудь ее предотвратить.

— Да, не шутка, — повторил Калюна. — Лайт Грегори, вы — прокаженный и не имеете права прикасаться к телу честных людей… к чистому телу честных людей.

Тут Грегори вскипел.

— Шутка зашла слишком далеко! Перестань, Калюна! Говорю тебе, перестань, а не то я тебя приколочу.

— Сделайте бактериологическое исследование, — отвечал Калюна, — а тогда уже бейте меня до смерти, если пожелаете. Да вы бы хоть в зеркало на себя поглядели. Сами увидите, как любой из нас… У вас делается львиное лицо. Смотрите, как потемнела кожа над глазами.

Лайт вглядывался в зеркало, и я заметил, как дрожали у него руки.

— Ничего не вижу, — сказал он наконец; затем повернулся к хапа-хаоле. — У тебя черное сердце, Калюна. И я не стыжусь сознаться, что ты испугал меня так, как ни один человек не имеет права пугать другого. Я ловлю тебя на слове: немедленно пойду и решу этот вопрос. Пойду прямо к доктору Строубриджу. А когда вернусь, берегись!

Не глядя на нас, он направился к двери.

— Подожди здесь, Джон, — сказал он, когда я вызвался его проводить.

Мы застыли на месте, словно призраки.

— Это правда, — сказал Калюна. — Сами можете увидеть.

Все поглядели на меня, а я кивнул головой. Гарри Барнли поднес было стакан к губам, но тотчас же опустил его. Половину он расплескал на стойку. Губы у него дрожали, как у ребенка, готового расплакаться. Нед Остин рылся, доставая что-то из холодильника. В действительности же ничего там не искал и вряд ли сознавал, что делает. Все молчали. Губы Гарри Барнли задрожали еще сильнее. Вдруг он рассвирепел и злобно ударил Калюну кулаком по лицу. Тот в долгу не остался. Мы не пытались их разнять. Какое нам было дело? Пусть убивает полукровку. Колотил он его изрядно. Нас это не интересовало. Я даже не помню, когда Барнли отпустил беднягу и разрешил ему уползти. Мы все были слишком потрясены.

Впоследствии доктор Строубридж рассказал мне, как это произошло. Он засиделся до позднего вечера над докладом, и в это время Лайт вошел в его кабинет. Лайт уже обрел свой оптимизм: вошел, раскачиваясь, в комнату, и хотя сердился чуточку на Калюну, но в себе был совершенно уверен. «Что мне было делать? — спросил меня доктор. — Я знал, что он болен. Несколько меся-

цев следил, как развивалась болезнь. Но ответить ему я не мог. Не в силах был сказать да. Признаться, я не выдержал и расплакался. А он молил меня сделать бактериологическое исследование. “Срежьте кусочек кожи, доктор, — повторил он снова. — Срежьте кусочек и сделайте исследование”».

Должно быть, слезы доктора Строубриджа убедили Лайта. На следующее утро «Клодина» отходила в Гонолулу. Мы поймали его уже по дороге на пристань. Видите ли, он отправлялся в Гонолулу, чтобы явиться во Врачебное управление. Мы ничего не могли с ним поделать. Слишком многих отослал он на Молокаи, чтобы самому теперь увиливать. Мы убеждали его ехать в Японию, но он и слушать не хотел.

— Должен принимать свое лекарство, ребята, — вот все, что он нам сказал. И повторял это снова и снова. Он был одержим этой одной мыслью.

Он покончил со всеми своими делами и с приемочной станции Гонолулу отправился на Молокаи. Там он чувствовал себя неважно. Врач, проживающий на Молокаи, писал нам, что Лайт превратился в ходячую тень. Видите ли, он тосковал по жене и детям… Он знал, что мы о них заботимся, но все-таки ему было горько. Месяцев

через шесть я отправился на Молокаи. Я сидел по одну сторону зеркального окна, а он — по другую. Мы смотрели друг на друга через стекло и переговаривались с помощью так называемой разговорной трубы. Но я так ничего и не добился. Он твердо решил остаться. Битых четыре часа я его уговаривал и под конец выбился из сил, да и пароход мой давал гудки.

Но примириться с этим мы не могли. Спустя три месяца мы зафрахтовали шхуну «Алкион», контрабандой провозившую опиум. Под парусами она летела, как птица. Хозяин ее, отчаянный сорвиголова, за деньги готов был на все, а мы предложили ему хорошую сумму за рейс в Китай. Он отплыл из Сан-Франциско, а через несколько дней мы вышли в море на шлюпке. То было маленькое суденышко вместимостью в пять тонн, но мы неслись на северо-восток, против ветра, со скоростью десяти миль в час. Морская болезнь? Никогда еще мне не приходилось так сильно от нее страдать. Потеряв из виду землю, мы встретили «Алкион», и мы с Барнли перебрались на шхуну.

Около одиннадцати вечера мы подошли к Молокаи. Шхуна легла в дрейф, а мы на вельботе пристали во время прибоя в Калауэо; знаете это

местечко — там умер отец Дамьен. Этот сорвиголова был храбрецом: захватив пару револьверов, он отправился с нами. Мы пересекли полуостров, пройдя около двух миль до Калаупапы. Представьте себе: глухая ночь и эти поиски в поселке среди тысячи прокаженных. Вы понимаете — если бы поднялась тревога, нас бы прикончили. Местность незнакомая, тьма — хоть глаза выколи. Выскочили собаки прокаженных, стали на нас лаять, а мы, спотыкаясь, бродили вокруг, пока не заблудились.

Сорвиголова спас положение. Он направился к первому дому, стоящему особняком. Мы заперли дверь и зажгли свет. Там было шесть прокаженных. Мы разбудили их, и я обратился к ним на их языке. Мне нужен был кокуа. Кокуа в буквальном переводе означает — помощник, туземец, не зараженный проказой, который живет в поселке и получает жалованье от Врачебного управления; в его обязанности входит уход за прокаженными, перевязка язв и тому подобное. Мы остались в доме, чтобы не упускать из виду его обитателей, а сорвиголова, прихватив одного из прокаженных, отправился разыскивать кокуа. Он нашел его и под дулом револьвера заставил идти с собой. Но кокуа оказался молодцом. Сорвиголова остался

сторожить дом, а Барнли и меня кокуа повел к Лайту. Лайт жил один.

— Я так и думал, ребята, что вы приедете, — сказал Лайт. — Не прикасайтесь ко мне, Джон. Ну что, как Нед, Чарли и вся наша компания? Ладно, после расскажете. Теперь я готов за вами идти. Девять месяцев я здесь прожил. Где лодка?

Мы пустились в обратный путь, а по дороге зашли за сорвиголовой. Тем временем поднялась тревога. В домах зажигались огни, хлопали двери. Мы условились стрелять лишь в случае крайней необходимости, и когда нас задержали, мы пустили в ход кулаки и ручки револьверов. Я сцепился с каким-то огромным парнем и никак не мог его отогнать, хотя дважды ударил его кулаком по лицу. Мы вступили в рукопашный бой, упали и катались по земле, не выпуская друг друга. Он начал меня одолевать, как вдруг кто-то подбежал с фонарем. Тут я увидал его лицо. Как выразить словами этот ужас? То было не лицо, а какая-то стертая или стиравшаяся маска — заживо разлагающаяся плоть, — маска без носа, без губ, с распухшим уродливым ухом, свисающим на плечо. Я обезумел. А он так близко прижал меня к себе, что его ухо коснулось моего лица. Тут я потерял голову. Слишком это было ужасно.

Я стал бить его револьвером. Не знаю, как это случилось, но едва я от него освободился, как он вцепился в меня зубами. Этот безгубый рот впился, присосался к моей руке. Тогда я ударил его ручкой револьвера по переносице, и зубы его разжались.

Кадуорт протянул руку, и при свете луны я мог разглядеть шрамы. Казалось, рука была искусана собакой.

— Вы испугались? — спросил я.

— Испугался. Семь лет я ждал. Как вам известно, инкубационный период длится семь лет. Ждал здесь, в Коне, — и не заболел. Но в течение этих семи лет не было ни одного дня, ни одной ночи, когда бы я не думал… не думал обо всем этом… — Голос его рвался; он обвел взглядом купающееся в лунном свете море и снежные вершины гор. — Невыносима была мысль потерять все это, никогда больше не увидеть Коны. Семь лет! Проказа меня не тронула. Но вот почему я остался холостяком. У меня была невеста. Жениться я не смел, пока не рассеялись опасения. Она не поняла. Уехала в Соединенные Штаты и вышла замуж. С тех пор я ее не видел… Едва я разделался с прокаженным, как послышался стук копыт, словно при кавалерийской атаке. То

мчался сорвиголова. Он испугался переполоха и заставил прокаженных, сторож которых жил в доме, оседлать четырех лошадей. Мы готовы были следовать за ним. Лайт расправился с тремя кокуа, а затем мы вместе освободили Барнли от парочки наседавших на него людей. К тому времени весь поселок был на ногах, а когда мы обратились в бегство, кто-то начал стрелять в нас из винчестера. Должно быть, это был Джек Маквей, старший надсмотрщик на Молокаи.

Ну и скачка же была! Прокаженные лошади, прокаженные седла, прокаженные поводья, тьма — хоть глаза выколи, да и дорога не из лучших! А сорвиголова ездить верхом не умел, и вместо лошади у него был мул. Все-таки мы добрались до вельбота и, отчаливая, слышали, как лошади из Калаупапы спускались с холма…

Вы едете в Шанхай. Загляните к Лайту Грегори. Он состоит на службе у одной немецкой фирмы. Угостите его обедом. Закажите вино. Дайте ему все самое лучшее, но пусть он ни за что не платит. Счет пришлите мне. Его жена и дети живут в Гонолулу, и деньги ему нужны для них. Я это знаю. Большую часть жалованья он посылает им, а сам живет отшельником. И расскажите ему о Коне. Здесь он оставил свое сердце. Расскажите

ему все, что знаете о Коне.

КОММЕНТАРИИ

«МАЛЕНЬКАЯ ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ДОМА» (1915) — любовный роман на фоне прекрасной калифорнийской природы среди обеспеченных и довольных жизнью людей — вызвал немалые споры в американской и русской критике. И если сам автор считал его лучшим своим произведением, то критика без всякого восторга принимала трагедию главных его персонажей, оказавшихся равнобедренными частями стереотипного любовного треугольника. Дик Форрест и Ивэн Грэхем — мужчины сорокалетнего возраста, люди, немало повидавшие и побывавшие в разных переплетах, не раз подвергавшие свою жизнь смертельной опасности, оказались бессильны перед чарами и коварством маленькой похожей на мальчика женщины — хозяйки ранчо, особы в большой степени нравственной и сведшей счеты с жизнью из-за невозможности достойно выйти из этого «треугольного тупика».

Оставшийся без денег несовершеннолетний сын миллионера, «сделавший» себя сам и побывавший, как бы мы теперь выразились, в

горячих точках — на Аляске в Клондайке и в бурных Южных морях, познавший голод и нищету, Дик Форрест, неплохо теперь ведет дела на собственном ранчо. Именно тут он выращивает на продажу прекрасных ширских лошадей — шортхорнских племенных баранов и овец, беркширских свиней и т. д.

Дик заботится о современном корме для многочисленного скота, поэтому рачительный хозяин следит за севооборотом, собирает урожай люцерны — многолетней травы, облагораживающей истощенную прежде испанцами благодатную почву Калифорнии. Сеет он и немало желудей, чтобы восстановить вырубленные за много лет прекрасные леса этого края.

Недаром любящая жена называет мужа «сеятелем желудей». Роет муж и великолепные пруды, где разводит рыбу, прокладывает современные дороги. У него на учете каждый цент — прихода и расхода. Герой Лондона, как и автор, считают, что умный человек должен зарабатывать своим умом, а не руками. Для этого есть слуги, которых надо уважать и наделять их участком земли в 20 акров, создавать им гуманные условия труда, чтобы люди дорожили своим местом и работой.

Форрест то и дело еще что-то и изобретает:

его мечта — приладить к тракторному плугу такой привод, чтобы машина сама работала без тракториста. Тут некий прообраз нынешней компьютеризации сельского хозяйства вообще и его производственных орудий. Время у Форреста расписано по минутам.

При всей своей невероятной занятости Дик и Паола приглашают в свое имение поэтов, философов, художников, музыкантов — людей культуры и творцов искусства.

Паола избавлена от тяжелой работы, ибо для этого есть слуги и прислужницы. Она — великолепная спортсменка — пловчиха и наездница, бесстрашно управляющаяся с самыми норовистыми лошадьми. Но она еще и певица, художница, незаурядная музыкантша. Скорее для собственной забавы разводит маленькая хозяйка на продажу золотых рыбок в своих калифорнийских прудах. Правда, у нее нет детей, хотя живут они с Диком душа в душу уже двенадцать лет. И это некоторая загвоздка, омрачающая всю идиллию. (Очень похоже на семейную жизнь Джека Лондона со второй женой Чармиан).

Паола достаточно яркая индивидуальность, живущая больше первозданной интуицией, чем логикой или разумом.

Паоле не может не льстить, что приживалы-философы арбутусовой рощи, потерпевшие в жизни крушение и составившие братство влюбленных, избрали ее Дамой сердца и тут же дали рыцарский обет верности ей. А философы эти не признают ни Бога, ни черта и о женщинах порой самого радикального мнения.

Гармония нарушается приездом на ранчо сына разорившегося миллионера, испытавшего в своей жизни не меньше Дика. Его приезд — начало внешнего сюжета или — собственно любовного романа.

Мужественные, простодушные и слегка постаревшие герои Джека Лондона сродни аляскинским золотоискателям. Они предстают и здесь во всем блеске своих добродетелей, к тому же — помечены печатью высокой духовности и культуры.

После мучительных раздумий и душевных страданий прямодушная Паола, не кривя душой, сама признается, что любит обоих, а свое Багряное Облако (так на индейский манер она именует мужа) — даже больше, но ничего с собой поделать не может. Она, мол, такая же хищница, как все другие женщины, а потому и живет первобытными инстинктами, которые никак не

поддаются укрощению светскими правилами. Муж не может ей не сочувствовать в какой-то мере. Паола такая же чистая и трепетная, как всегда. Но ему ведь плюнули в душу. Тучи сгущаются. Грозовое напряжение, ощущаемое в большом и благополучном доме, достигает кульминации.

И идеальная супруга, бездетная хозяйка Большого дома снимает со стены ружье и, упершись его стволом в грудь — против сердца, нажимает спусковой крючок. Какое-то время она еще живет, чтобы сказать мужу, что любит его больше, чем Грэхема. Ясно, что такого чудовищного раздвоения собственной личности порядочная и образцовая американская свободная женщина, чувствующая ответственность перед Богом, собственной совестью, супругом и людьми, не перенесла.

Для Дика Паола была настоящим другом и спутницей жизни. Недаром супруг и здесь в трагическом восхищении произносит про себя многозначительную фразу: «Она меня опередила».

Дик ведь тоже разрывался между чувствами к жене и другу — одинаково положительными и светлыми. Мужская дружба и любовь к женщине для него одинаково важны. И оба эти чувства

очень романтичны.

Художественное произведение — феномен многоплановый и тонкий. Джек Лондон представил миру именно американский любовный роман в классическом смысле этого слова как рассказ о любви и семейной жизни.

«ХРАМ ГОРДЫНИ» (1912) — это цикл гавайских рассказов, локально привязанный к сравнительно небольшой экзотической территории, имеющей свою историю и специфику. Речь идет о Гавайях, в ту пору еще не бывшими настоящим штатом Северной Америки, но уже прочно «прихваченными» своим могучим соседом.

Рассказ «Храм гордыни» высмеивает необыкновенную спесь белого человека Персиваля Форда, сына проповедника-пастора из Новой Англии.

Персиваль Форд — важная персона на островах — чувствует неприязнь и к полинезийцам и к собственным белым собратьям, позволяющим себе бесстыдные пляски — особенно женщинам с их чрезмерным декольте, ничем не отличающихся от перепоясанных пучком травы туземок. Особенно его бесит один из туземных музыкантов Джо Гарленд — человек свободолюбивый, красавец и вдобавок гитарист, идущий по жизни с песней, хороший друг и товарищ, по мнению

доктора Кеннеди. Персиваль ненавидит его с высоты собственной гордыни как христианин и пуританин, как сын своего праведного отца. Он не хочет отпустить своего нравственного противника даже в Штаты, чтобы он и там не заразил кого-то своей гнилой туземной культурой. Конфликт явно нравственно-психологического свойства, замешанный на расовой и культурной неприязни.

Но вдруг происходит неожиданный и немыслимый поворот сюжета, как это часто случается у Лондона. Джо Гарленд оказывается не сыном пьяницы-колониста, а братом Форда по отцу.

И об этом знает весь остров. Для такого склада спесивого и высоко себя ценящего персонажа, как младший Форд, — это психологический шок. Он берет себя в руки. И если не оправдывает любвеобильного отца, то повышает свою самооценку — сын достиг того уровня нравственности, которого тщетно добивался его отец. Теперь же надо еще как-то объясниться и с ненавистным ему братом, этим гадким полукровкой — продуктом отцовского падения или слабости.

И Персиваль, программируя психологию бедняка, предлагает ему шестьсот долларов, а затем и ежемесячное пособие в двести зеленых, чтобы

тот навсегда убрался с этого острова и не раздражал одним своим видом столь порядочного человека, каким считает себя Форд. И каково же было удивление последнего, когда его брат по отцу бесцеремонно и грубо ответил решительным отказом. Ведь он здесь родился, и никто ему не может запретить тут жить!

Конечно, он уедет на «Алмеде» в Штаты, это его желание, но никаких денег от Форда не возьмет. Невероятное чувство собственного достоинства.

Для такого ограниченного человека, как Персиваль Форд, это вроде бы победа. Но не столь блестящая, как ему бы хотелось.

Еще более впечатляющим оказывается рассказ «Кулау-прокаженный».

Положение Кулау ужасно. Он раньше никогда никого не убивал, жил мирно, ловил диких быков на острове Ниихау. Но пришли белые, забрали себе весь скот и лучшую землю, организовали плантации, где у местных жителей только одно право — работай! Плантаторы для собственного обогащения привезли больных китайских кули, и те заразили местных жителей проказой. И теперь даже самых уважаемых граждан Гавайев, вроде судьи Капалеи, закончившего колледж, превратили в ничто, сослали, как и самого Кулау,

на безлюдный остров Молокаи, заточив их в пожизненную тюрьму. Справедливо ли это?

И Кулау организует оборону, насмерть сражаясь за свободу. Кулау умер свободным человеком. И никакие меры остервеневших «цивилизаторов», никакое предательство «подданных» — товарищей по несчастью, не заставили эту свободолюбивую натуру изменить самой себе. Таков этот физически слабый, но необыкновенно сильный духом герой Лондона.

Через испытание страшной китайской хворью проходят и другие персонажи рассказов — полинезийцы и белые. Болезнь стала как бы своеобразным оселком, на котором проверяются моральные и душевные качества действующих лиц. Это в духе Джека Лондона. Спесь, необычная показная храбрость слетают, как ненужная шелуха.

Вот еще один потомок миссионера из Новой Англии — Джек Керсдейл (рассказ «Прощай, Джек»).

Он великолепен в своем роде — и успешный торговец-предприниматель, и спортсмен, и хорошо сложен, и выпускник Оксфорда, и покоритель дамских сердец. Да и человек от природы храбрый. К тому же он успел принять участие в

революции по свержению монархии на острове — в пользу американских торговцев-переселенцев.

Ему свойственно социальное мышление. Он убежден, что прокаженные должны пребывать в полной изоляции на Молокаи и там им неплохо живется: и питание, и уход, и воздух там даже лучше, чем в Гонолулу, — солнце и морской бриз делают свое дело. Разве можно сравнить жизнь гавайских прокаженных с существованием жителей городских европейских трущоб или безработных во многих странах? Некоторые обзавелись женами, скутерами и никуда не хотят уезжать оттуда.

Но в трагический момент проводов больных в лепрозорий он среди отъезжающих узнал свою недавнюю любовницу — прекрасную туземную певицу. И он мгновенно обмяк, струсил, заметался, побелел…

В такой же ситуации оказывается и другой белый — шериф острова Коны («Шериф Коны»). В его обязанности входит выявление больных проказой, задержание прокаженных и немедленная отправка их на Молокаи. Шериф Коны Лайт Грегори — стопроцентный американец, рослый, на диво прекрасно сложен, благополучный по-

лицейский чиновник и прекрасный семьянин. Неожиданно для себя он узнает о своей болезни и вскоре, перенося немыслимые душевные муки и остро переживая свое новое положение, оказывается на острове прокаженных — среди своих бывших клиентов, пытавшихся инстинктивно избежать своей жалкой участи, но вовремя задержанных и отправленных на остров. От прежнего самодовольного и самонадеянного блюстителя порядка и общественной гигиены ничего не осталось. Жалкое человеческое существо, нуждающееся в сочувствии и в какой-нибудь помощи.

Живется ли кому-нибудь хорошо на Гавайях? Вот, к примеру, ничем не приметный китаец Чун А-чун из одноименного рассказа — китайский крестьянин — батрак, завербовавшийся в свое время на Гавайи. И когда срок его контракта истек, А-Чун приобрел мелкую лавочку на полученные деньги для торговли импортными товарами.

Но самую большую выгоду принесло ему поварское ремесло — он стал лучшим кулинаром и шеф-поваром на Гавайях. Этот человек — философского склада, знакомый с китайской наукой самосозерцания. Судьба его складывается блестяще, но… Ему, уже старику, вдруг захотелось

вернуться на родину. Это блеф. В Китае А-чун оказался бы нищим, он поехал куда-то на Филиппины и оттуда стал руководить своей финансовой империей. Это очень непростой характер.

Конечно, у полинезийцев есть и своя национальная гордость. Они хорошо чувствуют и понимают высокомерно-снисходительное отношение к ним белых американцев. Но пока на острове еще остались какие-то формы независимости, местные жители радушно принимают гостей — сенаторов США. Поражают их своими танцами и душевным исполнением гавайской песни «Алоха Оэ». За всем этим показным радушием со стороны важных конгрессменов пробивается презрение к людям низшей расы, хотя полинезийцы и не негроиды, в отличие от меланезийцев.

Один из них Стивен Найт — полукровка, хапахаоле, чего не заметила пятнадцатилетняя дочь сенатора Дороти Сэмбрук, стал гидом девочки по незнакомым местам. И непозволительно расширил свои служебные обязанности и полномочия — вступил с нею в половую близость. Сам Найт — спортсмен и красавец. Но разве этого достаточно, чтобы побороть расовые предрассудки сенатора Джереми Сэмбрука? Он-то во время торжественного отплытия под зажигающие душу звуки

«Алоха Оэ» (так называется и рассказ) — мелодичной, с большим общечеловеческим содержанием песни о любви, запрещает дочери поддерживать с Найтом, неполноценным субъектом, какой-либо контакт. Правда, тут еще неизвестно, кто кого переиграл. Пока можно лишь попрощаться с этим полутуземным музыкантом, который как раз и дарит возлюбленной замечательную гавайскую песню.

У Джека Лондона картина Гавайев нарисована широкими мазками. Своеобразие этого острова представлено с разных сторон. От проказы, завезенной сюда колонизаторами, до пронизывающей все человеческое существо песни о вечной любви. Лондон не раз гордился реалистичностью своих произведений, и цикл гавайских рассказов это подтверждает.